

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



30000015542685

Людмила
Улицкая
Священный
мусор

Людмила
Улицкая
Священный
мусор

Москва
Астрель

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
У48

Художник — Андрей Рыбаков

В оформлении переплета использованы работы
Андрея Красулина

Книга публикуется по соглашению
с литературным агентством ELKOST Intl.

Улицкая, Людмила Евгеньевна

У48 Священный мусор : [рассказы, эссе] / Людмила
Улицкая. — Москва : Астрель, 2013. — 476, [4] с.

ISBN 978-5-271-45555-1

Новая книга Людмилы Улицкой — автобиографическая проза и эссеистика — писалась-собиралась в общей сложности двадцать лет, параллельно с «Сонечкой», «Казусом Кукоцкого», «Даниэлем Штайном...», «Зеленым шатром». Тем интереснее увидеть, как из «мусора жизни» выплавляется литература и как он становится для автора «священным», и уже невозможно выбросить ничего — ни осколки и черепки прошлого, ни мысли, опыт, знания, догадки, приобретения, утраты...

Эта книга — бесстрашная в своей откровенности и доверительности. Улицкая впервые пускает читателя в свой мир, вступает с ним в диалог не только посредством художественных образов, а прямо и доверчиво — глаза в глаза.



Редакция
Елены
Шубиной

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Подписано в печать 26.12.12.

Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 25,2.

Тираж 100 000 экз. (3-й з-д 60 001-70 000). Заказ № 66.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ISBN 978-5-271-45555-1

© Улицкая Л.Е., 2012

© ООО «Издательство Астрель», 2012

Содержание

| | |
|-------------------------------|----|
| СВЯЩЕННЫЙ МУСОР | 9 |
| РАЗГОВОРЫ ПОД ДИКТОФОН | 12 |
| Правила жизни Людмилы Улицкой | 14 |

ЛИЧНЫЙ МИР

| | |
|---|-----|
| ДЕТСТВО | 19 |
| Девочки и мальчики | 19 |
| Старые фотографии | 23 |
| ЧТЕНИЕ | 29 |
| Конец младенчества | 29 |
| «Мои отношения с книгами строились по принципу любовного романа...» | 32 |
| Читая «Дар» Владимира Набокова | 36 |
| Одиссей | 46 |
| Человек со связями | 49 |
| «Я думаю, что будут читать долго — еще десять лет...» | 60 |
| ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | 65 |
| Ближний круг | 65 |
| Памяти Маши | 71 |
| Люба | 77 |
| Сергей Бархин: почва и судьба | 82 |
| Галó НК | 88 |
| Кристина, друг сердечный | 92 |
| Александр Мень | 94 |
| Гаянэ | 100 |
| Ирина Ильинична | 103 |

| | |
|---|-----|
| Закон сохранения | 110 |
| Пхенцы | 121 |
| Благородное семейство | 124 |
| Бедный враг | 127 |
| ПРО АНДРЕЯ | 131 |
| Искусство неделания | 131 |
| «Восход солнца в Сокольниках» | 136 |
| Бронза о Манделъштаме | 142 |
| Красулин. Гоа | 148 |
| ТРИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ПОВОДУ СНА | 152 |
| Щель за минуту до пробуждения | 152 |
| Бессонница | 158 |
| Смотрите сны внимательно! | 161 |
| ТРИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ПОВОДУ ЛЖИ | 165 |
| Апология | 165 |
| Уроки отца | 173 |
| Скажи «нет» | 178 |
| БЕЗ ДИПЛОМА | 184 |
| Благодарственное слово крысе | 184 |
| «Меня всегда интересовал частный человек...» | 191 |
| Вторая профессия | 196 |
| Речь по поводу неполучения Букеровской премии | 205 |
| «Я могу, как я...» | 209 |
| ЖЕНСКИЙ ВОПРОС | 217 |
| Если бы Господь Бог был женщиной... | 217 |
| Проза, роза, оза, за... | 223 |
| Лилит, Медея и нечто новое | 226 |
| Быть вдвоем, быть одиночкой... | 236 |

| | |
|--|-----|
| Печальные плоды победителя | 243 |
| Семья: вольный союз | 248 |
| «Разрушение семьи – это разрушение мира» | 257 |
| Не слишком ли много этой любви? | 258 |

МИР ВОКРУГ

| | |
|--|-----|
| МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ | 275 |
| Недозволенное вложение | 276 |
| Шестеро внуков Елены Митрофановны | 280 |
| Тугое пленение | 285 |
| Савеловская – Менделеевская | 301 |
| Бутово. Полигон | 303 |
| «Я никогда не была внутренним эмигрантом...» | 306 |
| Дубровка – Беслан | 312 |
| НЕИЗБЕЖНОЕ СОСЕДСТВО | 318 |
| Культура и политика | 318 |
| Убить толерантность | 321 |
| «Мне очень нравится, что люди разные...» | 324 |
| КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У ДРУГИХ | 326 |
| Стэнфорд. В гостях | 326 |
| Дорогой мистер Купер Бич | 337 |
| «Мир стал очень маленьким...» | 342 |
| КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НАС | 345 |
| Никто не любит олигархов | 345 |
| Разговор через решетку. Из переписки с М.Б.Ходорковским | 351 |
| России нужен Пиночет? | 363 |

МИР ВВЕРХУ

| | |
|---|-----|
| ВОКРУГ ДАНИЭЛЯ | 375 |
| Святость | 375 |
| «У каждого человека есть свой вариант Бога...» | 378 |
| Неоязычество внутри | 388 |
| Смерть, любимая! | 397 |
| ГРУДЬ. ЖИВОТ | 408 |
| Прелюдия | 409 |
| Анамнез | 410 |
| Status praesens | 413 |
| Cito! | 416 |
| Из записной книжки | 419 |
| Эйн Карем | 429 |
| Хадасса | 434 |
| КНИГА, КОТОРУЮ Я ДОЛГО ЗАКАНЧИВАЛА | 438 |
| «Я — рассказчик своего времени» | 438 |
| ПРОЩАНИЕ С КОГОЛЕТО | 455 |
| БЫТЬ НИКЕМ | 464 |

СВЯЩЕННЫЙ МУСОР

Сильнейшая привязанность к вещам — к их биографии, географии, рождению и смерти — привела к тому, что в скороходовскую коробку из-под ботинок я складывала то, с чем трудно было расстаться: треснувшую фарфоровую пиалу моего прадеда, в которой он хранил какие-то колесики и пружинки от часов, разбитый китайский набор для чаепития, который мой первый муж случайно смахнул плечом вместе с полкой, бабушкины лайковые перчатки (бальные!) такого размера, что они порвались, когда их хотела примерить одна толстенькая двенадцатилетняя девочка, расплетшаяся наполовину прабабушкина корзиночка неизвестно для чего, горделивый значок Калужской гимназии госпожи Саловой и кусок клеенки из роддома, на котором написано имя моего двоюродного брата, родившегося через десять лет после меня. Всё это я собиралась когда-нибудь починить, реставрировать, склеить, залатать или про-

Людмила Улицкая

сто определить на место. И лет тридцать таскала с квартиры на квартиру, пока во время одного из последних переездов, охваченная жадой освобождения и очищения от всякого хлама, не выбросила все эти ничемные драгоценности на помойку. На минуту мне показалось, что я освободилась от своего прошлого, и оно больше не держит меня за глотку. Ничего подобного: все эти выброшенные штучки — наперечет! — я помню.

Однако эти черепки и остатки прошлого каким-то образом связаны с вещами нематериальными. Они символизировали прекрасные принципы и положительные установки, заимствованные идеи и остроумные концепции, которые я всю жизнь собирала в стройное здание, и иногда даже казалось, что оно уже прочно стоит на надежном основании и что многолетними усилиями выстроено цельное мировоззрение. Каркас этот оказался жестким и неудобным, как доспех средневекового рыцаря... Временами меня это очень беспокоило — благодарение Богу, ежеминутные заботы жизни сильно отвлекали от назойливого поиска высших смыслов. Не могу сказать, чтобы результат был сколько-нибудь значительным. Я очень близка к тому, чтобы выбросить все лабораторные тетради неудавшихся или плохо удавшихся опытов. К сожалению, обувная коробка, скорее модель, а может, метафора, описывающая универсальный процесс накопления богатства и последующего от него освобождения.

Оказалось, ничего выбросить невозможно. Цепкое сознание не хочет расставаться с побрякушками из стекла, металла, опыта и мыслей, знания и догадок. Что здесь важно и значительно, а что побочный продукт жизнедеятельности — не знаю. Тем более что

Священный мусор

иногда «Навозна куча» оказывается драгоценнее «Жемчужного зерна».

Мой покойный прадед, кой-какой часовщик и пожизненный читатель единственной книги, уважал материальный мир не менее духовного: никогда не выбрасывал ни картонки, ни железки, с улицы приносил то кривой гвоздь, то ржавую петлю. Всё раскладывал по коробочкам, подписывал: гвозди дюймовые, петля дверная, шпулька для ниток. А на одной коробочке уже после его смерти разобрали надпись: «Веревочка, которая уже ни на что не годится»... Но почему хранил? Ведь так хочется освободиться от всего лишнего, необязательного...

«Вот потеряю руки, ноги, голову и возраст, дату рождения и дату смерти, национальность и образование, вот потеряю имя и фамилию, и будет хорошо». Это я сама написала на последней странице сборника «Люди нашего царя».

РАЗГОВОРЫ ПОД ДИКТОФОН

Хорошее интервью — взаимное удовольствие и для интервьюера, и для интервьюируемого. За последние двадцать лет я дала очень много интервью, думаю, сто или двести. Изредка бывали хорошие, интересные разговоры.

Вот уже много лет, как я избегаю встречаться с журналистами лично, предпочитаю давать ответы по электронной почте. За те слова, которые я пишу ночью, без спешки, я отвечаю. А за ответы, переписанные с диктофона, — не всегда. Что-то происходит в процессе переноса с моего запинаящегося голоса на бумагу, что меняет порой смысл до противоположного. Не говоря уж о том, что иногда приходят за интервью журналисты, которые и диктофон дома забыли, и прочитать книги, о которых собираются разговаривать, не успели. Это полное падение профессии журналиста. К сожалению, утрата профессионализма сегодня стала общей болезнью, и касается это не только журналистов, но и врачей, учителей, сантехников. Тем приятнее бывает беседа с журналистами талантливо-

Разговоры под диктофон

ми и профессиональными. Они, конечно, в меньшинстве.

Разговоры идут о разных вещах: о жизни, об обществе, о тех изменениях, которые происходят с людьми. Довольно часто речь идет о книгах, которые я написала. Иллюзий у меня давно уже нет: книга как важнейший культурный феномен уходит из оборота, ее заменяют иные, новые формы культуры, которых прежде человечество не знало. Книги превращаются постепенно во вселенский мусор. Это очень хорошо знал Рэй Брэдбери. С горечью он писал о планете, где вся материальная культура сохранена, только нет людей, которые ее создали и могли бы пользоваться. Тогда, в отсутствие потребителя, вся культура превращается в мусор. И музыки не может быть, если нет ушей, которые ее слушают, и рук, которые играют, и живописи — без человеческих глаз. Великий закон возрастания простого к сложному, называемый то Творением, то Эволюцией, создал культуру как высший плод человеческого сознания. В нее все мы погружены, как рыбы в воду... Без этого и говорить не о чем.

Интервью — жанр опасный, потому что автор оказывается в большой зависимости от задающего вопросы. Захочет журналист — и автор выглядит идиотом, а может исхитриться и нарисовать из авторских высказываний фигуру весьма возвышенную. В этом особое мастерство журналиста — вытащить из контекста фразочку и создать собственный образ. Ниже приведен текст, своего рода журналистский шедевр: журналист из журнала *Esquire* ухитрился так подобрать цитаты из многочисленных интервью, что очень польстил автору. Выгляжу прямо-таки мудрой. С по-

Людмила Улицкая

мощью этого же приема можно сделать и нечто совершенно противоположное — выставить автора полным идиотом. Бывало и такое.

Правила жизни Людмилы Улицкой

Когда очищаешь письменный стол от кучи исписанной бумаги, у книги начинается своя собственная жизнь. Я всего несколько недель тому назад рассталась с новым романом, и мне до смерти интересно, что будет дальше.

Когда я стала издавать книгу за книгой, я испытывала страх самозванства. Кто это меня назначил писателем? Я стеснялась самого слова «писатель». Но с годами привыкла. Да, писатель.

Разговаривать можно со всякими людьми, в том числе и с теми, которые не читали книг.

Есть одно качество у времени: оно ускоряется с годами. В детстве каждый год тянется бесконечно, тебе бесконечно долго шесть лет и никак не исполняется семи, когда будет другая жизнь, школа... А чем ближе к старости, тем быстрее осыпаются листочки календаря. Моргнул — понедельник, еще моргнул — опять декабрь...

Я биолог. Вид крови повергает в шок, когда ты не знаешь, что с этим делать. А когда ты понимаешь, что надо наложить жгут и остановить кровотечение, то шок проходит. Делаешь, что надо.

Разговоры под диктофон

Грязи я не боюсь, не брезглива и, если надо, могу вымыть сортир. Это благородная работа — из грязного делать чистое.

Я видела столько прекрасных смертей, когда люди уходили благородно, красиво, «безболезненно, непостыдно, мирно», что с годами гораздо больше боюсь своего плохого поведения, чем смерти. Наверное, это и есть гордыня.

Надо решить для себя вопросы: кто я? Чего хочу? Нужна ли мне свобода? Готов ли я к ответственности? Могу ли я испытывать сострадание? Есть множество людей, которые совершенно созрели для того, чтобы задать себе эти вопросы, но никто не сказал им, что такие вопросы задавать нужно, а сами они не догадались.

«Невылупившиеся» бывают необыкновенно привлекательны. Помните Петю Ростова накануне его смерти? Ешьте, ешьте изюм, у меня еще восемь фунтов... Простите за неточность цитаты. Петя взрослым стать не успел.

Личинка человека обладает всеми правами, которыми обладает взрослый человек. Она не обладает обязанностями.

Были времена, когда я Москву любила. Но давно уже не люблю. Привыкла, отчасти смирилась. Есть немало мест, жить в которых мне нравится больше, чем в Москве. Мне нравится Нью-Йорк и деревня Эйн Карем в Израиле, мне хорошо в Берлине и в итальян-

Людмила Улицкая

янской деревне Беука под Генуей. Но пока не получается от Москвы оторваться.

Коммунистическая идеология в нашей стране рухнула. Строить плохонький, как всё отечественное, капитализм после всех провалов западного — задача малопривлекательная. Никаких новых идей нет.

Если честно, мне Страшный суд не кажется самой удачной из христианских идей. Похоже, его придумали из педагогических соображений разочарованные в человеке отцы церкви.

С такого большого расстояния, как от Бога до человека, разница между грешниками и праведниками не так уж велика. Если мне, обыкновенной пожилой женщине, так жалко людей, то у высшей силы, полагаю, должно быть побольше сострадания. Уж очень несчастные мы создания — злые, жалкие, глупые. Как нас не пожалеть? Животные, взгляните, насколько лучше!

Составил Валерий Панюшкин.

Журнал *Esquire*, март 2011

ЛИЧНЫЙ МИР

ДЕТСТВО

ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ

Жизнь посвящает очень немногих в то,
что она делает с ними.

Борис Пастернак

Друг мой, давно ушедший, мужественный и легкомысленный солдат последней большой войны, знаток поэзии и поэт, школьный учитель, для всех старший и каждому равный, лагерник, любимец женщин и собак, обнаружил, кажется, первым, что в классической русской литературе все книги о детстве — мальчиковые. О детстве девичьем — почти ничего нет: девочки в локонах и в панталонах играют на клавикордах весь XIX век. А Наташа Ростова еще и пляшет.

О детстве девочки впервые, пожалуй, написала не женщина, а двадцатисемилетний Борис Пастернак. Это повесть «Детство Люверс» — детство девочки Жени Люверс. Проговорил, как мог, «историю ее первой девичьей зрелости». Язык молодого Пастернака, спущенный с цепи, раскатывающийся как гром, отдающийся эхом, торопится — бегом, летом, кувырком — сбросить с себя чинность XIX века, расширяться до возможного пре-

Людмила Улицкая

дела, наполнить собой мир, пересоздать его... но не может произнести, никогда не сможет произнести слова «месячные», «менструация». Даже латинское *mensis* — и то непроизносимо! Только ввысь, и никогда вниз!

Категорическое отсутствие женского опыта восполняется поэтическими прозрениями. Но прозрения эти — общечеловеческого характера:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе...

Что знаю я о детстве девочки? Много больше, чем Пастернак. И много меньше. Девочкой я была, но по-этом — никогда.

«В это утро она (Женя) вышла из младенчества, в котором находилась еще ночью...»

Ночной вид заречного берега вывел девочку из младенчества. Всё шатко и недостоверно, недоказуемо и гениально. Это пробуждение «я», которым все так дорожат. Где оно начинается? Где заканчивается? Не окажется ли это драгоценное «я» обидной иллюзией, самым горьким разочарованием?

«Я» — отчасти — обозначается границами нашего персонального опыта. Оно отделяется от «не-я», как твердь от неба. Космогония личности.

У меня очень ранняя память. К примеру, я помню, как, едва научившись ходить, стою, прислонившись спиной к кушетке, а наискосок от меня страшно притягательная кафельная печь-голландка, и я собираюсь с силами и, выставив вперед ладони, бегу к печке. Утыкаюсь в нее ладонями — она страшно горячая!

Личный мир

Так включилось чувство «горячего». Это образуется одна из внешних оград «я». Человек проживает формирование этой границы между «я» и «не-я». Тепло собственного живота и холод замерзших ног — одно, тепло печки, обжегшей ладони, и холод льда, приложенного к разбитому носу, — другое. Границы уточняются, иногда болезненно.

Вторая сохранившаяся картинка: я иду по домотканой дорожке, ведущей наискосок к четвероногой этажерке. Передо мною катится мяч. Я его догоняю. Он страшно далеко, этажерка сужается кверху... иду долго-долго. Детское замедленное время? Детская устрашающая перспектива?

Вода нагревается в цилиндрическом котле, топят дровами. Ванна на львиных лапах. Раковина в хризантемах и в трещинах. В раковине вода холодная, в ванне — очень горячая.

Сын Петя интересовался водой, он спросил: «А где у воды середина»? И еще: «У холодной воды голос мужской, а у теплой — женский»...

Потом появляется «мое» и «чужое». Мама, естественное дело, — мое. Кровать, чашка, игрушка, брат, ботиночки. Мотив собственности. Мальчик научается защищать «свое» от посягательств кулаками, девочка — скорее воплями.

Различаются ли мальчики и девочки в самом раннем возрасте? Про девочек я знаю все-таки меньше, чем про мальчиков. После меня в нашей семье родилось одиннадцать мальчиков, и только через шестьдесят пять лет явилась девочка, моя внучка Марьяна.

Как бывшая девочка, я хорошо помню свои ранние годы. Опытные педиатры говорят, что мальчики сильнее реагируют на изменения погоды, а девочки — на

Людмила Улицкая

температуру в помещении, где они находятся. Охотники и хранительницы очага? Так, что ли? Не уверена. В ранние годы, как мне кажется, индивидуальные различия между людьми гораздо сильнее, чем те, которые определяются полом. Почему я так думаю? Потому что в самом раннем возрасте пол еще не нужен, и совсем юное существо свободно от его неукоснительных законов. Как и в старости, после выполнения программы продолжения рода, когда пол уже не нужен. Человек, исходя из этого, наиболее полно выражает свое человеческое содержание в раннем детстве и в поздней старости. Отсюда и рождается глубокая смысловая рифма — стар и млад. Близко к области границы.

Какая старая песня! Мальчик с деревянным ружьишком, девочка с папье-машевой куклой! Еще пылятся на полках магазинов автоматы с крутилкой-трещоткой, и «деньрожденная» кукла пьлится из коробки, а дети (девочки-мальчики, без разбору) лупоглазят в экран телевизора или в экранчик телефона, и пальчики (мелкая моторика!) стучат со страшной скоростью, выбивая звуки, которые в прошлом столетии вообще не существовали.

Старомодные родители еще пытаются нацепить на косичку розовый бантик, надеть на отрока приличную белую рубашку, а они уже на дискотеке, побритые наголо девочки и распустившие дреды мальчики, с нарисованными на предплечье или на ягодице дракончиками, слушают и сочиняют музыку, которой раньше и в природе не было.

Мальчик, дорогой мой! Девочка моя! Подождите! Не уходите! Я еще не успела прочитать вам про Серую Шейку, и про Каштанку, про Петю Гринева и Ма-

шу Миронову! Но они уже унеслись, и я даже не вполне уверена, кто из них мальчик, кто девочка! Да и нужна ли им Каштанка?

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

В биологическом отношении было бы гораздо точнее, если бы родословные велись по материнской линии. Строго говоря, доля материнская — чуть больше половины! (Почему больше половины? За счет тех генов, которые располагаются в митохондриях — органеллах в цитоплазме яйцеклетки. Это еще в конце прошлого века обнаружили генетики.) Но тем не менее большинство традиционных культур ведет родословие по отцу, исходя из шаткого допущения, что женщины всегда верны своим мужьям.

В области генетики наблюдается огромный прорыв: существует уже наука, называемая молекулярная генеалогия. Мешок унылых банальностей, известный у нас как Экклезиаст (в иудейской традиции это книга Кохэлет, приписываемая царю Соломону), сообщает человечеству: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Никак не могу с этим согласиться: познания, умножившиеся в области антропологии (генетики, в частности), восхищают и придают бодрости, в то время как Экклезиаст нагоняет тоску.

Я не собираюсь воспользоваться услугами уже существующей лаборатории, которая сегодня дает на основании безмерно расширившихся знаний о структуре генов ошеломляющие сведения о родословных.

Людмила Улицкая

Мне достаточно того небольшого, что я знаю о своих предках (не дальше пятого колена!).

Вот часть семейной истории по отцовской линии. Существует два фотодокумента, висящие у меня в спальне. Одну из фотографий подарила мне к шестидесятилетию моя троюродная сестра Оля Булгакова. Фотография отпечатана со стеклянной пластинки, целая коллекция которых хранится у нее дома. На ней запечатлен наш общий прадед часовщик Гальперин. Он вальяжно сидит в кресле, в своей киевской мастерской, году в 1903-м. Лицо профессора или сенатора. По облику — интеллигент. На второй фотографии — та же мастерская в 1905 году, после погрома. Разбитая мебель, перевернутые столы, разорванные книги. Книги принадлежали Михаилу, старшему брату моей бабушки. Он тогда учился в Киевском университете, на филологическом отделении. Когда писатель Короленко узнал, что у еврейского студента во время погрома были уничтожены книги, он подарил ему двести книг из собственной библиотеки. Эти книги послужили основой книжного собрания Михаила. Библиотека была столь хороша, что в какие-то давние годы даже была на охране государства. С детства я помню золотые и кожаные корешки в его квартире в Москве, в Воротниковском переулке, — там по сей день живет его внучка Оля Булгакова с мужем Сашей Ситниковым, дочкой Наташей и внучкой Алисой. Все, кроме годовалой Алисы, художники.

Бабушка Мария Петровна, дочь этого часовщика, вышла замуж за моего деда Якова Улицкого. От союза Марии Петровны и Якова Улицкого родился в 1916 году мой отец Евгений. Сведения о дедушке Якове до прошлого года были скромны и обрывчатые: бабушка развелась с ним заочным судом в 1936 году, когда он

Личный мир

отбывал очередное заключение. Мой отец почти не упоминал его имени. В прошлом году я открыла переписку бабушки и дедушки, начатую в 1911 году и закончившуюся письмом деда от 1954 года, после освобождения из последнего заключения. Эта переписка — печальная история времени, когда одни сидели, другие сторожили, а третьи, расположившиеся между ними, жили в отчаянном и унижительном страхе перед звонком, стуком, хлопком лифта — словом, перед системой, построенной «великим гением всего человечества». Дед, судя по переписке, великолепен: умен, талантлив, музыкален, с достоинством вынес все испытания.

От деда Якова — две фотографии: на одной, 1911 года, он юноша в мундире вольноопределяющегося, на второй — старик, вернувшийся из ссылки в 1954 году. Тогда ему оставалось чуть больше года жизни. Много и других семейных фотографий, оставшихся от отца: дореволюционные, не теперешние лица, то на пикнике, то под низко висящей над столом керосиновой лампой, братья бабушки и дедушки, их друзья — разночинцы, студенты с революционными взглядами и пышными шевелюрами, идеалисты и романтики. Ох, как их потом жизнь покрошила! Имен почти нет, мало что подписано. Большая часть фотографий — киевские. Большая часть этих людей и их детей там и остались навеки — в Бабьем Яру.

По материнской линии — Гинзбурги. Самая старая семейная фотография Гинзбургов сделана в конце XIX века, когда фотография была редкой новинкой. На ней изображен старый еврей в ермолке. Это отце-начальник наш, Исаак Гинзбург, мой прапрадед. Кем был его отец — это уже растворилось. Про Исаака известно следующее: он был кантонист, отслужил двад-

Людмила Улицкая

цать пять лет в русской армии солдатом, дослужился до унтер-офицера. Ермолка на голове, как я предполагаю, свидетельствует о том, что его, как и всех инородцев, крестили в школе кантонистов и, отслужив свой срок, он вернулся к вере предков. Известно про него достоверно, что он участвовал во взятии Плевны армией Скобелева и получил солдатского Георгия. Этот крест лежал в бабушкином рукодельном ящике вместе с нитками и иглами. Я им играла и, кажется, заиграла во дворе. Прапрадед Исаак, отслужив срок, получил привилегии: он имел право жить вне черты оседлости. Он жил в Смоленске. Там он и женился. И родилось у него несметное количество детей, большую часть которых потерял в их младенчестве. Смертность детская в России в те времена была очень высокая. Один из его выживших сыновей стал часовщиком. Мой прадед Хаим. Его фотография тоже имеется. Так и висят рядом фотографии двух моих прадедов-часовщиков, Гальперина и Гинзбурга. Потомки киевского часовщика вырвались из провинциальной среды: бабушка в молодые годы была актрисой, ее брат — литератором. Кажется, теперь такой профессии уж нет?

Бабушка Мария Петровна смотрела на семейство Гинзбургов свысока: бездуховные мещане! Они на нее — с легким удивлением, но тоже неодобрительно: богема! Во время войны мой дед Гинзбург (сын часовщика и почти юрист — не закончил университет по причине случившейся революции, работал коммерческим директором то в артели, то на фабричке захудалой) с Каляевской улицы привозил сватье, моей бабушке Марии Петровне, на Поварскую, временно улицу Воровского, пшено для поддержания тела. Она пшено брала, но уважать не уважала: шахер-

Личный мир

махер! У нее были духовные интересы. А у него — нет. И срок свой отсидел он не по безнадежной политической статье, а по экономической.

Дед Гинзбург в начале сорок первого года освободился, вернулся с Дальнего Востока и устроился на работу в строительной конторе в Москве. По случайному совпадению, дед Улицкий освободился приблизительно в то же время, и для него следующие семь лет были самыми плодотворными годами жизни: он занимался российской демографией, написал книгу, защитил диссертацию. В сорок восьмом его посадили снова, за связь с мировым сионизмом в лице Михоэлса, для которого он писал какие-то рефераты. Излишки образования изымались из общества таким же образом, как в предшествующие годы — излишки продовольствия. С кем дед Улицкий прожил эти счастливые семь лет между посадками, я не знала до недавнего времени. Сейчас знаю.

Семья Гинзбургов — кроме деда, который работал в Москве на каком-то подземном строительстве, опять-таки по части снабжения, — была в эвакуации в Башкирии. Дед слал семье посылки.

Из довоенной переписки деда Улицкого я узнала, что по крайней мере до 1936 года, когда бабушка с ним развелась, он из алтайской ссылки слал продовольственные посылки жене и сыну в Москву. Он тогда работал на трех работах: тапером в кинотеатре, преподавателем иностранных языков и бухгалтером на маслозаводе в Бийске.

Я родилась в Башкирии, в деревне Давлеканово. Бабушка Елена Гинзбург завела козу, соседка-татарка научила доить. Соседка доила козу легко и ловко, а бабушке казалось, что она причиняет козе боль. В эвакуацию бабушка взяла с собой швейную машин-

Людмила Улицкая

ку — кабинетный «Зингер» до сих пор стоит у меня. Тогда бабушка обшивала всю деревню — подкармливались. В избе жила хозяйка, бабушка, мама, мамин младший брат Виктор, тетя Соня. Моя бабушка Елена и Соня любили друг друга как сестры, но были не сестры, а тетка с племянницей. Правда, племянница была старше тетки на два года... Такое бывает в патриархальных семьях, когда дочки начинают рожать в те годы, когда мать еще плодоносит... И замужем они были за двумя братьями, Борисом и Юлием Гинзбургами: когда старший сидел, младший помогал его семье, когда младший ушел на фронт, старший взял на себя заботу о его жене. Сын Сони ушел в первые дни войны добровольцем, и муж, дедов брат Юлий, тоже был на фронте. Он был уже не молод, работал санитаром в передвижном госпитале. А еще в Давлеканове жил мой прадед со своей Торой.

Семья вернулась в Москву в конце 1943 года. С тех пор я здесь живу. А мои Гинзбурги — все до единого на Немецком кладбище. Улицких тоже уже нет. Либо вымерли, либо фамилию переменили. В нашей семье я последняя. Идеологический внутрисемейный конфликт между мещанскими муравьями, пекущимися исключительно о хлебе насущном, и богемными стрекозами с высшими интересами, закончился. Кажется, всех примирила я, очень рассудительная богема.

Мои сыновья носят фамилию отца, как это теперь принято. Мои двоюродные братья все взяли русские фамилии матерей, как тогда было принято. Все мужчины в семье женились на русских женщинах. Я, таким образом, последняя еврейка в ассимилированной семье. Конфликт национальный тоже, кажется, заканчивается на мне.

ЧТЕНИЕ

КОНЕЦ МЛАДЕНЧЕСТВА

Чтение — взрыв. Мир расширяется, распирается новым знанием. Оно в книжном шкафу в коридоре, в квартире моих предков по материнской линии, Гинзбургов. «Я» — отчасти — складывается из суммы прочитанных книг.

Синий Лермонтов и белый Пушкин, а Шекспир оранжевый, и «Дон Кихот» в бумажной суперобложке поверх академической строгости, и журнал «Задуманное слово», и теперь мне кажется, что все книги моего детства я произвожу из этого шкафа. Потом в моей жизни было много и других шкафов, откуда книги брала. Особенно благодарна Анатолию Васильевичу Ведерникову, его библиотека в Плотниковом переулке работала долгие годы как публичная.

Маленькая разрозненная библиотека, принадлежавшая второй бабушке, Марии Петровне, умещалась на скромной этажерке. Таких книг нельзя было взять в библиотеке: несколько томов Зигмунда Фрейда (она произносила «Фройд», конечно же!), «Котик Летаев»

Людмила Улицкая

Андрея Белого, стихи Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, замечательные книги философов Льва Шестова и Михаила Гершензона, «Образы Италии» Муратова. Да! Ее любимый Гамсун! Таково было чтение подростковых лет. На той же этажерке стояли две книги, принадлежавшие деду Якову: «Материализм и эмпириокритицизм» товарища Ленина, весь исчерканный карандашными пометками «Ха-ха! Он не понимает Маркса! NB! Безграмотность!», и вторая — «Восстание ангелов» Анатоля Франса, в самодельном переплете и с надписью на последней странице: «Этот переплет я сделал из папки и старых носков в самые тяжелые дни моего пребывания в камере № 7 на Лубянке». Дата — 1948 год, март. Читал Анатоля Франса и преподавал французский язык — это мне рассказал его сокамерник того времени священник Илья Шмаин. В общей сложности этот дед отсидел шестнадцать лет.

Дед учил бабушку читать. Множество писем из ссылки посвящено текущему чтению. Из писем деда (в ответ на восторженное письмо жены о романе «Как закалялась сталь» Островского):

«Н.Островский есть чудо воли, самоотверженности, скажем так: гений преодоления невзгод. И это лучшее, что есть в книге. И только этим книга берет читателя... Но нельзя же не видеть, что литературно она рыхла, ученически слаба, что стиль — смесь безвкусицы и некультурности. У него есть проблески литературного таланта, некоторые эпизоды сильно, хорошо написаны, но это не его заслуга, а просто жизнь, богатая эпизодами. Ему многому нужно учиться... А самое сильное в книге — это автобиография. Второй, выдуманный роман будет слабее. Да откуда хоро-

Личный мир

шо писать человеку, кот. не имел времени учиться? Когда такой же начинающий человек, булочник Горький стал писать, то он уже успел перевернуть в себя целую библиотеку. Он уже был в состоянии книжного запоя. Писателя формируют либо жизнь+книги, либо только книги, но никогда только жизнь без книг. Из последних — чудачки, которые, может быть, украшают жизнь, но не литературу».

О книгах, о чтении — половина их переписки.

Прадеда с материнской стороны, старого Гинзбурга, рождения 1861 года, я помню с книгой в руках. Это была единственная, всегда одна и та же книга — Тора. Сидел со своим раком желудка и с книгой в руках; запах кожаного переплета и ветхой бумаги — один из самых волнующих. Много лет спустя, начав читать Библию, я испытала смутное чувство, что всё это мне знакомо — эти истории мне прадед рассказывал. Ничего с этим не поделаешь: евреи — народ Книги. Если не пишут, то по крайней мере читают.

Пока прадед читал Главную Книгу, я читала без разбору всё, что находила в шкафу. Воспитанием моим никто особо не занимался, так что главным моим воспитателем могу считать книжный шкаф.

Когда я подросла, я поняла, что существует целая армия людей, которые укрываются от действительности именно в чтении. Миф о том, что Россия — самая читающая страна в мире, стоял, как я теперь думаю, именно на этих людях. И литература, способная заменить собой жизнь, пронизанную фальшью, жестокостью и убогой идеологией, существовала: великая русская литература.

Чтение, как и секс в его наиболее распространенном виде, требует двух партнеров — автора и читате-

Людмила Улицкая

ля. Эти партнеры совершенно необходимы друг другу. Каждый раз, когда мы берем в руки книгу, мы готовим себя к новым сладостным, а порой и тяжелым переживаниям, а когда их не находим, то с разочарованием откладываем в сторону том. Читая, мы растем, дорастая постепенно до всего лучшего, что можно выразить с помощью алфавита.

«Мои отношения с книгами строились по принципу любовного романа...» (из интервью)

— *Вы родились и выросли в Москве. Скажите, какие впечатления и увлечения детства повлияли на то, что и как Вы пишете?*

— Знаете, я всегда была читающей девочкой. Когда чтение — основное детское занятие, многие другие впечатления и ощущения гаснут. Поэтому не так существенно, где именно я выросла — в Москве или в другом городе.

С книжками же получилось интересно. Мы жили в квартире в некотором смысле коммунальной: там жили две родственные семьи. Мой дед и его брат почти всю свою жизнь прожили в одной квартире. В коридоре стоял шкаф, полный старыми книгами. Среди них — русская классика, почти полная «Золотая библиотека», дореволюционная библиотечка для детей, с одной стороны, совершенно второсортная, с другой, — сильно отличающаяся от того, что доставалось советскому ребенку в пятидесятых годах. Мое первое чтение, таким образом, оказалось очень нетривиальным по тому времени. «Взрослая» библиотека в до-

Личный мир

ме была очень хаотическая, со многими пробелами, и мои привязанности диктовались до некоторой степени книжной наличностью. Скажем, я очень рано прочитала Сервантеса — едва научившись читать, и целый год мусолила. Вообще же мои отношения с книгами всегда строились по принципу любовного романа: я открывала для себя какого-то писателя, как правило, самостоятельно, потому что моим чтением и воспитанием особенно не руководили. Родители были научные сотрудники и занимались диссертациями. Поэтому имел место прекрасный самотек. Первый автор, который произвел на меня неизгладимое впечатление — полтора года читала и до сих пор, кажется, помню наизусть, — был О'Генри. Его рассказы были любимейшей моей книгой классе в четвертом-пятом. Я его читала каждый божий день, ничто другое меня не интересовало. Потом я его отложила в сторону лет на шестьдесят. В прошлом году решила открыть — и это было не разочарование, а возвращение в детство. Читала его уже взрослыми глазами и оценила по-прежнему очень высоко. Следующее открытие, почти впритык, — совершенно неизвестный писатель, найденный на задах книжной полки у моей школьной подруги Лары Крайман. Серо-бежевая обложка, «Борис Пастернак» — росчерком, в правом верхнем углу черным оттиснут портрет, внизу пропечатано «ОГИЗ-ГИХЛ 1934». В книге раздел — «Сестра моя жизнь». Я была потрясена, и Пастернак меня надолго занял. С тех пор у меня осталось ощущение, что Пастернак — лично мною открытый поэт. Мне было очень приятно, когда лет тридцать спустя мне эту книжку подарил один друг, привез ее из Вильнюса — именно ту, с размазанным портретом, 1934 года

Людмила Улицкая

издания. Следом пошла книжка «Детство Люверс», которая была очень трудна для тринадцатилетней девочки, но тем не менее осталась... Еще одна книжка с задов той же библиотеки — «Декамерон», припрятанный, как и Пастернак, от детей.

Следующее большое открытие произошло уже в университетские годы. С нами учился канадец русского происхождения, его потом выслали за шпионскую деятельность... Через него ко мне попала книга совершенно неизвестного писателя Владимира Набокова — «Приглашение на казнь». Я испытала ощущение встречи с абсолютно новым миром. Я не знала, что такое бывает. Так произошло первое соприкосновение с современной литературой. В эти же годы вернулся забытый на десятилетия Андрей Платонов.

Эти два автора открылись мне почти одновременно. Платонов и Набоков — писатели совершенно разного толка, знака, наполнения, и оба гении. Один вернулся к читателям после многих лет гонений. Другой свалился на нас из эмигрантского небытия. Даже удивительно, что такие мои серьезные «открытия» были сделаны самостоятельно и в общем литературно «невинным» человеком... В течение очень многих лет я Набокова боготворила, но с годами это закончилось. Хотя время от времени радости с Набоковым происходят: например, прочитанная поздно «Камера обскура» вызвала радость и восторг — читательский и человеческий.

Эта тема чрезвычайно важна: чем отличается талантливый писатель от гениального. В те же годы я для себя это определила таким образом: гениальный писатель расширяет человеческий мир. Нечто, бывшее в языке невыразимым, гений переводит в область выразимого — и человеческое сознание расширяется,

Личный мир

пройденное гением расстояние становится доступным для людей посредственных. Так было с Набоковым. Безусловно, такие вещи существуют и по сей день, хотя сегодня люди очень целенаправленно занимаются «озвучиванием» невыразимых вещей. В пятидесятые годы XX века такой задачи, как мне кажется, не стояло. Может, я ошибаюсь...

Надо сказать, радость чтения от меня сейчас в большой степени ушла. Может, возрастное отупение, а может, просто не попадаете то, что может произвести новый переворот. Во всяком случае, в детстве чтение было очень существенно...

Я — 1943 года рождения, то есть в год смерти Сталина мне было десять лет. Мама работала биохимиком в медицинском учреждении — ее тогда выгнали с работы. Тень, нависшая над семьей, чувство опасности, которое постоянно передавалось через взрослых, — всё это тоже имело значение. Первые мои рассказы, написанные довольно поздно, поскольку прозу я начала писать поздно, в большой степени связаны с детством, с потребностью вернуться туда, прожить и заново расставить точки... Это было чрезвычайно для меня полезно. Я человек, у которого страхов в жизни делается всё меньше и меньше. Я и по натуре не очень боязлива, и есть у меня сознательное отношение к страхам как к вещам, которые должны преодолеваться, изживаться... Поэтому второе, умозрительное «проживание» детства имело, наверное, для меня еще и терапевтическое значение. Меня туда и по сей день очень часто «приглашают» — заглянуть, что-то найти...

Беседовал Альберт Розенфельд.
Журнал «Медведь», январь 2012

ЧИТАЯ «ДАР» ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Скорость ошеломляющая, ускорение, предполагающее существование иной физики мира, кроме той, что освоена к началу XXI века. С вызывающей головокружение и тошноту, глазом не измеряемой быстротой расширяются границы мира, границы сознания.

Куда девалось медлительное созревание жизни — долго собирающийся дождь, нескончаемое взбивание земляничного мусса полной женской рукой с ямкой на локте, распухшие вот уж две недели желёзки?

Кончилось неторопливое русское время. Приглашенная к действию нажатием кнопки дождевальная машина молниеносно освежит асфальт, блендер взбьет в тридцать секунд лучшего качества искусственный белок, сахарозаменитель и земляничный порошок в бескалорийный коктейль, а распухшие желёзки утихомятся с одного укола антибиотика...

Все человеческие проблемы — смотри по списку, от «родился» до «умер» — решаются эффективнее бизнес-администраторами, чем сомнительными высшими силами — парками, мойрами, Ангелами высшего звена, даже самой Девой, к которой массово прибегают за разрешением технических вопросов, не имеющих к ней никакого отношения.

В XX веке сделано научных открытий в тысячи раз больше, чем в предшествующем, XIX. Количество информации, которым обогатилось человечество, уже не умещается даже в самой гениальной голове.

Да Бог с ней, с информацией! А что происходит с языком? Вопль компьютерного воляпюка — «Букаффмнога!».

Личный мир

Язык созидает мир, язык его описывает. Мы знаем то, что можем выразить с помощью языка. Остальное — ценное, но — увы! — животное мычание.

Пространство выразимого и выражаемого языком огромно. Но не бесконечно. Языки как явления — или как существа? — переживали лучшие и худшие времена: расцветали, увядали, иногда и умирали, как латынь и древнегреческий.

В русской литературе в прошлом веке произошло чудо, именуемое «Владимир Набоков». Писатель-эмигрант, юношей покинувший Россию, единолично совершил такой прорыв в русском языке, который до него оказался посилен разве что Пушкину. Русская литература дала немало гениев, каждого со своим особым поворотом и мысли, и слова, но Набоков, создавая, вне всякого сомнения, новую русскую литературу, совершил прорыв, русского читателя отчасти шокирующий: своим почти алхимическим искусством освободил отечественную словесность от присущего ей привкуса больной религиозности, беспочвенного мессианства, социального беспокойства с оттенком истерии, чувства вечной вины, совмещенного с учительством, и создал почти кристаллическую, незамутненную «высшую» литературу с нерусской степенью остранения автора от своего текста. Прокламируемая любовь к русскому народу его не занимает. Но кто лучше его возвращает русское слово до абсолютного звона, хрустальной чистоты, невиданного слияния смысла и звука?

Что есть основное качество литературного гения? Способность раздвинуть пространство выразимого словом: до Набокова целый круг явлений, ощущений, деталей не был проговорен. Набоков нашел такие но-

Людмила Улицкая

вые сочетания старых слов, что мир раздвинулся. Это имеет отношение не только к самому языку, но и к людям, к их осознанию себя и окружающего мира.

Среди многих способов познания мира — чувственного, интеллектуального, научного, художественного — есть и языковой. Как бы ни убежало вперед человечество от своих архаических, мифологических корней, магическая формула «вначале было Слово» продолжает работать. Самое поразительное, что Слово и по сей день вибрирует, расширяется, трепещет, рождается и умирает на глазах, и время от времени представляет совершенно новые свои воплощения.

Роман Владимира Набокова «Дар» прикасается к одной из самых древних, гомеровских тем — изгнанничество и возвращение домой. Милая Итака, к которой стремится Одиссей, рифмуется с милой Россией, о которой тоскуют герои Набокова. Одиссей не был изгнанником, хотя уже в те, древнейшие времена человечество придумало это наказание для преступников — изгнание. Оно заменило единственную известную в древности кару — смертную казнь.

В XX веке изгнанничество стало уделом миллионов людей, не только русских, но китайцев, тибетцев, евреев, немцев, татар... Изгнанник Набоков не вернулся на родину, да и не мог бы вернуться: родина, которую он воспевал, исчезла с лица земли. Но вся она, ушедшая в небытие дореволюционная Россия, вместила в его душу. Он воскрешает в памяти исчезнувшую страну, счастливейшее детство мальчика, одаренного любовью родителей и многими талантами, данными ему от природы. Лишь одна муза отвернулась от него: он был лишен музыкального слуха. И хотя уши его были глухи к музыке, она звучала в его утон-

ченной изумительной прозе. Тонкая усмешка жизни: Набоков считал себя поэтом, настаивал на этом — но стихи его были банальны и посредственны. Зато какими богатыми музыкальными оттенками переливается его симфоническая проза, в которой слышны все голоса мира: дождя и света, деревьев, такс и стрекоз... В одной капле набоковской прозы — высочайшая концентрация нежности, любви, тоски. Эта соль жизни, ее кровь и дыхание.

Но вернемся к теме изгнанничества. Мировая критика первенство в разработке этой темы в XX веке отдала другому автору, весьма почитаемому Владимиром Набоковым, — Джеймсу Джойсу с его романом «Улисс». Набоков тщательно исследовал этот роман.

Среди разнообразных критических работ мне не удалось найти ни одной, которая бы сопоставила два выдающихся романа — «Улисс» Джойса и «Дар» Набокова. Некоторый внутренний параллелизм этих романов не лежит на поверхности. Еще одна существенная вещь — биографии двух великих писателей, они и есть то подводное течение, которое мысли и чувства авторов поднимает из тьмы нечленораздельного в реальность литературы.

Действие романа «Улисс» разворачивается 16 июня 1904 года, в день, когда Джеймс Джойс познакомился со своей будущей женой Норой Барнакль. В том же году он объявил, что отправляется в изгнание. И совершил свой исход из Ирландии, которая его никуда, в сущности, не выгоняла, поскольку не замечала.

Действие романа «Дар» Набокова происходит в Берлине, в 1923 году, когда изгнанник (семья Набокова эмигрировала из страны, которая в те годы отчаянно и кроваво расправлялась с аристократами, помещика-

Людмила Улицкая

ми и просто с богатыми людьми вне зависимости от их происхождения) знакомится со своей будущей женой Верой Слоним.

Эмиграция Набоковых была нешуточная: от почти неминуемой гибели молодой Набоков уезжает из России сначала в Англию, потом в Германию, из Германии во Францию, а из Франции — от реальной опасности уничтожения в оккупированной фашистами Европе — в Соединенные Штаты.

Таким образом, изгнанничество Джойса — совершенно игрушечное в сравнении с реальной опасностью для жизни, которой подвергались Набоков и его семья. Конечно, Джойса долгое время не печатали в Ирландии, но спустя восемь лет после его добровольного изгнанничества он возвращается на родину к выходу его книги «Дублинцы». Возвращение было неудачным: гранки книги были уничтожены, и он вернулся беспрепятственно в Европу.

Возвращение героя на родину описано Набоковым много раз в рассказах и романах. Оно смертельно опасно. Это сон, кошмар, наваждение и одновременно — самая заветная и неисполнимая мечта.

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

Прошу прощения, я, кажется, несколько выше отозвалась неодобрительно о стихах Набокова. Беру свои слова обратно.

Вот то качество великой русской литературы, о котором труднее всего говорить: она вся написана все-

Личный мир

рьез. Даже у такого игрового по своей природе человека, как Набоков, она черпает свой материал из смертельных глубин. Тем и велика.

Работа Набокова со словом далеко вышла за границы художественной игры. Именно роман «Дар» предъявил миру, по крайней мере русскоязычному, поразительное расширение возможностей языка. Да и не только в самом языке дело: с древнейших времен человек осознает свою связь с природным миром, временами ощущая себя частью природы, временами об этом забывая. Научная эйфория XIX века привела к иллюзии, что мир вот-вот подчинится созидательной воле человека, и человек начнет новую эру правления материей. Научное и художественное познание мира находились в известном противоречии.

Владимир Набоков, ученый и писатель, оказался «двукрылым» существом: он в полной мере владел обоими инструментами, и в этом была его эта уникальная особенность. Он изучал природу бескорыстно и любовно, со всей возможной в его профессии точностью, и эту точность ученого внес в литературу. В сущности, в этом и была ошеломляющая новация писателя Набокова. Может, стоит вспомнить здесь о Гёте как о предшественнике.

Научный и художественный взгляд на мир совместились, и возникла новая оптика.

Долгие годы Владимир Набоков занимался одной из самых непрактичных областей лепидоптерологии — редкими бабочками, которые не способны изменять экологию. Никаких сельскохозяйственных, фармакологических или иных практических открытий Набоков не сделал. Как и его отец, естествоиспытатель и общественный деятель, он относился с отвращени-

Людмила Улицкая

ем к прикладной энтомологии, презирая «поход на саранчу или классовую борьбу с огородным вредительством», за что и прослыл снобом. Набоков нашел, описал, зарисовал двадцать видов бабочек, создал изумительные коллекции из тысяч экземпляров.

Какое всё это имеет отношение к роману «Дар»? Самое непосредственное и одновременно самое таинственное. В 1938 году издательство «Петрополис» собиралось выпустить особое издание романа «Дар», в котором, по плану Набокова, должны были быть два приложения: первое представляло собой рассказ «Круг» и эссе героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева о научных трудах его отца. Второе приложение называлось «Отцовские бабочки», замечательно интересное исследование философии естествознания, которое и по сегодня поражает оригинальностью, резкостью, нетривиальностью мысли. И полнейшей поныне невостребованностью.

Это замечательное эссе Набокова и есть авторское самоописание, откуда видно, как сосуществуют художественный и научный взгляды на мир. Набоков вспоминает, как в детстве мать принесла ему, выздоравливающему после одной из длинных детских болезней, только что вышедший первый том «Чешуекрылые Российской Империи»: «Драгоценность темно-синей книги, бешено и бережно извлеченной из картона, определялась для меня ОТКРОВЕНИЕМ КРАСОТЫ И ПОЭЗИЕЙ ПОЗНАНИЯ» (выделено мною. — Л.У.).

Эта безупречная формулировка сути набоковского открытия много лет спустя, в одном из последних интервью, была подтверждена: «Природа, наука и искусство сливаются воедино», — говорил Набоков интервьюеру. И добавлял: «Но искусство — первично».

Личный мир

Последний, неоконченный роман, который Набоков просил уничтожить, вышел в свет вопреки воле автора, а вот это задуманное Набоковым важнейшее издание «Дара» с дополнениями — до сих пор не вышло. Его время еще не пришло.

Роман «Дар» — при всем огромном резонансе, который он вызвал, — недооценен еще в одном отношении: этот русский роман написан человеком, который говорит о себе: «Моя голова говорит по-английски, мое сердце — по-русски, а ухо предпочитает французский». Подобно тому, как в Набокове соединился гений ученого с гением художника, он явил собой, возможно, прообраз будущего человека, несущего в себе метафизику не одного, а трех языков, которыми владел в совершенстве. В романе «Дар» это в полной мере заявлено, а в последующих романах — развито и расширено.

У Набокова не было последователей и учеников, хотя было множество малоудачных подражателей. Именно по той причине, что автор «Дара» обладал столь уникальным двойным зрением — ученого и художника. Возможно, единственный из живущих ныне писателей, который идет по этому пути, — Умберто Эко, в каких-то иных пропорциях несущий дарования ученого и художника.

Владимир Владимирович Набоков, аристократ и спортсмен, принимал с величайшим достоинством и юмором все вызовы жизни: целый хор раздраженных современников, эмигрантов всех волн и изгнанников всех политических режимов, укорял его в высокомерии, снобизме, холодности и других грехах. Скорее всего, эти разнообразные претензии имеют одно основание: масштаб личности человека, оскор-

Людмила Улицкая

бляющий обывателей, и масштаб дарования писателя, оскорбляющий посредственность.

Набоков чувствовал, как никто, остроумие жизни, маленькие шутки вещей, все гримасы самоуверенной глупости и провалы патентованной мудрости. Жизнь неоднократно забавлялась и с ним, любимцем и баловнем.

Два года тому назад я оказалась в Монтрё. Последний приют четы Набоковых оказался точно таким, каким я его себе представляла. Швейцарская роскошь без воображения, солидная, но немного потрепанная. За 450 евро можно было переночевать в номере, когда-то занимаемом Набоковыми. Впрочем, хозяйева эту квартирку на верхнем этаже давно перестроили и сделали из нее несколько. Внизу, на лужайке между гостиницей и озером, был устроен сад скульптуры — джазовые музыканты в бронзе дудели в свои дудки и наяривали на гитарах, оскорбляя бронзовые уши сидящего в бронзовом кресле господина Набокова в костюме-тройке, изваянного рукодельником из России.

Набоков, сочинитель множества литературных шарад и ребусов, гроссмейстер розыгрыша и гений совпадения, улыбается сейчас с берегов Леты — которая в его случае называется, наверное, именем северной речки Оредеж, — этой простенькой, но остроумной шутке провидения, заставившего его сидеть в одном вольере с джазом, который вызывал у него при жизни скуку, непонимание и раздражение.

А чего стоит пожизненная вражда Набокова с «венским шаманом»? Сколько сарказма, убийственного пренебрежения и насмешек досталось отцу и основателю психоанализа от остроумного писателя! Другой

Личный мир

на месте Зигмунда Фрейда застрелился бы! Но смиренный Фрейд и не пытался оправдываться: скорее всего, он даже и не узнал имени своего оскорбителя. Прошли годы, и многочисленные последователи психоаналитика изучили романы и рассказы Набокова и обнаружили там множество хрестоматийных примеров эффективного использования фрейдовских идей. Страшная месть оказалось смешной: история Гумберта Гумберта с его детской любовью может быть описана в учебнике по психоанализу!

Еще одна маленькая деталь из того же ряда: в 1972 году Владимир Набоков был рекомендован к номинации на Нобелевскую премию. Нобелевским лауреатом, написавшим это письмо, был русский писатель Александр Солженицын. Вот уж поистине: «...стихи и проза, лед и пламень».

Всё, что презирал один — патриотизм, православие и народность в их несложном виде, — аккумулировал второй. Нобелевский лауреат даже написал Набокову покровительственно-укоризненное письмо, в котором, отдавая должное автору, слегка отчитывал его, что «великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории».

Думаю, что Набоков, обучавшийся грамоте на лучшей и первой в мире английской детской литературе, переведший на русский язык «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (не самым удачным образом, откровенно говоря), радуется всем этим прелестным и лукавым улыбочкам, которые развешены в пространстве, принадлежащем великому, но не «нобелированному» русскому писателю. Впрочем, Льва Толстого тоже не удостоили.

ОДИССЕЙ

Хотя царство Одиссея было размером с деревню, царское достоинство его не вызывает сомнения. При такой-то родословной! По отцовской стороне — всё прилично, но ничего выдающегося: Лаэрт, отец Одиссея, был сыном царя соседнего с Итакой острова. В греческом архипелаге островов несколько тысяч, так что и царей — соответственное количество. Не редкость. К тому же ходят слухи, что Антиклея, мать Одиссея, пугалась до брака с Сизифом, так что доподлинно неизвестно, кто его отец. Зато по материнской линии — просто шикарно! Родной дед Одиссея, отец Антиклеи, — вор и клятвопреступник Автолик, а он — известно кто: сын Гермеса! Вот такова родословная нашего героя, и она объясняет все прекрасные и отталкивающие черты Одиссея. Еще совсем немного, десять — двадцать лет, и генетики раскопают косточки, проанализируют ДНК и подтвердят фантастическую гипотезу о внеземном происхождении человечества. Есть такая изысканная идея, что древние боги на самом деле не боги, а жители иных вселенных, которые дали свой геном для скрещивания с теми человекообразными существами, которые обитали на земле и которых за людей считать было нельзя, и мы с вами — и с Гомером — являемся их гибридными потомками!

Гомер обожает Одиссея, красок не жалеет, чтобы описать его достоинства: умен, хитер, ловок, «славен копьем» и «быстр разумом». Вслед за Гомером Одиссея полюбило и всё человечество: он и герой — множество подвигов; и путешественник — сколько островов, сколько стран, даже до иного мира добрался;

Личный мир

и беспронимательный оболъститель! Однако если со стороны нравственности и морали взглянуть на Одиссея — место его в тюрьме! Вор, как и дедушка, мошенник, соблазнитель юных дев и пожилых волшебниц...

Я и сама была в него в детстве влюблена. Он ведь и был родоначальником суперменов, до которых падки все неразумные девы, пока не входят в возраст и не начинают соображать, что слабее и тщеславнее супермена нет на свете существа. И тогда исследователь (или исследовательница) ставит главный вопрос: в чем же притягательность этого сомнительного героя? Он реализует собственную жизнь как дорогу. И его биография становится метафорой: жизнь, проведенная в борьбе с богами, в преодолении препятствий, жизнь, в которой подчинение судьбе гармонично сочетается с борьбой.

Расшифровывая события бурной жизни Одиссея, мы сопоставляем их с теми испытаниями и искушениями, которые встречаются и нас на нашей скромной дороге. Одиссей — не столько путешественник, сколько скиталец. Но своим талантом и умом он умеет превращать преследующие его неудачи в приключения. Удивительный взгляд на вещи! Все мужчины немного завидуют Одиссею, все женщины немного в него влюблены. Хотя есть и такие, кто влюблен сильно. Первая среди обожающих женщин — жена Пенелопа. Это ее он выбрал в жены, проявив свой хваленый ум и предвидение. Он толкся в толпе почитателей прекрасной Елены, когда она еще ходила в невестах, а женился на ее двоюродной сестре, которая вовсе не стояла в первом ряду невест на той ярмарке. И как он был прав! Достойное поведение — лучшее украше-

Людмила Улицкая

ние женщины; это и до сих пор так. Он выбрал счастливый билет, женившись на Пенелопе. А она? Сколько ей было лет, когда Одиссей вынужден был, собрав двенадцать кораблей, отбыть на войну в Троию? Девочка лет четырнадцати (не сдобровать бы всем прежним героям в наше время), родившая своего первенца. Одиссею не хотелось на войну, он даже попытался отмотаться от армии, прикинувшись сумасшедшим. Но был разоблачен. И отправлен на войну. А вернулся тридцать лет спустя к раздобревшей за рукодельем матроне, увядшей на ложе, лишенном супружеских радостей, и к тому же униженной непристойной собачьей свадьбой, происходившей в ее доме, — претендовали женихи скорее на ее имущество, царское достоинство и маленький, но собственный остров, чем на пожилые прелести! Одиссей к этому времени тоже был потрепан жизнью. Да к тому же высокая покровительница, Афина Паллада, состарила его своим волшебством, так что выглядел он уже не на пятьдесят пять, а на все восемьдесят.

Самый трогательный эпизод всех его приключений — старая слепая кормилица, которая ходила за Одиссеем в детстве, узнает его в обличии нищего странника, прикоснувшись к шраму на ноге. Сын не узнал, жена не узнала, а старуха-служанка узнала. И Одиссей, никем не узнанный, расшвыривает наглецов и открывается в своем царском величии.

Гомер, конечно, знал тайну повествования длиной в жизнь. А именно: где поставить точку. Но тайну эту он никому не открыл. И точку не поставил. Впрочем, нельзя исключить, что о расплывчатости финала позаботились сотни последующих поколений, которые оставляли на повествовании свои отпечатки. Таким

Личный мир

образом, великая поэма превратилась в сакральный текст: он двоятся, таит в себе бездны, темноты и петли. Но есть важный вопрос: а чем там дело кончилось с Одиссеем? Я люблю канонический финал: на Итаку приплывает сын Одиссея Телегон, прижитый от волшебницы Кирки. Он встречает отца на берегу, не узнает его. Обнажают мечи — и сын убивает отца. Так работает прославленный греческий рок, по распоряжению которого сын норовит уничтожить своего отца, используя разные стратегии — от кастрации и поедания до случайного убийства.

Существует и более мягкая версия, которая мне представляется более поздней — на ней уже лежит печать библейского примирения человека и бога: принявший свою судьбу старый герой доживает свои дни в Этолии и умирает, насыщенный днями. Герой, хитрый, умный и ловкий, умирает не от меча, а от старости.

Этот финал говорит о конце гомеровской эпохи, наступают новые времена: человек примиряется с богом.

ЧЕЛОВЕК СО СВЯЗЯМИ

Эту тему сначала надо почуять, как охотник чует свою добычу. Потом, определив место, где добыча может скрываться, обозначить границы, в которых пойдет охота... и оградить участок флажками, чтобы добыча не ускользнула.

Возможно, что добычей окажется метафора. Грандиозная метафора в стиле Джонатана Свифта: гигантский спящий Гулливер, привязанный тысячами нитей

Людмила Улицкая

к платформе, которая движется неизвестно куда. Вот об этих нитях тянет подумать и поговорить. Кстати, они в родстве с теми, которые ткут мифологические сестры, устраивая узоры из рождений, смертей и иных пересечений судеб.

Общая ткань бесконечна: одни нити прерываются, вплетаются другие, но в их подвижном континууме каждая нить неведомым образом связана с остальными. Устройство этого многоцветного ковра таково, что каждую его точку можно рассматривать отдельно, и движение ее определяется всеми прочими, и каждая точка обладает полнотой собственного бытия — или, по крайней мере, дает такую иллюзию внимательному наблюдателю, который, временно отрываясь от себя самого, пытается разглядеть картину с высоты птичьего, скажем, полета.

Что же это за нити? Что за связи? Заранее можно сказать, что отчетливого, однозначно удовлетворительного ответа не будет. Нам дана лишь возможность восхищаться, изумляться, ужасаться и радоваться, когда удастся проследить хоть какие-то фрагменты этой подвижной ткани.

Приближение первое: человек как явление природы. Единственное, кажется, существо, способное осознавать свою принадлежность природе и изучать себя самого в разных обстоятельствах. Одновременно объект изучения и инструмент, это изучение производящий, — именно в этом уникальность человека в доступном наблюдению мироздании. Производное земли, человек связан не только с землей, но и с небом разнообразными нитями. Для многих живущих на земле небо — место пребывания Высшей Силы, для других — астрологическая карта с фигурами зодиака

Личный мир

и иными созвездиями, определяющими индивидуальные судьбы людей, третьих интересует влажность, направление ветра и содержание озона в двадцати километрах над поверхностью собственной шляпы, четвертые, задржав голову, смотрят в синеву и ловят кайф от ее воображаемого покоя.

То же и с землей: ее обожествляли, чтили мощную силу ее плодородия, вскапывали и поливали, ее терзали, любили, ненавидели, начиняли порохом и собственной кровью, зарывали в нее сокровища и прятали в ней следы преступлений. На ней рождались и в нее ложились, и она принимала в себя остатки мягких тканей и костей.

Из земли вырастают растения. И снова возникает целый веер отношений человека и зеленых детей земли — от обожествления до уничтожения... И какие тонкие связи здесь образовались: человек ухаживает за деревом, любит его, съедает его плод, сажает его семя в землю, сжигает древесину, обогревая свое временное тело... Практикующий цигун стоит в позе дерева и пребывает деревом, извлекая из этого состояния невысказуемое знание. Вырубающий лес прокладывает на его свежей могиле двенадцатиполосный хайвей. А зеленый лист продолжает делать то, что не умеет делать никто больше в этом мире, — преобразует солнечную энергию в живую органическую массу. Это и есть первичная божья глина. Без растений не могли бы существовать животные.

Биг бенг (Большой взрыв) или акт творения? Теория эволюции или теория катастроф? Копытит невидимая глазом инфузория-туфелька, активно схватывающая добычу временным ртом, но еще не разучившаяся освобождать кислород из углекислого газа

Людмила Улицкая

с помощью хилого солнечного луча, пробившегося через поверхность мутной воды. Это хлипкий мостик, по которому карабкается эволюция. Следующая ступень — окаменевшая кость, пробитый череп обезьяночеловека, подлог мистификатора или ухмылка природы?

Ставши человеком, это существо не перестает быть животным. Какая сложная здесь система связей возникает: несомненное животное, и по сей день животное, по всем признакам совершеннейшее животное — активное движение, активное питание, инстинкты, общие для рыбы, змеи, кролика и человека. Инстинкты питания, размножения, заботы о потомстве. Впрочем, последнее не у всех. Не всякая рыбка заботится о своих детях, некоторые лишь брызнут спермой в подходящих обстоятельствах. Но это и у людей бывает...

Какие связи, какая история и предыстория... Тотем и табу. Ты — от медведя, я — от марабу. А этот — от Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Или от Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда.

Не надо смеяться. Мы связаны с животными неразрывно и во веки веков. Они проживут без нас, а мы без них — нет. Они наша мясная пища, наши котлеты, колбасы и бульоны, крабовые салаты и рыбные супы... Но мы любим еще, когда кошка мурлычет и трется о колено, а собака кладет голову на другое колено и преданно смотрит в глаза... И не забудьте про вервольфа... и про черную пантеру древней Африки, вызванную шаманскими заклинаниями. И еще не забудьте того, чего не знаете, чему не находите объяснений: ритуал погребения у слонов, изгнание провинившегося муравья из стаи, взаимная нежность крокодилов,

Личный мир

убийство сыновей от прежнего брака матерыми львами, смертельные бои оленей и смерть от неразделенной любви у совсем безмозглой канарейки...

Какие трогательные сказки рассказывает нам индуизм о путях перерождений! Не пей из лужи, братик, козленочком станешь, — говорит и русская сказка. А доктор Штайнер рассказывал ученикам — и учил их наблюдать благодатное пламя ауры вокруг коровы, жующей свою жвачку: священный акт природы, процесс усвоения солнечной энергии, накопленной растениями, телом животного... Только ленивый не высмеивал антропософов. А ведь они увидели заново то, о чем забыла образованная Европа. Их взгляд — благоговение перед чудом жизни.

И, конечно, нельзя упустить из виду магнетические связи человека с низшими природными силами: ведьмы в трагедии Шекспира «Макбет» призывают их заклинаниями и манипуляциями с останками животных и растений...

А способность человека вступать во взаимоотношения, перекидывать нить общения за пределы мира реальности? Речь здесь идет не только о ритуалах и мистериях, начиная хоть от Элевсинских, но и о сократовом «даймоне», и о беседах Божьей Матери с Серафимом Саровским. Хотите верьте, хотите нет. Но иконы Благовещенья сами по себе являют факт, присутствующий вне зависимости от того, верим ли мы в посещение архангелом Гавриилом юной дочери Иоакима и Анны. Я в той деревне была, видела церковь Благовещенья, под ней, в археологическом раскопе, — миква. В двух шагах — арабская закусовая, мы там ели. Хозяйку зовут Мармат, у нее восемь детей, она приветлива и мила. Поговорили. Нас угостили кофе.

Людмила Улицкая

Расцеловались. Разошлись в разные стороны. Навсегда. А узелок зачем-то завязался!

Одно только перечисление разнообразнейших связей, которыми связано всё живущее, набрасывает эскиз картины огромной сложности и разнообразия. Но есть и специальные, исключительно межчеловеческие отношения, и первая важная группа — вертикальное родство: у каждого есть родители и дети. Во всяком случае, отсутствие таковых является скорее исключением. Имеется также значительное количество кровных родственников с убывающей степенью родства. У каждого человека, кроме родственников кровных, есть еще большое количество свойственников. Свойство тоже в некотором отношении приравнивается к родству. Кроме того, есть отношения соседствующих людей, отношения профессиональные, партийные, разного рода социальные: «хозяин — работник», «врач — пациент», «учитель — ученик» и многое другое. Религиозная сфера дает еще один огромный спектр отношений — от запрета на трапезу с иноверцем до крестовых походов и погромов.

Есть еще область совсем уж таинственная — область сновидений и близких к ним явлений. Сны вещие, предсказывающие будущее. Сны-загадки, вызывающие беспокойство, и даже сны, несущие конкретную информацию. Великий химик Менделеев, открыватель и создатель знаменитой таблицы Менделеева, изменивший представление о химической природе вещества, утверждал, что таблица приснилась ему во сне. Связь с глубинами подсознания или с высотами иного мира?

Известна такая категория снов, которые прокладывают связи между реальной жизнью и бытием иного

Личный мир

рода, пространствами нематериального мира. Мы не знаем, откуда добывали свои сведения создатели сакральной литературы — от египетской, тибетской и других «Книг мертвых» до Майстера Экхарда и Блеза Паскаля... Но эти таинственные связи — вне зависимости от того, относимся мы к ним скептически или с почтением, — описаны в подробностях и деталях.

Всё вышеизложенное — длинное предисловие к короткому заявлению, что литература и есть художественное осмысление этих связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику.

Подобно мольеровскому Журдену, сделавшему открытие, что всю жизнь он говорит прозой, скромное открытие о кружевной природе человеческого бытия, о тайне, заключенной не только в узелках, но и в пробелах между ними, я сделала в студенческие годы. В то время я была студентом-генетиком и переживала великое открытие века, которое кое-как добралось до затравленной советской властью биологической науки. Я имею в виду двойную спираль ДНК Уотсона и Крика.

Эта модель, как тогда казалось, всё объясняла в наследственности, а заодно и кое-что в мироздании. Спираль раскручивалась, потом в раскрученном виде соединялась с другой, тоже располовиненной, аденин кидался в объятия к тимину, а гуанин к цитидину, и происходила комбинация наследственного материала, в результате чего возникала и я, и моя кошка. Но кроме этих двух нобелевских лауреатов был еще третий, ночной, встреча с которым меня потрясла никак

Людмила Улицкая

не меньше. Это был Борис Пастернак, вернее, его роман «Доктор Живаго», уже известный по слухам, кем-то из особо приближенных к писателю уже прочитанный, уже скандальный, изданный в Италии на русском языке и ходивший по рукам. Этот роман, уже в первом к нему прикосновении, открыл для меня это кружево жизни. Впоследствии я много раз его перечитывала и находила в нем всё новые и новые драгоценности.

Одна из лучших сцен романа — и самых загадочных — смерть Юрия Андреевича Живаго. Он едет в трамвае, замечает из окна постоянно ломающегося вагона пожилую даму в лиловом, которая то обгоняет трамвай, то снова оказывается позади. Ему приходят на ум школьные задачки на «...исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов... Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, что когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему...»

Сердечный приступ начинается у героя, он задыхается в душном вагоне, пытается открыть накрепко закрытое окно. «Ощутил небывалую, непоправимую боль внутри...», рванулся к выходу, выскочил из трамвая и упал мертвым... к ногам дамы в лиловом, мадемуазель Флери, с которой пути его мимолетно пересеклись на Урале, за двенадцать лет до этого дня. Она, не узнав в умершем доктора Живаго, прошла, помахивая свертком с документами в швейцарское посольство, где получила наконец долгожданное разрешение на возвращение домой.

Личный мир

Зачем нужна была автору эта встреча-невстреча? Юрий Живаго прекрасно бы умер, не попав на глаза пожилой швейцарке, когда-то с ним знакомой. Да и вообще: зачем, при всей многофигурности романа, при десятках значительных, интересных героев понадобился ему этот лиловый призрак, совершенно ничего не меняющий в ландшафте романа?

Можно строить различные объяснения этому столь значительному и бессмысленному эпизоду, но лично для меня он послужил отправной точкой для размышлений о соотношении жизни и литературы, о том, что именно производит литература с судьбой, когда рассматривает ее с художественно-философской стороны. Несомненно, литература выявляет и прочищает связи, завязанные внутри жизни, вычленяет наиболее важные, отсекает второстепенные, то есть производит отбор субъективный, авторский. Автор как бы предъявляет свою интерпретацию происходящего. И талант — убеждает. Меня в те мои молодые годы Пастернак убедил, что мир сплетён из тончайших нитей, что каждый из живущих обладает тысячью валентностей, которые замыкаются на окружающем мире и между собой. Прочитанная книга аккумулирует такие связи: все прочитавшие ее особым образом связаны между собой отношениями к героям книги, размышлениями о судьбах и обстоятельствах их жизни. Такими же аккумуляторами связей оказываются и великие музыкальные произведения, и картины, и скульптуры. Однако язык литературы здесь — самый внятный.

Конечно же, я была идеальной слушательницей-читательницей Бориса Пастернака. Даже мое первое знакомство с ним было очень знаменательным и забавным. В тринадцатилетнем возрасте в книжном

Людмила Улицкая

шкафу моей подруги позади всех книг я нашла две, спрятанные от детей. Одна из них была «Декамерон» Бокаччо, и мы ее внимательно исследовали. А вторая — сборник Бориса Пастернака. Я его открыла и захлебнулась. «Сестра моя жизнь» просто обожгла. К тому времени мне были известны имена Ахматовой, Северянина, Цветаевой, даже Анненского я знала, а Пастернака — нет. И он стал моим собственным, личным открытием. И до сих пор я иногда начинаю скучать по его музыке, открываю его томик. Через его стихи я поняла, что поэзия концентрирует все связи, рождает новые ассоциации, тренирует глаз, слух, сознание, переносит из повседневной жизни в мир возможного, но малодоступного.

Немного позже я обнаружила в том же шкафу «Детство Люверс» и очень над этим детством страдала: волнение, горечь непонимания. Именно тогда, уже при чтении стихотворений Пастернака, открылась мне тайна рифмы — не звуковой, а многофункциональной. «И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы...» — синева весеннего неба так осязаемо переглядывалась с синими кальсонами в узелке, синим трико, машущим пустыми ногами с веревки, натянутой посреди двора, — навстречу небу...

Именно Пастернак снял с моих глаз пленку, и я стала видеть благодаря ему то, о чем прежде и не догадывалась: о связи всего со всем, о невысказуемой красоте этой связи. Я увидела, что мир наполнен сюжетами, как хороший гранат зернышками. И каждое зерно связано с соседним. Но метафора с нитями — убедительней. Просто касаешься любой близлежащей нити, и она ведет тебя в глубину узора, через напряжение страсти, боли, страдания, любви.

Личный мир

Ни рассказ, ни роман, ни поэма никогда не являются доказательством или серией доказательств какой-то мысли или гипотезы. Мастерство писателя заключается в том, чтобы возможно полно показать эти волшебные связи, полувоображаемые, полуподсмотренные. Речь идет, конечно, не только о Пастернаке. Но именно ему я пожизненно благодарна за то, что он, как апостол Петр, открывает своим ключом дверь, за которой хранится лучшее, что создал человек, водя пером по бумаге.

Место входа у каждого человека свое собственное: но я ни разу не встретила человека, который самостоятельно, без учителя — книжного или реального, — смог бы найти этот вход. Да не все и находят.

Из этого неопределенного закона связей всего со всем вытекает одно не вполне очевидное следствие: богатство отдельной человеческой жизни зависит от того, сколько нитей может удержать человек. Вся человеческая культура — не что иное, как гигантская ткань, сплетенная из мириадов нитей, в которой удерживается ровно столько, сколько ты лично можешь удержать.

Общая сумма культуры, которая увеличивается непрерывно, нуждается в человеческом сознании, работающем на предельной мощности, изготовившем инструменты для увеличения собственной точности, прочности, надежности и быстродействия. И какой же непоправимый урон наносят себе лично, культуре и самой жизни люди, исключаящие из своего умственного обихода науку и искусство, ограничивающие свое существование лишь связями с источниками питания, тепла и партнерами для продолжения рода.

**«Я думаю, что будут читать долго —
еще десять лет...»**

(из интервью)

— Людмила Евгеньевна, когда-то книги имели огромное значение для судеб мира, хотя, возможно, мы его и преувеличиваем сейчас, постфактум. Как Вам кажется, тексты могут оказывать влияние на то, что происходит в мире?

— Могут, конечно. Фольклор в первую очередь. Есть мощные фольклоры, которые организовывали вокруг себя нацию. «Старшая Эдда» была, несомненно, культуuroобразующей. Но с фольклором всегда большие сложности. Он существует тысячелетия в незаписанном виде, и только с какого-то определенно-го момента его можно считать литературой. С большими допущениями.

Есть книги, которые меняли сознание, меняли, быть может, ход человеческой истории. Во всяком случае, меняли сознание людей. Это Веды, Библия, Евангелие, из современных, вероятно, «Капитал» Маркса.

О Коране еще надо подумать. Священная книга для половины человечества. Правда, половина от этой половины неграмотна. Так что в исламском мире, мне кажется, работают скорее механизмы, индуцированные книгой: традиция, железная форма, шариат.

Не думаю, что есть художественная проза, которая обладает таким воздействием.

— В России и во многих странах постсоветского пространства люди по-прежнему читают много, но довольно бессистемно. Мне пришлось слышать от одной дамы: «Булгакова не люблю, предпочитаю Дарью Дон-

Личный мир

цову». Иерархии больше нет, всё стало просто чтивом, используемым для того, чтобы скоротать время. С чем это связано и к чему приведет?

— Даму вашу знакомую, конечно, мне жаль. С другой стороны, она себя отлично чувствует и не подозревает, как много прекрасного и интересного проходит мимо нее. Иерархия, конечно, существует. Но выстраивают ее люди, она к нам не с неба спускается. По рейтингам книг можно дать социальный и культурный портрет общества. Нет ничего удивительного в том, что есть читатели, которые предпочитают Донцову Булгакову или Шекспиру Пикуля. С этим придется смириться. Но у каждого из нас есть неотъемлемое право личного выбора. Напечатано всё. Вспомним советские времена, когда под запретом было множество книг религиозных, философских, да и художественной прозы... Но и тогда находились охотники до опасного чтения.

— *Кажется, что Вы совершенно не знаете страха. Страх быть непонятой, страха нарушить границы и приличия. Вы свободно пишете о физической стороне любви, хотя русская литературная традиция предпочитала обходить эту тему стороной. Выбираете в качестве главной темы романа «Казус Кукоцкого» проблему абортов в СССР, в «Даниэле Штайне» исследуете одно из самых больных мест нашей цивилизации — иудео-христианский спор. Спор настолько острый и непримиримый, что 99 процентов людей предпочтут в него не вступать. Откуда у Вас такая смелость?*

— Страх покидают тебя постепенно, на это уходят десятилетия. Не только внешние страхи, но и внутренние. Для меня это путь к внутренней свободе,

Людмила Улицкая

и начинается он с того, что ты честно отвечаешь сама себе на неудобные вопросы. Сегодня — в сравнении с собой пятьдесят лет назад — я сильно продвинулась на этом пути. Но не могу сказать, что вполне освободилась от страхов. Есть над чем работать.

— *Каким Вы видите читателя будущего? И будут ли люди вообще читать?*

— Будет ли человечество читать, что и как именно — не знаю. Ясно, что культурные формы прошлого столетия отличаются от того, что мы видим уже сейчас, в самом начале XXI. Потому так жить интересно, что происходят неожиданные и непредсказуемые вещи.

Незадолго до смерти Чехов сказал своему издателю: пройдет три-пять лет, и никто не будет читать моих книг. (За точность не ручаюсь, но за смысл — да.) И получил ответ: нет, я думаю, что будут читать долго — еще десять, пятнадцать лет. Сто с лишним лет прошло, а мода на Чехова не проходит...

— *Я регулярно привожу Ваши книги друзьям в Армению, и, надо сказать, ни одна из них так ко мне и не возвратилась. Их передают дальше, и они теряются. Русский язык, русская литература всё еще являются объединяющим фактором для людей на всем постсоветском пространстве. Удастся ли сохранить его, и надолго ли?*

— Это уникальная для нас, но в истории уже известная ситуация. Конец империи. Была создана имперская культура, и русский язык был в ней главенствующим. Как в Римской империи, точно так. Невозможно было представить себе ни государственного чиновника, ни вообще человека гуманитарной про-

Личный мир

фессии, который бы не владел языком имперским. Сейчас, после распада нашей империи, восстанавливается условное одноязычие бывших республик. В качестве второго языка большая часть молодежи выбирает английский. В Грузии и в Прибалтике (в Армении я очень давно не была, не знаю) молодежь почти не знает русского. Однако вся мировая культура шла в эти маленькие республики в основном через русский язык. Переводы с древних языков, философские, специальные книги по профессиям, не говоря уже о художественной литературе всего мира, было не под силу сделать в маленькой стране, скажем, в Эстонии или в Белоруссии, на родной язык. Я знаю только одну маленькую страну, которая неустанно переводит мировое богатство, — Сербия, представьте.

Уход русского языка в республиках бывшего СССР меня огорчает. Теряется культура. Когда еще армяне переведут на армянский всё то, что есть на русском! Но это процесс неизбежный. Вспомним, однако, что в Древнем Риме греческий язык был языком культурных людей, и отчасти по той же причине: литература греческая уже была мощнейшая, а римской еще предстояло произойти. Здесь насилие невозможно: само живет, само умирает. Представьте, по сей день в итальянских лицах учат не только латынь, но и древнегреческий. Слава культуре! Наверное, это одна из причин, почему я так люблю Италию и итальянцев.

Есть еще один интересный аспект: в советские времена была чрезвычайно интересная литература, написанная на русском языке людьми иных национальностей. Очень интересный феномен. Главный из этих авторов, конечно, Фазиль Искандер. Но еще десяток наберется.

Людмила Улицкая

Казалось, что это явление ушло вместе с уходом русского языка с окраин империи. Но нет! Тут Армения подарила нам замечательного автора Мариам Петросян. Ереванка, пишущая на русском. Замечательную книгу написала. Не знаю, переведена ли она на армянский.

— Будет очень обидно, если нам не удастся сохранить лучшее из постсоветского наследия — языковую и культурную общность.

— Год тому назад один благотворитель, Андрей Филатов, дал мне средства, чтобы сделать такой постимперский проект. В моем небольшом книжном фонде был запущен проект под названием «Добрые соседи», мы сформировали сто комплектов действительно хороших книг, чтобы разослать их в библиотеки Средней Азии, Прибалтики, Кавказа, Закавказья, Украины, Белоруссии и Молдавии — для национальных и университетских библиотек, по два комплекта на город. Для тех, кто еще читает по-русски, для русских, проживающих в тех краях. Денег на закупку книг почти ни у кого нет, особенно русских книг: политические соображения превышают культурные. Словом, бóльшую часть комплектов мы уже разослали, и все очень довольны. А вот с Арменией — осечка. Мы уже неоднократно обращались в Ереванскую национальную библиотеку, что для них есть комплект книг на русском языке, — от них ни слова. Обидно, конечно, Ну, пойдут эти книги к тем, кто их хочет. Не знаю, это лень и нерадивость ваших чиновников или осознанная реакция неприятия. И то и другое досадно.

Беседовала Анна Рулевская.

Журнал «Ереван», № 7–8, 2011

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (1993–2012)

БЛИЖНИЙ КРУГ

Если не считать дюжины Александров — от Борисова до Хелемского — и нескольких мужчин, носящих иные имена, все прочие мои друзья — женщины. Девочки, тетеньки и старушки. От всех времен моей жизни сохранились представители. У меня даже есть одна подруга Женя, из моего двора, которая помнит моего прадеда. Она единственный на свете человек, кроме меня, была свидетельницей восхитительной сцены изгнания из нашего двора страшной большой собаки: мой девяностолетний дед, размахивая палкой, на ручке которой была вырезана голова маленькой собачки, храбро защищал двух четырехлетних испуганных пищалок. Еще раньше, в прогулочной детской группе, завелась подруга Маша, первая, до самой ее смерти, моя подруга. Одна подруга сохранилась со времен школы: с Ларой мы сидели на одной парте года три, потом она мне стала скучна, но прошло еще много-много лет, и оказалась она совершенно не скучной, а достойнейшей женщиной.

Людмила Улицкая

От университетских лет — горстка. Семь подруг, поселенных в одну палатку на практике в Чашниково. Собственно, в палатке было восемь девиц, но одна не вписалась. Лучшая из нас ушла первой. Помним. Потом ушла самая красивая, следом — самая тихая. Все три — Лена, Лена и Ляля — от рака. Я скорей всего буду четвертая — у меня тоже рак.

Каждое десятилетие приносило свой улов. Я чувствую себя защищенной, потому что знаю, сколько моих подруг и друзей радуются моим успехам и переживают рядом со мной мои тяжелые времена. Я признательна моим друзьям. Но особенно я благодарна тем, кто во времена моей юности, когда я еще не умела сама справляться с многими жизненными проблемами, выслушивал мои бредни, тратил драгоценное время жизни на лечение моих стрессов и маний, страхов и страданий, которые по большей части совершенно того не заслуживали.

Я никогда в сложных жизненных ситуациях не пользовалась институтом психоанализа, психологической поддержкой специалистов и разнообразными методиками разгрузки и расслабления. Для всего этого достаточно было подруг. Впрочем, во времена нашей молодости таких услуг просто не было в помине. Но мы справлялись своими силами — служили друг другу и психоаналитиками, и духовниками, и сестрами милосердия, и кредиторами.

Сегодняшнее общество предлагает огромный спектр услуг, которые можно приобрести за деньги: билеты принесут на дом, посидят с ребенком, обиходят больного. Прежде ничего такого не было — мы служили друг другу, помогали выживать, растить детей и хоронить наших стариков. И вся эта жизнь протекала

Личный мир

в веселом безденежье, легкости на подъем, в застолье, которое, казалось, не прекращалось.

Я очень ценила моих друзей старшего поколения, они были возраста моей бабушки, некоторые успели получить образование до революции, в юности успели побывать в том мире, города которого казались почти вымышленными: Париж, Лондон, Женева. Почти все эти друзья были женщины: наш век был гораздо беспощаднее к мужчинам. Они редко доживали до старости. Зато старухи были великие. Среди них было несколько женщин из очень известных фамилий, но были и совсем простые, вовсе без образования, и у всех жизненный опыт огромный, ошеломляющий: Елена Яковлевна Браславская (Ведерникова в последнем замужестве), Нина Константиновна Бруни-Бальмонт, Ирина Ильинична Эренбург. Эмиграция, гонения, ссылки.

Когда общаешься с людьми такого масштаба и такой судьбы, не только получаешь уроки мужества, стойкости, порядочности — невольно начинаешь правильно оценивать свои собственные боли, обиды, проблемы. Но учишься не только у умных и талантливых — иногда получаешь потрясающие уроки доброты, сердечности, мудрости от людей, которых не особенно высоко ставил. Простодушные и чистые сердцем люди оказываются отличными учителями. У меня есть подруга, которую я всегда любила, но относилась несколько свысока. На ее долю выпало тяжелое испытание — разбил инсульт, она стала инвалидом. Но как же она достойно себя ведет! Это ведь не однократный акт героизма, на который многие из нас способны, а каждодневное терпение, каждодневное смирение, забота о том, чтобы не доставлять окружающим лишних забот, стойкость, старание, мужество.

Людмила Улицкая

У меня прекрасные подруги. Это не значит, что мы не попадали во все те ловушки, в которые попадают молодые женщины, — ревность, зависть, любовные треугольники, несчастные влюбленности и невыносимое одиночество. И наносили друг другу раны, бывало. Но многое мы прожили вместе, помогая друг другу, любя друг друга.

У нас было множество детей — по известному анекдоту: мои, твои и общие. Многие браки распались, возникли новые, и всякие затейливые перекрестки образовывались. Но мы старались вести себя достойно, даже когда ситуации бывали очень сложные и двусмысленные. Наши дети дружили между собой, и теперь образовалось несколько браков между выросшими детьми, и мы всегда радуемся, глядя на эти семейные союзы. Это, как мне кажется, странная добродетель нашего поколения: мы научились дружить с бывшими мужьями и женами, принимать без предвзятой неприязни следующих жен и мужей наших бывших, любить их новых детей, дружить с бывшими свекровьями и тещами, принимать в доме бывших женихов и следующих жен.

Как хорошо, что это просто мои размышления, а не интервью! Потому что интервьюера непременно интересовали бы детали и подробности. Но всё, что хотелось мне сказать об этой особенности нашего поколения, я уже написала во множестве рассказов, в романе «Медея и ее дети», в «Казусе Кукоцкого»...

Жизнь перерабатывает материал, из слез, переживаний и трагедий вырастает человеческий опыт. А писатель, глядишь, и напишет что-нибудь...

Есть еще одна вещь, о которой я не могу не сказать, вспоминая о моих старших подругах. Время про-

Личный мир

шелестело незаметно, и я сама уже стала «старушкой-подружкой» для моих молодых подруг. Глядя на них, думаю: сколько же они мне дали! Никого из них уже нет. Но всегда под рукой их опыт, их высказывания, их суждения.

С чем у меня никогда не получалось, так это со сбором коллекций. Однажды в студенческие годы почти получилась коллекция поваренных книг. Но в те годы у всех были какие-то коллекционные мании, и две мои подруги собирали именно поваренные книги, и после того, как я подарила им лучшее из того, что накопила, коллекция потеряла смысл и я к ней охладела. С тех пор в доме осталось несколько занятных поваренных книг: первое и последнее дореволюционное издание Елены Молоховец, вегетарианская «Я никого не ем», гимназический учебник по домоводству для хороших девочек — но это вовсе не коллекция. Зато собралась другая коллекция, лучшая из всего, что может собрать человек: коллекция подруг и друзей.

Начавшись в раннем детстве, это продолжается и по сей день. Лист не закрыт. Я думала, что с годами это собиранье остановится: уменьшается количество валентностей на дружбу, на любовь. Но это не так — прекрасные люди понемногу прибывают. Не могу сказать, что я стремлюсь расширять этот круг. Он не очень велик, но каждый из персонажей драгоценен. Если не считать смерти, которая забирает и родных, и друзей, выбыли из этого круга за всю мою жизнь только два человека — я поссорилась с двумя подругами. Честно говоря — они не захотели со мной общаться. Первый случай вызвал недоумение, второй я трудно и болезненно перенесла. Обе они живут в Америке, и я отчасти объясняю наш разрыв именно за счет

Людмила Улицкая

эмиграции, которая видоизменяет человека. Не в лучшую и не в худшую сторону — в иную. Иногда отчуждение происходит именно на этой почве.

Первые мои друзья — мальчик Саша и девочка Маша. С трех лет. Маша покончила жизнь самоубийством. Саша, сосед по дому, приходит ко мне иногда поужинать, пообщаться. Последнего призыва друзья — Саша Смоленский, Саша Окунь. Драгоценное приобретение последних лет — Вера Горностаева.

О своих друзьях я пишу в двух случаях: либо это некролог, либо предисловие к каталогу или книге. Я просмотрела всё написанное о моих друзьях за последние двадцать лет. И ничего не стала править.

Записки получились неровные: что-то заказное, с определенным заданием, — статья в журнал, как это было в случае с Галей Колманок, или текст для сборника памяти ушедшего, как это было с отцом Александром Менем. Многое, написанное двадцать или десять лет тому назад, сегодня я бы не написала. Именно эти старые записки и показали, насколько изменилась я сама. К тому же оказалось, что о самых близко-ближайших как раз почти и не написано! Потому что они рядом, потому что живы, потому что нет повода писать ни с того ни с сего несколько страниц о человеке, который и так присутствует ежедневно в твоей жизни: Ляля, Лика, Ириша, Диана, Зоя с Витей.

Зато написано довольно много о тех, с кем вовсе не было тесной дружбы — лишь случайное касание. Но в момент касания, общения, соприкосновения нет никого на свете ближе, чем этот сиюминутный собеседник.

Гаянэ Хачатурян прожила у меня несколько недель в середине восьмидесятых годов. С Кристиной де Гранси мы видимся раз в пять лет, всякий раз с большой ра-

Личный мир

достью. Но назвать ее близкой подругой не могу. Сергея Бархина знаю несколько десятилетий, но видимся обычно лишь на чьих-то днях рождениях, на вернисажах.

Ближние и дальние, ушедшие и живые, они составляют ландшафт жизни.

ПАМЯТИ МАШИ

На переделкинской просеке, освещенной ярчайшим солнцем детского воспоминания, шли две маленькие девочки, единоутробные сестры, а издали, им навстречу, шел высокий человек. Его голова блестела на солнце, бликовала. И девочки спорили:

— Седой, — сказала одна.

— Лысый, — возразила другая.

Они шли навстречу друг другу, и солнце всё еще играло над его сияющей головой, а они спорили, пока не поравнялись с ним. Он был седой.

Он прошел мимо, не оглянувшись. Они долго молчали, а потом старшая сказала:

— Мне кажется, это был твой отец.

— Я его узнала, — ответила младшая.

Об этой встрече мне рассказала младшая, Маша, несколько лет спустя, уже после самоубийства советского классика, который приходился ей отцом.

Наш последний разговор с Машей происходил в Тимирязевке, за неделю до ее смерти, за день до ее отлета домой в Лондон.

Мы вспоминали о детстве. Мы были подругами с двух с половиной лет, с прогулочной группы на Ми-

Людмила Улицкая

уССКОМ скверике, где интеллигентная дама Анна Юлиановна извлекала свой насущный хлеб из свежего воздуха и сомнительного немецкого языка, который, как предполагалось, мы должны были усваивать под ее руководством, сидя непосредственно в квадратном загоне песочницы.

Из этого загона нас вывели потом в другой, школьный, и еще десять лет мы чинно прогуливались по коридорам женской школы. Впрочем, последний год мы покуривали в туалете очень роскошные по тем временам сигареты «Фемина». Нет, в предпоследний — в последний год Маша перешла в вечернюю школу.

Именно на этих двух смежных территориях — Миусского сквера и школы — и осуществлялась та часть нашего детства, которая была общей. Всё прочее не совпадало, хотя и не мешало нашей дружбе. А дело было в том, что на ее долю выпало действительно то самое счастливое детство, за которое «спасибо товарищу Сталину». А у меня уже в те годы было особое мнение. Об этом мы тоже говорили во время нашей последней прогулки в Тимирязевке.

У тонколицей и тонконогой Маши в детстве было всё: нарядные платья, настоящие игрушки, целая отдельная квартира, невероятно, как мне казалось, богатая: со старинной мебелью красного дерева, с библиотекой, столовой, с няней Настей, обихаживающей Машу и ее сестру Таню, еще была дача, машина с шофером, на даче собака, кошка и одно время даже коза! И была мама-поэт, стихи которой печатали в школьных учебниках. И таинственный отец, портрет которого в учебнике.., на которого она была *так* похожа, как и полагается детям, рожденным

Личный мир

вне брака, по какой-то особенной, небывалой любви. И даже атмосфера тихой скандальности украшала Машу в моих глазах.

И было еще одно, что с годами перевешивало всё это ранне-детское: у Маши в доме можно было увидеть Анну Андреевну... гуляя с Машей, набрести на сутулого высокого человека, которому она легко, как простому смертному, говорила:

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

Чуть позже, не отнеся еще школьной формы, она попала на глаза другому, по тем годам не менее знаменитому поэту, и он посвятил ей стихотворение:

Вдоль моря быстро девочка проходит,
Бледнея, розовея и дичась.
В ней всё восходит. Что с ней происходит?
В ней женщина рождается сейчас...

В последнюю нашу встречу в Тимирязевке мы говорили с Машей о детстве.

— Да, конечно, счастливое... — сказала Маша и, словно оглядываясь, добавила: — Знаешь, у нас в семье никто не сидел.

Здесь было еще что-то дополнительное. Но я смолчала. Не потому, что мои оба деда — «сидельцы», а потому, что давно знала, где кончается зона наших совпадений. И тут она сказала такое, чего я не знала:

— Но и несчастное тоже. Я страшно любила отца. Никогда с ним не общалась. Ни разу. И всё надеялась, что он придет ко мне или я к нему. Страшно, безумно по нему тосковала...

И она мне рассказала об эпизоде, который меня глубоко поразил.

Людмила Улицкая

Однажды она пришла из школы. У мамы в кабинете сидели две ее подруги, которых Маша очень любила. Она кинулась было к ним, но мама вывела ее из кабинета и сказала:

— Маша, твой отец застрелился.

Мужества Машиной матери было не занимать. Да и кто знал тогда, что судьба только начала свою убийственную музыку. Что похоронит она свою старшую дочь Таню, о которой бы хотелось отдельно, не здесь и не так написать, и младшую, и любимого мужа, на старости лет ею обретенного...

Мать велела Маше собираться:

— Идем, простишься с отцом.

Пошли ночью в Колонный зал, где стоял гроб.

Не перепутала ли девочка, подумала я. Ведь это на похороны Сталина мать брала ее с собой в Колонный зал... Теперь не узнаем. Я думаю, это был зал в Доме литераторов...

«Это был мой величайший позор, так я это запомнила. Всю дорогу я думала только об одном: как бы мне не заплакать, как бы себя не выдать. Ведь если я заплачу, то все узнают, как я его ужасно любила... Мать подвела меня ко гробу, и я разрыдалась. Ужасно разрыдалась и понимала, что всё пропало, я себя выдала... А там народу-то было всего несколько человек. И не знаю, чего было больше: горя, что никогда уже отец меня не полюбит, или позора, что я себя разоблачила, выдала свою тайну...»

Шли мы по прекрасному и обнищалому парку, по той его части, что совсем одичала, две немолодые уже женщины, а я видела двенадцатилетнюю Машу, в наdstавленной шубе, в варежках на резинках, как будто это было вчера, удивлялась бессмертности челове-

Личный мир

ского чувства, неожиданному и новому узнаванию человека, которого знала всю жизнь.

На этой точке можно было бы и закончить. Но нет, слишком яркая музыка звучит в ее судьбе — трагическая, редкая. Ей было так много всего отпущено, всяческих даров, больших и малых. И все они ушли от нее, как вода.

В конце шестидесятых мы провожали ее, блестящую, радостную, на вершине счастья, только что вышедшую замуж за известного немецкого поэта, с Белорусского вокзала в Западный Берлин, и она махнула рукой с подножки поезда:

— Ничего! Не горюйте! Всюду жизнь!

Все засмеялись остроумной шутке. Уже даже коммунистической Машиной матери было ясно: где-где, а уж там жизнь действительно есть...

А жизнь как раз и пошла под горку: брак как-то не сладился, капитализм пришелся не по вкусу, с трудом возникла профессия. Были переводы — Маяковского, Мандельштама. Хорошие переводы. Была преподавательская работа. Позже стала заниматься кинематографом — через случайно увиденного Дзигу Вертова. И здесь опять звучит особый мотив ее судьбы. Темой ее киноведческих исследований стало советское кино тридцатых годов. Анализ советской мифологии, ее знаков и образов, ее общедоступных идеалов вела одна из немногих избранниц, чье детство, безбедное и счастливое, протекало под сенью красных знамен. О, как маленькая Маша любила партию, родину, мать...

Она исследовала этот миф квалифицированно и научно: его грандиозную ложь, обаятельное величие, сверхутилитарную жестокость и высокой пробы иде-

Людмила Улицкая

ализм. И всё это — вопреки собственному опыту счастливого детства, наперекор воспитанию и психологическим установкам.

Возможно, это была слишком разрушительная работа для души, воспринимающей мир через отраженный свет культуры, и в этом месте рвались нити, связывающие ее с жизнью.

Меня спрашивали знакомые: была ли она больна? Да, она была больна: головные боли, бессонница, мозговые спазмы. Но в глубине души я уверена: она не была психически больна, никакой Танатос не манил ее в соблазнительные пучины. Это было самоубийство истощенности.

— Жизнь кончилась, а я жива, — с кривой улыбкой сказала она мне по дороге в Шереметьево.

— И ветер, жалуясь и плача... — малодушно подхватила я.

Одиночество было ее болезнью. Ей было плохо в Лондоне, в ее элегантном, давно не отремонтированном доме. Последние годы она подумывала о возвращении на родину. Друзья отговаривали. Она настаивала. Друзья сомневались. Она решилась. Приехала в Москву. И друзья, которых она любила, все были тут, рядом, по первому зову.. Но и одиночество было тут. И оно оказалось больше, сильнее всего остального.

— Нет, нет, здесь тоже невозможно, — горько жаловалась она в последний день. — Так некрасиво... так безобразно... так жалко.

А жизнь так много обещала — и ничего...

И на это она была не согласна. Как ребенок, которого обманули.

— Ты, конечно, скажешь, грех, — Маша ждала от меня каких-то слов.

Личный мир

— Нет, я так не думаю. Каждый человек имеет право. Но сейчас ты не имеешь права: сначала дай уйти матери.

Да, я забыла о наследственности. О страшном выстреле отца, не пожелавшего принять жизнь такой, какая не выстраивалась на поверхности письменного стола. О той тайне наследственности, которая определяется не падением яблок, а мистическими связями человека с его предками.

И не хочется говорить о грехе самоубийства, а хочется сказать о мужестве и честности этого акта. Не о безжалостности к окружающим, а о безжалостности к себе, так безумно и по-детски растратившей силы, радость, любовь... — и не осознавшей этого.

Она была для нас, друзей ее детства, Машей Алигер, но она никогда не носила ни фамилии матери, ни фамилии отца. В девичестве она была Макаровой — носила фамилию первого мужа своей матери, — а умерла под именем Марии Энценсбергер. Как-то не дожила до своего настоящего имени и, может быть, сжимает сейчас в узкой прозрачной ладони белый камушек — из тех, на которых пишут наши подлинные имена.

ЛЮБА

Каким образом из московской девочки, обожающей наряжаться, вырастает профессионал международного уровня — практик и теоретик моды, специалист в истории костюма? На этот вопрос отвечает история жизни Любы Поповой, моей подруги со

Людмила Улицкая

времен начальной школы по сегодняшний день. Биография исключительная — ее хватило бы и на женский роман, и на научное исследование.

Начало — пятидесятые годы. Сталин уже умер, железный занавес еще крепок, но в его маленькие дырочки пробиваются западные радиоголоса и первые нейлоновые чулки. Мы до них еще не доросли, но наши мамы уже купили у спекулянтов по волшебной паре. Любина мама — служащая министерства. Моя — научный сотрудник. Обе с высшим образованием, обе красивы и бедны. Нет, не самые бедные! Они уже в чулках, о которых миллион соотечественниц еще только мечтает. У каждой имеется два пальто, зимнее и летнее, две кофточки и три платья. И еще — выходное платье. У Любиной мамы, кроме всего прочего, есть еще и официальный костюм. Они не знакомы между собой, наши мамы, но вещи их — совершенно одинаковые. А других нет. И не бывает. И, как тогда кажется, и не может быть. Все городские женщины одеты одинаково, все различия определяются небольшой разницей в доходах. Но для огромного большинства наших соотечественниц «постройка» нового пальто — плод головоломной экономии и великих усилий «достать» материал, подкладку, пуговицы, а то еще и кусок меха на воротник.

В мире узаконенного единообразия, бедняцкого равенства и тоски, которую мы начнем ощущать несколькими годами позже, девочка Люба отличается смелыми эстетическими движениями: она шьет себе «другую одежду». Кажется, класса с пятого она начинает вырабатывать свой стиль, совершенно спонтанно, даже непреднамеренно. Так работает в человеке талант. Так начинается в ней неосознанный протест

Личный мир

против единообразия. Я тянулась за подругой — зингеровская машинка у нас тоже имелась. Моя мама, а особенно папа, неодобрительно подглядывали мое увлечение, подсмотренное у подруги. Тетушка утешала: может, отдадим Люську в наше училище? Она работала бухгалтером в театральном училище, где готовили художников для театра. Но рисовать я не умела и не любила. А вот Люба — рисовала.

Честное слово, если бы сохранились наши вещи тех времен, можно было бы сделать забавнейшую выставку: юбки из диванных подушек и старой обивки кожаного дивана — наверное, первые в Москве, платья из гардин и сумки из старых шляп, перешитые из бабушкиных батистовых рубашек времен проклятого царизма блузки — одноразовые, потому что ветхая ткань уже не выдерживала стирки! Одна проблема была мучительно-неразрешимой — обувь мы шить не умели. Впрочем, Люба и тут достигла невероятного: единственные туфли-«галочки», изначально белые, она покрасила автомобильным лаком в черный цвет, а потом снова вернула им природную белизну...

Догнать Любу я и не пыталась: она поступила учиться на модельера, я — на биолога. Ей карьера художника по костюмам удалась, моя биологическая — провалилась.

Далее — бегло: после окончания института в 1965 году Люба уехала в Италию. Вышла замуж за итальянца, роман с которым начался в восьмом, кажется, классе, в то время как Джузеппе обучался в высшей партийной школе. В этом месте моего краткого повествования я сожалею, что пишу не роман, а всего лишь краткие записки — это история счастливого брака, длящегося и по сей день, брака, в котором су-

Людмила Улицкая

пруги живут весело, умно, интересно, меняясь каждый в свою сторону и радуясь взаимопониманию.

В Италии начинается новый виток биографии: Люба ощутила недостаток «домашнего» образования и начала учиться по новой — в Миланской академии художеств «Брера». Костюм, сценография, дизайн.

С 1979 года она уже в Академии художеств «Брера» преподает историю костюма.

Чрезвычайно расширяется круг ее интересов: ее занимает социология и психология моды, гендерная проблематика, собственно философия. Самые острые гуманитарные проблемы она наблюдает через зеркало меняющейся одежды человечества. мода оказывается точным индикатором социальных и культурных перемен.

Девчонка с Новослободской улицы, из дома, что рядом с керосинной лавкой, работает во всемирно известном театре «Ла Скала», на миланском телевидении, в качестве журналиста комментирует увлекательные процессы, происходящие в мире от-кутюр, пишет статьи о моде. Люба Попова — профессор Новой академии художеств (NABA) в Милане, читает курсы по истории костюма и моды, а также и специальные профессиональные курсы, названия которых ничего не скажут неспециалистам. Она участвует в бесчисленных жюри, читает лекции во многих странах, в том числе и в России, выступает как приглашенный профессор в Институте искусства и дизайна в Финляндии, сотрудничает с Колледжем искусства и дизайна в Челси. Любой Поповой издан интереснейший сборник «Нарциссизм Оскара Уайлда и современная мода» и прочее, прочее, прочее... В числе прочего — четыре рабочих языка, на которых она говорит и пи-

Личный мир

шет: русский, итальянский, французский и английский. В нашу последнюю встречу она сообщила мне, что собирается еще заняться голландским...

Лет на пятнадцать мы почти потеряли друг друга из вида — перебрасывались редкими письмами, приветами. Наконец, снова произошла встреча. Жизненные дорожки, которые так основательно разошлись на многие годы, свели нас опять, и оказалось, что мы прожили «параллельные» жизни: поменялся мир, в котором мы живем, поменялись и мы сами, но общий язык не утерян, нас интересуют и интригуют одни и те же вещи. Наши оценки не всегда совпадают, и эти несовпадения, может, дороже, чем полное единомыслие, потому что они стимулируют дискуссию, заставляют шевелить мозгами. Каждый развивается в своем направлении, но наша общая река явно течет в одну сторону. У нас общий конек — культурная антропология. Мой конек дилетантский, Любин — вполне профессиональный.

Мы беседовали с Любой о ее книге «Мужское, женское и прочее» еще в то время, когда она только затевалась. Люба говорила об эволюции понятий «мужского» и «женского» в современном мире, я же, как бывший биолог, постоянно примеряла эти идеи к теме более широкой — к эволюции человека как вида, к той интенсивности эволюционных процессов, которые происходят с не замечающим этого человечеством. И одежда человека оказывается очень четким индикатором этих процессов, одним из самых внятных языков современной культуры.

Мысленно я возвращаюсь к тем временам, когда две маленькие московские девочки выражали свой стихийный бунт против тошнотворности времени

пришиванием пуговиц на спину пальто, ношением лифчика поверх блузки и другим мелким бытовым диссидентством на мануфактурной почве.

СЕРГЕЙ БАРХИН: ПОЧВА И СУДЬБА

В стране разрушенных храмов, сожженных усадеб и пущенных в топку библиотек сохранившийся семейный архив — чудо. Но при этом не следует забывать, что у чудес есть свои законы и, уж во всяком случае, они происходят лишь там, где их призывают.

Итак, семья, ведущая свое происхождение от деревенского красильщика Найденова, мастера Хлудова, вышедших в первые русские капиталисты, и пермского иконописца Бархина, благодаря опытам Даггера и Ньепса, представлена фотографиями: зафиксированы лица, одежда, комнаты и дома, чтобы их потомки спустя сто лет заинтересованным взглядом рассматривали носы, уши и скулы и узнавали свои родовые черты...

Сергей Бархин, о котором пойдет речь, выходит из своей московской квартиры близ Курского вокзала вечерком погулять с собакой и в десяти минутах прогулочного хода оказывается возле физкультурного диспансера. Он прогуливается возле дома, построенного архитектором Жиллярди, купленного его прапрадедом и принадлежавшего некогда его бабушке, умершей в 1926 году и провожаемой тысячной толпой старух, ее сверстниц, переживших и ее, и те богадельни и больницы, которые она в свое время основала.

Сергей Бархин нагибается, берет горсть земли от порога родного дома, которую зашивали в ладанки,

Личный мир

уносили с собой в изгнание, высыпали на могильные холмы вдали от родины. Но кроме ценности возвышенной эта горсть есть и последняя предельная реальность: сюда вмешана зола деревянных перекрытий и прах растений, посаженных его прабабушкой, и тлен беседок, наполненных вечерним смехом и любовными признаниями. Он пока не знает, что он будет делать с этой горстью земли.

Привычный материал — иной. Он театральный художник, и в своем деле — мастер черного пояса. В том художественном пространстве, которое он умеет строить, материалом может быть всё что угодно: дерево, железо, бумага, стекло, резина.

Но вот наступил момент, когда его любимым материалом стала земля.

«Почва — природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, сформированных в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под воздействием воздуха, воды и живых микроорганизмов. П. состоит из твердой, жидкой (почвенный раствор) и живой (почвенная флора и фауна) частей».

И еще в почве есть память. Вещественна она или невещественна? Если исследовать эту горсть земли под микроскопом, можно найти мельчайшие частицы дерева, стекла, собачьей шерсти, слез, крови и пота. Каждая пядь земли — непроявленная Туринская плащаница. Туринская плащаница — произведение земли... А сама Мнемозина, богиня памяти, — дочь Урана и Геи. Земли и Неба...

«Всё, собственно, началось с той земли, что я взял во дворе, — говорит Бархин. — И тогда я еще не знал, куда это меня поведет».

Людмила Улицкая

Одна из первых «земляных» работ. Год 1988. Смерть «Риориты». Дворовая земля, пропитанная детством, футболом, звоном и скрежетом трамвая и ужасом первой близкой смерти: сосед по кличке Лиса, десятилетний верховод дворовых мальчишек, попал под трамвай... И осколки любимой пластинки здесь же.

В этих первых работах есть еще краски. Но, несмотря на их присутствие, дом Найденовых (Хлудовых) присутствует на картине физически. В странном и волнующем совпадении образа, изображения и самого объекта изображения.

Потом краски постепенно уходят. Художник начинает ощущать некоторую абсурдность в технологическом процессе, при котором краски, произведения земли, из нее извлекаются, очищаются, чтобы потом опять быть с нею смешанными. Сама земля в ее бесконечных оттенках, от белого камня с гробниц еврейских пророков до черного, драгоценно-сверкающего антрацита Воркуты, через все гаммы умбры и охры, становится палитрой. Она есть основа и уток удивительной ткани, которая образуется под руками художника. Ткань, между прочим, памяти.

А сколько может вместить память одного человека, от первого начала: мать, отец, молоко, яблоко, игрушка, картинка, кошка... Отсюда разбегаются круги, раскатываются волны бесконечно, безгранично, в глубины истории до предела, до неолита, и еще глубже, в мел, в триас, и в высоты искусства, в пространство Гомера, Данте, Шекспира, и еще выше, где Моисей, Иоанн... Здесь почтительно остановимся.

Личный мир

И всё это знание, вложенное в память одного только человека, связано еще и с горами, реками, городами и селениями. И чем обширнее знания, тем глубже память, тем родней человеку любая земля — берег Яузы, где он родился, и берег Иордана, который видит впервые.

Художник Сергей Бархин собирает землю. Сложенная в пакет, она становится драгоценной. У него целая коллекция — невозможно сказать — образцов земли. Замечательная завитушка биографии: лет тридцать тому назад, в один из жизненных поворотов, он ушел в геологическую партию на Северный Алтай. Именно с тех пор и сохранились первые трофеи — друзы горного хрусталя, аметистовые щетки. Но сегодня в дело идет другое.

Вот архитектурный план Помпей, выполненный из земли, смешанной с пеплом 79 года, с истлевшими ресницами и юбками красавиц, гулявших по мозаичным полам V века до нашей эры. Земля взята со сцены Помпейского театра. На плане точно: улицы, кварталы, Одеон, публичный дом, вилла братьев Виттиев... На втором курсе он делал задание: разрез дома в Помпеях. С тех пор и помнит.

«Каждый кусок земли — как слово, как буква», — говорит художник. Но что же тогда представляет собой текст? Он сакрален и, следовательно, не вполне переводим на человеческие языки.

Картина — запись грандиозного события, в которое оказываются физически включенными — через землю — все участники происшедшего. Это медленное, это молитвенное строительство. Так была построена художником на трех планшетах башня Архимеда — из сиракузской земли, с того самого берега Ор-

Людмила Улицкая

тигии, где римским солдатом был убит великий ученый двадцать два века тому назад.

Это ритуальная игра. Невозможно представить себе другой точки, где бы человек был так близок к сознанию смерти и так полон осязаемой, реальной, тысячелетней длительностью жизни.

«Жизнь длиннее, чем работа... Какая работа? Какая польза? Какая слава? Всё это бред! Я надеваю на себя костюм смертника: темно-серая полосатая куртка, такие же брюки, ушанка, тоже полосатая. Зэковские ботинки... Костюм настоящий, оттуда...»

Надев этот трагический костюм, Бархин, человек театральный, размешивает галилейскую глину водой, и под его руками возникает глиняный человек, Адам... Конец и начало сворачиваются в нечто целое и завершенное. Земля делается человеком, человек — землей. Как много значат для нас условности. Этот костюм — знак последней обреченности. Но разве нет обреченности в веселых девичьих платьицах, в белом уборе невесты, прообразующем саван?

Какой мощный мотив причастия звучит здесь... Не через кровь, но через землю и воду. А вода, между прочим, из Иордана, с того самого места, где некогда совершал обряд омовения, очищения от грехов Иоанн Предтеча. Иорданская вода — в большой бутылке, закупоренной пробкой.

Сотворенный из земли человек живет землей и сходит в землю. Но это не исчерпывает огромного содержания взаимоотношений человека и земли. Человек-Пахарь, работник земли — единственное существо, способное «насадить сад», то есть продолжить божественную созидательную работу не ради пропитания,

Личный мир

но ради самого творчества. Но также он единственный, кто способен унижить, опоганить и уничтожить саму землю. И проблема эта не столько экологическая, сколько онтологическая.

«Человек и земля — единая плоть» — вот что утверждает художник Бархин своими работами. Если бы надо было найти художественный эквивалент теории Вернадского, рассматривающего всю планету как живой и цельный организм, то лучшей иллюстрации не найти.

В дивной стране мы живем: сколько семян разбросала, сколько ростков затоптала, сколько цветов — прекрасных и чудовищных — произвела из своей почвы. Одно из таких диких и гениальных созданий — русский космизм. Создатель его — Николай Федоров. Причастны и Вернадский, и Циолковский. Цель этого учения, по Федорову, — «возвращение праху, разрушенным телам жизни, сознания, души». Федоров связывал свои надежды, под многообещающую музыку начала прошлого века, с общими успехами познания, с развитием частных наук, с высокой нравственностью грядущего человечества. Эта увлекательная утопическая идея (совершенно, между прочим, мне не симпатичная) предполагает воскрешение умерших по известному плану из простых элементов, и план это может быть воспроизведен могучим напряжением родовой памяти.

Есть глубокое ощущение, что художник Сергей Бархин — по крайней мере метафизически — причастен этой высокой идее. Во всяком случае, он подошел к той точке, о которой сказано поэтом: «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».

ГАЛО́ НК

Восточное шоссе делает крутой поворот к горе Алчак и разбивается под ней на две дороги — верхнюю и нижнюю. Верхняя ведет в селение Козы, нижняя — к дому Бруни.

Много лет тому назад, спустившись по нижней дороге, я увидела на склоне холма, возле дома, красивую прямую старуху, собирающую каперсы. Лицо ее было сосредоточено, губы слегка шевелились: она вела счет зеленым бутонам, но тогда я этого не знала...

Этот судакский дом стал для меня самым любимым домом на земле. Его хозяйкой была Нина Константиновна Бруни, урожденная Бальмонт. Потом я узнала еще два дома, в которых жила НК — так звали ее молодые друзья: комнату в коммуналке на Полянке, где было прожито много десятилетий, и однокомнатную квартиру в Бибирево, куда ее переселили за несколько лет до смерти.

Мужество и веселье, сдержанность и свобода, смирение и достоинство — всё было в ней. И удивительно было качество, которым она одарила всех женщин своей семьи, — особая женская гениальность. Она входила в какое угодно помещение, и оно превращалось в дом. Даже сухоблочные проклятые стены бибиревского новостроя не выдерживали ее творческой личности и смущались. Там, где место было пусто, расцветало гнездо человеческого жилья, тепла, сердечного общения. Натикивались, надышивались, намывались минуты, которые сохранялись в памяти у всех, кто сюда приходил. Это было значительное, ценное,

Личный мир

не растворяющееся в беге повседневной жизни время, творцом которого была НК.

Каждого входящего в дом принимали как дорогого гостя. И возникало чудо общения, единственности собственной личности и личности собеседника, и между ними возносился воздушный мост высшего равенства. И повторялось это с каждым открывающим эту дверь.

Навык многолетней бедности научил ее невиданной щедрости: она устраивала великие пиры из трех кусочков хлеба и заваливавшейся луковицы. Эти рецепты невоспроизводимы — талант был ее собственный, но это ее качество передалось многим ее потомкам.

Жизнь НК отнюдь не была праздником: великие беды войны, революции не обошли ее. Не дожив до шестидесяти, умер ее муж, замечательный художник Лев Александрович Бруни, из семерых детей двоих похоронила во младенчестве, один погиб на фронте. И все-таки — праздником была ее жизнь. Праздником было ее раннее утро, когда вставала она раньше всего дома и, прочитав молитвенное правило, в драгоценной тишине пила свою чашку кофе... Праздничным был день работы — а работа была большая и разная: то переводы, то стирка, тостряпня... И вечер, когда за столом собирались дети, и друзья, и друзья детей, счастливые люди, кому жизнь подарила честь быть гостями на ее празднике.

Сочетание старых традиций и экспромта. На Рождество пекла пряники-фигурки и дарила их с записочками-предсказаниями. За пару недель до рождения сына я была на ее Рождестве, и мне достался пряник-барашек и записочка: «Быть бритой!»

Людмила Улицкая

Среди талантов НК — пифагорейский дар безошибочной памяти. «Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает». Она различала.

Подперев рукой щеку, задумчиво говорила: «Тринадцатого февраля 1915 года мы с мамой поехали в Оптину Пустынь...» И шел рассказ, в котором семидесятилетней давности день, от утра до ночи, оживал во всех деталях: и масть лошадей, и цвет неба, и запах ветра, и заштопанный рукав рясы отца Анатолия, и внезапно прошедшая зубная боль.

Не чувство временности, а чувство вечной ценности человеческого опыта, не мелькнувшая из окна поезда картина, а пребывание в едином русле жизненного потока. Слушаешь ее рассказ, и в жизнь твою входит и оптинский старец, и великий писатель, и прислуга Маша... Нет, это не биографический очерк, в котором надо непременно и про отца, поэта Константина Бальмонта, и про мать, Анну, и про мужа Льва. Здесь только несколько слов, почти случайных, об ушедшем дорогом человеке...

На семьдесят пятом году жизни случилось с Ниной Константиновной несчастье — потеряла ногу. В Страстную субботу поехала в церковь освящать куличи из своего Бибирева, в автобусной очереди толкнули прямо под колеса. Ногу ампутировали.

Я приехала к ней в Бибирево через несколько недель после операции. Она сидела на скамье, сбитой Татлиным, другом и соседом ее мужа по мастерской, положив перед собой культю и опустив на пол единственную, сильную и длинную ногу.

«Всю жизнь молилась как фарисей: спасибо Тебе, Господи, что я такая крепкая и сильная... Вот так-то...»

Личный мир

И еще: «Ох, слишком много я прыгала. Видно, пора посидеть и подумать».

Вот такая была духовная академия. Впрочем, прыгала и дальше. Уже на протезе, сильно за семьдесят, путешествовала в Швейцарию, к кузине в гости, в Швецию, к внуку Леве...

Умерла Нина Константиновна 9 ноября, хоронили 11-го. Мощное гигантское семейство съехалось на похороны. Дети, десятки внуков и правнуков. Это была смерть патриарха, и прекрасно было в большой толпе, собравшейся на отпевание, узнавать родовые черты: удлинённые лица, четкие, неразмытые, сильные. Благородство и красота породы досталась всем ее детям. Кровь ее не растворяется, видна во всех ее потомках: в сельском учителе, в парижском журналисте, в школьниках из Нью-Йорка, Берлина, Вильнюса и Москвы... Впрочем, большая часть семьи живет в России.

Похороны НК были последним ее праздником, который никому не хотелось прекращать. День был солнечный и ясный, и было какое-то редкое состояние атмосферы, когда вокруг солнца сияет *галó* — радужный круг. Это заметили на Даниловском кладбище.

Внучка и дочь на свежей могиле соткали из цветов ковер, и он покрыл могилу, последний земной дом Нины Константиновны.

Все плакали — но у смерти не было безобразного лица, и это было видно по детям: в них не было страха. Сестра Жизнь передала душу на руки Сестре Смерти. И все молча склонились перед сброшенной ветхой одеждой.

КРИСТИНА, ДРУГ СЕРДЕЧНЫЙ

Невыносимо банальное суждение о загадочной русской душе вышло из моды. Развеялось наваждение, и новые поколения разгадывают новые загадки: например, почему огромная Россия, некогда занимавшая одну шестую часть суши, превращается из могучей империи, наводящей страх на соседей, в страну бедную, по многим показателям отсталую, а ее некогда великая культура осталась в прошлом? Откуда взялись притязания на Третий Рим? Почему именно на этой земле прижились коммунистические идеи и проросли в чудовищное тоталитарное государство? Вот действительные загадки! Кто их разгадает?

В 1986 году, когда «железный занавес» еще не рухнул, но уже дал трещину, я первый раз в жизни выехала за границу. Это была Америка, для советского человека — мир зазеркалья. Полтора месяца я путешествовала, разглядывала чужую страну, другой мир, других людей, совершенно иное устройство жизни. За этот короткий срок невозможно было понять Америку, но — неожиданный эффект! — оказалось, что я стала гораздо лучше понимать свою собственную страну. Расстояние в десять тысяч километров оказалось плодотворным: многие вещи именно с такого расстояния стали виднее. Это и называется остранением.

Другой способ остранения — попытаться увидеть мир глазами другого человека. Особенно когда этот человек — фотограф. И теперь речь пойдет, конечно, о Кристине де Гранси. Назвать ее фотографом — значит чрезвычайно сузить то дело, которым она занимается. Она не просто мастер фотографии, она, что

Личный мир

особенно важно и ценно, мастер видения, общения с пространством, которое ей себя доверяет.

Как я в 1986-м открыла Америку, так Кристина в 1995-м начала свое открытие России. Но ее взгляд оказался столь зорким и пристальным, что мне, человеку, родившемуся и выросшему в России, фотографии Кристины сообщали о моей стране великие новости. Кристина совершила путешествие по Волге, от истоков до устья, от Валдайской возвышенности до Астрахани. Это было не одноразовое мероприятие, а целая серия поездок, на протяжении нескольких лет. Впечатления разных лет не наслаиваются друг на друга, а расширяют картину. Нет повторов, но есть углубление в тему.

Мне, человеку столичному, Кристина открыла незнакомый мир Поволжья, русской провинции. Оказалось, что тамошние люди живут в другом времени, в другом темпе. И еще у них есть река, которая оказывается стержнем жизни всех многочисленных приволжских городов и деревень. В Москве, где я прожила всю жизнь, тоже есть своя река. Москва-река. У нас есть набережные, городские каналы, есть район Замоскворечье, есть даже свой приток — река Яуза. Но в современном городе река совершенно утратила географическую, политическую и смысловую роль, которая была при основании города. А Волга, как оказалось, не утратила.

Фотографии Кристины де Гранси как будто плывут вместе с рекой, открывая особенности жизни русской провинции: здесь живут люди с другим выражением лиц, чем в больших городах; они едят другую еду, носят другую одежду, по-иному празднуют свои праздники; дети — взрослее и серьезнее, а взрос-

Людмила Улицкая

лые — доверчивее и общительнее. Последнее замечание, возможно, имеет прямое отношение к дарованию Кристины, к ее умению внеязыкового общения, которое строится исключительно на ее искренности и доброжелательности, полной готовности немедленно разделить со случайными спутниками радость минуты, скудную еду или долгое ожидание запаздывающего парохода на пристани. Удивительная сопричастность к данной минуте, к мгновению настоящего.

Встретившись с Кристиной, мы мгновенно сблизились. Это почти невероятно: ровесницы, воспитанные в разных культурах, одна — потомок немецкого генерала, вторая — потомок еврея-кантониста — мы мгновенно нашли точки соприкосновения, и хотя наше общение идет на английском языке, чужом для обеих, наше взаимопонимание с годами углубляется. Фотографии, сделанные Кристиной де Гранси на Волге, о Волге, о людях моей страны, оказываются метафорой общего потока жизни, полной размышлений, наблюдений и тех маленьких открытий, которые дорогого стоят.

АЛЕКСАНДР МЕНЬ

Мне повезло — я познакомилась с отцом Александром в шестьдесят восьмом. В те годы постоянное кольцо людей, его окружавшее, еще не было столь густым, и общение было неторопливым, и паузы в нем были не менее значимы, чем слова. В моей жизни это был первый серьезно образованный человек, испове-

Личный мир

дующий Христа. В ту пору это была большая редкость: культура и вера редко встречались. Да и по сей день не очень часто.

Духота советской жизни была нестерпимой. Сквозняков было несколько: диссидентское движение, подпольное искусство, некоторым казалось — наука. Последнюю иллюзию впоследствии развеял академик Сахаров. Тогда еще вовсе не было очевидным, что без свободы не бывает ни культуры, ни науки, ни хлеба. Однако официальная идеология допускала и даже настаивала на любви без секса и культуре без бога. Была предложена простая проторенная дорога, по которой шли толпы писателей и художников, гуманитариев и технарей, и только отдельные единицы — острые, редкие, дерзновенные — чуяли онтологическую ложь, искали духовных основ существования.

Замечу, что в церковной среде таких живых людей было еще меньше, чем в светском обществе: нападение на церковь шло по двум фронтам — КГБ планомерно уничтожало священников с 1918 года, а внутри церковной среды происходил суровый отбор, выживали люди более гибкие, более послушные, согласные на компромисс. На этом грустном фоне выделялись редкие звезды, отец Александр был и крещен, и воспитан такими священниками. Вспомним их имена — епископ Афанасий Сахаров, священник Николай Голубцов. Были и другие. В сущности, это была катакомбная церковь, существующая в недрах официально действующей.

Сейчас, когда с рубежа нового тысячелетия совсем по-иному видится картина шестидесятых, я еще раз убеждаюсь в том, что эволюция иногда имеет скачкообразную форму. Конечно же, мы живем теперь в ка-

Людмила Улицкая

чественно ином мире. Сегодня духовный продукт, расфасованный по книгам, кассетам, дискетам, таблеткам и чипам, стоит, как любой другой, на полках и ждет своего потребителя. Тогда, в шестидесятые, мы ощупью искали, хаотически двигались то в сторону мелькнувшей книги или музыкального сигнала, то кидались на интеллектуальный манок самого сомнительного свойства... Это время экзистенциальной тоски, лучше всего отразившейся в анекдотах и гитарно-стаканных перезвонах того времени...

И вот посреди этой корявой, лохматой, мычащей и невнятной публики появляется совершенно определенное лицо красивой еврейской породы: образованный, остроумный, веселый и ко всему — православный священник! И он — знает! И знание его такого свойства, что подходит и деревенским старушкам (он служил в ту пору в подмосковной Тарасовке), и удивительным образом также оно подходит Сергею Аверинцеву, Мстиславу Ростроповичу и Александру Солженицыну: в разные годы они приезжали к нему побеседовать о важном. И, конечно, его знание годится и нам, молодым людям, рассматривающим христианство как одну из концепций мироустройства. В чем-то привлекательную, в чем-то неприемлемую. Нам хочется говорить про умное. Однако то, что он предлагает, проламывает течение умного разговора и вообще лишает сам разговор смысла. Отец Александр предлагает войти в пространство, где дует ветер пустыни, бредут измученные жаждой евреи под предводительством заики с комплексом неполноценности, где неудачливый пророк, обещавший обретение окончательного смысла и универсальный ключ к разрешению земных проблем, принимает позорную смерть,

Личный мир

которая парадоксальным образом оказывается залогом полноты и радости...

Вокруг Александра клубились толпы самых разных людей: престарелые матроны с амбициями, художественные тетеньки, недооцененные гении и целый легион несчастных женщин всех мастей — брошенных жен, обманутых невест, униженных матерей. И приносили к нему не столько духовные искания, сколько свои горести, иногда вполне реальные, иногда выращенные на пустом месте фиктивные страдания, взамен же требовали того, чем он обладал: веры, свободы и радости. И получали.

Однажды, по молодости и по глупости, я спросила у него, почему к нему стоит целая очередь из сумасшедших и дураков. Он был великодушен, так зорко видел людей, что не стал меня обличать, а сказал только, что Христос пришел к бедным и больным, а не к богатым и здоровым. Но прошло очень много времени, прежде чем немного про это я поняла. Дело было в том, что он любил тех ближних, которые ему достались, не выбирая лучших, а всех, кто в нем нуждался. Это был его народ — дикий, непросвещенный, нравственно недоразвитый, но другого народа у него не было. И этот самый народ приходил к нему утром, днем и ночью. К нему звонили, писали, просто стучали в дверь. А он был «при дверях»... Так говорила про него одна моя покойная подружка-старушка. А уж она-то знала, кто есть «дверь овцам».

В доме Александра постоянно были гости. Жил он в Подмосковье, на станции Семхоз. Возвращался домой с портфелем и продуктовой авоськой. Никогда не знал, сколько человек сядет за стол ужинать. Кормил, поил, мыл посуду. Постоянные посетители бы-

Людмила Улицкая

ли огромной нагрузкой для семьи. Я действительно не понимаю, когда он успевал писать свои огромные и по объему, и по значению книги.

Говорил отец Александр замечательно. На мой вкус — лучше, чем писал. В его живой речи — и с амвона, и в застолье — никогда не было ничего механического, а ведь ему приходилось одни и те же слова повторять многократно. Столько энергии, сколько было у него, вообще не бывает у людей. Возможно, он получал силы извне, был щедрым посредником между Высшей инстанцией и паствой. Он был совершенно неутомим: успевал, кроме обычного пастырского служения, навещать больных, причащать умирающих, отвечать на письма. Его приглашали в гости — он шел. Случалось, он опаздывал на чей-нибудь день рождения. Иногда его ждали, иногда начинали трапезу без него. Но когда он входил, осеняя с порога крестным знаменем дом, возникало праздничное чувство. Так приветствовали друг друга апостолы: радуйтесь! Он носил в себе радость и умел ее отдавать другим.

У христианства есть великое множество оттенков, и каждый христианин находит свой способ веры, выстраивает свои отношения с Богом. Христианство отца Александра было радостным. Он был православным, но его православие отличалось обращенностью к первоисточнику, ко Христу непосредственно. Он прекрасно знал церковную историю и, что удивительно, две тысячи лет исторического христианства, полные борьбы с ересями, расколами разного рода, инквизицией, крестовыми походами, позорной внутриконфессиональной борьбой за власть — всё это не было для него препятствием. Ни укоренившееся об-

Личный мир

рядовереие, ни косность российского православия образца XIX века не мешали ему быть тем, кем он был, — проводником на тот берег, где горел костерок, жарилась рыба и Воскресший сидел у огня, ожидая своих учеников...

Двадцать лет назад Александра Владимировича Меня убили. Неизвестно кто. Неизвестно за что. Услужливо предложенная версия бытового убийства провалилась. Следствие не закончено. Исписаны сотни томов. Неизвестно кто приказал, чтобы следствие никогда не было закончено. Все неизвестные величины давно слились в одну. Этот рогатый, молоткастый и серпастый враг по-прежнему в силе.

Классические сыщики задают в таком случае классический вопрос: кому это было нужно? Десять лет тому назад еще не произошло того полного и любовного слияния церкви и власти, которое мы наблюдаем сегодня. В окошке телевизора то епископ целует генерала КГБ в щечку, то генерал КГБ целует епископа в ручку. Размахивая кадиллом, освящают то банк, то казино. Ни один приличный бандит не садится в свой «шестисотый», пока не отслужит подобающего молебна... А посреди города, полного нищими, бомжами, калеками и инвалидами последних войн, пузырится золоченое позорище, многомиллионный храм, простодушно воздвигнутый в честь Того, Кто пришел исполнить закон милосердия и любви, а во все не закон хамской силы и большой деньги...

Я пытаюсь представить себе, как бы вел себя отец Александр сегодня, будь он жив. Что говорил бы пастве? Что говорил бы начальству? Он был человеком невероятных способностей и огромного ума. Он умел разговаривать с сумасшедшими и с дураками, с боль-

Людмила Улицкая

ными и с преступниками. И также он умел без страха и заискивания разговаривать с вышестоящими. С теми, которые в рясах, и с теми, которые в погонах. И не потому, что был хитрым политиком, а потому, что был милосердным христианином. Но все-таки не могу себе представить, что говорил бы он сегодня о любовном единении церковной и светской власти...

Отца Александра ненавидели церковные мракобесы и националисты. У него было трудное жизненное задание — быть евреем и православным священником в антисемитской, едва тронутой христианством стране. За это и ненавидели его мракобесы тайные и явные. За это и убили...

ГАЯНЭ

«А теперь откройте дверь и сидите здесь, а я пойду в другую комнату», — и Гаянэ вышла, а я осталась на кухне в некотором недоумении. Сначала я услышала не то покашливание, не то всхлипывание. А потом раздался звук, не похожий ни на что на свете: голос ангела и его трубы, мужчины и женщины, немного зверя и немного птицы.

Это была старинная песня зок, полурастворившейся армянской ветви, с архаическим языком и своей собственной историей... Бабушка Гаянэ происходила из зокского рода, и от нее Гаянэ научилась этой песне. Мне была оказана честь, и мой московский дом, прямоугольный и туповатый, как всё современное жилье, чувствовал то же, что и я: смущение, благодарность и гордость. Мы были удостоены посеще-

Личный мир

ния дикой и могучей силы, о которой давно забыли в больших городах, в суматошной пустоте торопливого времени...

Что же касается самой Гаянэ, она у этой древней силы состоит в жрицах. Прикажет эта высшая сила петь — поет, прикажет рисовать — рисует, прикажет на костер... Нет, нет, это было бы уж слишком... Пожалуйста, не надо... Но по сути дела, душевная организация та самая: Сивиллы, Жанны д'Арк, боярыни Морозовой.

Рисование Гаянэ — род служения. Смысл этого служения — передача знания. Свое художественное сообщение она транслирует оттуда, где мы не бывали, сюда, где мы есть. Это сообщение не поддается полной расшифровке, но тем не менее мы останавливаемся перед ее картинами с глубоким волнением, потому что узнаем в них сны своего детства, и возникает странное ощущение пробуждения: как будто наша здешняя жизнь — сон, а картины Гаянэ намекают на то, что, проснувшись от здешнего, мы можем оказаться в мире ином, не подвластном ни здешней оптике, ни здешней географии...

Кстати, несколько слов о географии. Когда-то мы жили в одной стране. С тех пор как дружба народов рухнула и прекрасную ложь интернационализма заменила чистая и омерзительная правда всяческого национализма, мы можем наконец любить друг друга без всякого принуждения, следуя исключительно голосу чувства — симпатии, взаимного интереса, природной тяги — и той разности потенциалов, которая всегда возникает от соприкосновения Востока и Запада, холода и тепла, созерцательности и деятельности. Именно теперь и выясняется, где в наших отно-

Людмила Улицкая

шениях была натуга и ложь, а где — искренняя сердечная склонность и понимание.

Дорогая Гаянэ, мы всё еще продолжаем говорить на одном языке. Мы всегда будем говорить на одном языке. Десятилетние армяне уже не знают русского, их грузинские сверстники приезжают в Москву с иностранной визой в паспорте родителей, географическая карта империи впала в коллапс. А Гаянэ рисует мифологический мир, цветут ее деревья, вымышленные или подсмотренные, ее Апокалипсис возвышен и грозен, как потревоженный после обеда дедушка. В гости к ее картинам приходит то икона, то господин таможенник Руссо, Матисс беседует с Сарьяном, Шагал завтракает с Малевичем, и безумный Казимир, кажется, сожалеет, что бедному Марку Захаровичу пришлось-таки из-за его, Казимировых, интриг убраться из милого Витебска в чужой Париж... Тени забытых предков и незабытых друзей, учителей и младенцев, ученых медведей и говорящих рыб. И я там был, мед-пиво пил...

А потом, спустя десятилетие, раздается щелчок, и после длинного тире выскакивает вторая цифра. Вторая и последняя — год смерти 2009. А между двумя цифрами — отпечаток вечности. Мимолетность, живое движение, перелив оттенка и жеста уловлены острием грифеля, пера, кончиком кисти.

Вся Гаянэ — здесь. Потому что в жизни ее не было ничего, что не воплотилось бы столь причудливым и ненадежным способом, что не отразилось бы на холсте и на бумаге. Мало кому удастся с такой полнотой реализоваться. Всё осталось здесь.

Впрочем, мы не знаем, с чем она вошла в тот мир, который она предчувствовала, знала лучше, чем все

Личный мир

известные мне люди, делилась этим знанием с другими, не одаренными столь пронизательным зрением. Человек с трудным характером, неожиданными реакциями, острыми симпатиями и антипатиями, очень нежная и очень резкая, она была существом ангелической природы. Ангелы, как говорят разбирающиеся в этом вопросе знатоки, не лучше людей, они просто другие и отличаются от людей больше, чем мышь от слона или кошка от кролика. И все, кто был с Гаянэ знаком, об этом подозревали.

Я не знаю, где окажутся наши души после смерти. Но Гаянэ ушла к своим. Тяжела болезнь, тяжело расставание с нашим корявым мучительным миром, но мне почему-то кажется, что праздник, устроенный в честь ее возвращения, будет музыкален, ярок, весел, и все аспиды и младенцы, львы и агнцы сойдутся там в одном хороводе.

Хотелось бы глянуть хоть в щелку, хоть одним глазком!

Глядите — всё на ее картинах.

ИРИНА ИЛЬНИЧНА

Собаку звали Томка. Несмотря на женское имя, он был мальчик и уже в преклонных годах. Это была маленькая дворняга с терьерской кровью, мужественная до идиотизма. Он, Томка, и оказался последней собакой Ирины Ильничны. Жаль только, что до него не дошла очередь в последних ее воспоминаниях, которые я назвала бы «Воспоминания девочки о ее собаках». Собаки были у нее как главы, как ве-

Людмила Улицкая

хи жизни... А почему бы и нет? Есть люди, измеряющие свою жизнь любовными победами, написанными книгами, городами или нажитым имуществом... В жизни Ирины Ильиничны собаки имели огромное значение. Это ей передалось от отца.

Однажды она мимолетно сказала мне: мама утопила щенят, когда мне было восемь лет. Всю жизнь я не могла ей этого простить...

Оценивать здесь нечего — виден характер.

Попервоначалу свела нас собака Томка. А уж потом Ирина Ильинична одарила меня своей дружбой. Я была последней ее подругой. Хотя близки мы стали только в последние годы ее жизни, познакомили меня с ней первый раз давно, она, конечно, этого не помнила. В день открытия выставки Шагала, возле Пушкинского музея, встретила я Машу, мою школьную подругу. Она была с матерью и с Ириной Ильиничной. Все трое были небольшие, очень худые, очень элегантные — нисколько не походили на советских женщин того времени.

Итак, свел нас Томка. В старости у Ирины Ильиничны обнаружилась ломкость костей, остеопороз, и переломы шли один за другим: то рука, то ключица, то челюсть. Во время одного такого «переломного периода» я иногда выгуливала Томку, заменяя милейшую нашу соседку Анастасию Васильевну или Иришу, внучку Ирины Ильиничны.

Чем дальше длилась жизнь Ирины Ильиничны, тем больше становился подвиг.

«Плохо вижу, плохо слышу, плохо двигаюсь и плохо соображаю», — говорила она о себе безжалостно. Последнее было неправдой: старческая деградация не коснулась ее. Трезвость, остроумие, чувство соб-

Личный мир

ственного достоинства были сохранены. Но чего это стоило!

Просыпалась она обычно как раз в то время, когда я засыпала — часа в три, в четыре. И начиналось ее утро. Она не вылеживала до светлого часа, не принимала среди ночи снотворных, а просто начинала свой рабочий день. Вставала, с трудом натягивала носки. Обувь последний год не носила из-за трофических язв на ноге. Добиралась до ванной, принимала душ, неведомо как залезая в ванну. Мечтала о душевой кабине. Мылась, вытиралась, одевалась — это была длинная и трудная работа. Помощь она отвергала. Всё — очень медленно, очень осторожно. Боялась упасть — падала. Поднималась. Старческая неустойчивость, усугубленная перенесенной трепанацией черепа.

Потом Ирина Ильинична завтракала. Это был истинный завтрак аристократа: чашечка черного несладкого кофе, горького и густого, два-три маленьких тоста с ложкой джема. Никогда — больше. Вообще ела изумительно красиво, сдержанно, но понимала толк в хорошей кухне и сама прекрасно готовила. В последнее время, когда нож, вилка не слушались, когда тарелку, не то что ее содержимое, не очень хорошо видела, она стеснялась, что ест некрасиво, извинялась.

Проходило от двух до трех часов, прежде чем она садилась за работу. Мой муж, который обычно очень рано уезжал в мастерскую, иногда возвращался уже с улицы и поднимал меня: пойди проверь, что там, у твоей подружки свет не горит... Обычно в семь часов свет уже горел, она сидела у компьютера. Это был еще один ее подвиг: когда руки уже не могли справиться с пишущей машинкой, она купила компьютер и освоила его — за восемьдесят!

Людмила Улицкая

Последние ее заметки написаны на компьютере. Эти пятьдесят страниц — большая драгоценность, в особенности для тех, кто видел, какой ценой доставались эти страницы. Я приходила к ней на перекур, вкладывала в ее пальцы сигарету, разжигала. Она не бросила курить, потому что курение входило в ритуал ее жизни, и пошлые соображения здравого смысла ее совершенно не касались. В ней было удивительное сочетание европейского рационализма и русской интеллигентности, рассудка и страсти, строгости и щедрости. Еврейская кровь отца и немецкая кровь матери в ней не боролись — она вовсе не была человеком эксцентричным, напротив, была цельной и чрезвычайно к себе строгой.

Был один эпизод, который меня тронул за сердце. Я пришла навестить ее после очередного перелома. Это был перелом челюсти. Вид ее был ужасен — просто как воскресший Лазарь. Половина лица синяя, платок подвязан так, как его подвязывают покойникам, узлом на темени. Сидит, бедняжка, за столом, сгорбившись, и показывает мне рукой, мол, курите. Сама-то она не то что курить, есть не могла, пила только через соломинку. И не говорила. Общаться можно было посредством переписки. Задаешь вопрос, она отвечает. Пишет деформированной рукой, деформированными буквами, сползающими с листа словами.

Спрашиваю ее: очень ли больно? Она отвечает: уже не очень.

Спрашиваю: как же вас угораздило. И она пишет...

Не сохранила я этот листок, постеснялась со стола взять. Она начинала писать, я догадывалась, заканчивала фразу. В общем, рассказ такой:

Личный мир

— Я спала. Входит Лапин. И я почему-то понимаю, что он не погиб на фронте, как я столько лет считала, а ушел к другой женщине. Он приближается ко мне, а я ему говорю: пошел вон! Он повернулся и пошел к двери. А я в ужасе: что же я наделала, зачем его прогнала? Ведь я в своих военных дневниках всегда писала: пусть бы он лучше ушел к другой женщине, только бы жив остался... И я вскочила и кинулась ему вслед... И вот... — она смущенно подняла руку, — упала, перелом челюсти...

— А как он выглядел? — спрашиваю я. — Молодой? Красивый?

— Нет, ужасно выглядел: грязный, небритый, страшный... Я очень в себе разочарована...

Надо ли объяснять, что Лапин — ее погибший муж?

Когда-то в юности я прочла книгу, подписанную именем «Ирина Эрбург».

Она написала ее совсем еще девочкой, живя в Париже. В мои молодые годы книга показалась мне слишком комсомольской. Прошло очень много лет с тех пор, жизнь поменялась, и не однажды. Я не скажу — к худшему ли, к лучшему. Камня на камне не осталось от традиционных ценностей; обломки разных догм — коммунистических, религиозных, научных — засоряют сознание. И хотя я никогда не испытывала к коммунизму во всех его разновидностях ничего, кроме отвращения, я должна признаться теперь, что, живи я во времена моей бабушки, я, как и она, организовывала бы побеги из Лукьяновской тюрьмы, ходила бы на сходки и на маевки и боролась бы против эксплуататоров. А живи я, как Ирина Ильична, во Франции, непременно была бы в среде левых, коммунистически настроенных. Это так понят-

Людмила Улицкая

но — бороться за справедливость... В партии она никогда не состояла, но роман с коммунизмом, конечно, пережила.

С иллюзиями своей молодости Ирина Эренбург распростилась — слишком тяжелая жизнь выпала на ее долю: и голод, и бедствия, смерть брата и мужа, война, и тяжкие труды... Ирина Ильинична не нуждается в оправдании. Те обвинения, которые история может предъявить ее отцу, невозможно предъявить ей. Это не она написала «Убей немца». К тому же по этому счету более чем заплачено: полегли миллионы тех, других и третьих. Но была, была в жизни Ильи и Ирины одна общая и особая страница: отец привез с фронта спасшуюся из гетто еврейскую девочку, а Ирина ее удочерила. Внучка, правнучки — они и стали семьей Ирины Ильиничны.

Отца своего Ирина уважала, дружила с ним, похоже, что любила. Несомненно, они были очень близкими людьми. В последние месяцы рядом с ней стояло несколько фотографий: отца, матери и удивительная фотография Эренбурга с девочкой-подростком, насуспенной, напряженной.

«В этот день меня отдали отцу. Я с ним была почти не знакома», — комментировала она эту фотографию.

Я уезжала больше чем на месяц, и, когда вернулась, Ирине Ильиничне оставалось жить несколько дней. Она как будто обрадовалась мне, но взгляд ее был обращен уже в иную сторону. Она улыбнулась и сказала мне тихо, но вполне разборчиво:

— Эренбург мне розу где-то украл... Вон полетел... — и она сделала движение рукой, указывая маршрут его полета. А потом засмеялась и добавила: — Ну, это так, бред...

Личный мир

Ее строгое сознание не допускало никаких потусторонних штук.

— Как это удобно — быть верующим, — не без язвительности говорила она мне. Она была крещена в католичество, в детстве ходила в православную церковь. Рассказывала, как воровала яблоки в саду у приходского священника в донской станице, во время гражданской войны, а потом шла к нему же на исповедь. Он был свиреп с теми ребятами, кого ловил на воровстве, но исповедь о краже принимал смиренно. Он был богатым, говорила она.

Мне было это странно, откуда может быть богатым деревенский священник, да еще в такие времена. Вероятно, семья ее была в те годы так бедна, что любой сытый выглядел богачом. Это был религиозный кризис, из которого девочка вышла атеисткой. Время и обстоятельства много этому способствовали.

Она полагалась на себя. На свое мужество и терпение. И другие могли полагаться на нее: в ней была честь, великодушие, почти непереносимая правдивость. Она знала за собой полнейшую неспособность к лжи, и бывали случаи, когда в своих воспоминаниях она как будто запинаясь: плохо говорить не хочет, а хорошо — не может. В таких случаях она объявляла: об этом говорить не буду.

И еще — она была очень красива. Старость сделала ее немощной, но красота, изящество и благородство не оставили ее. Жив ее дом, книги, пепельницы, рисунки все те же смотрят со стен. Даже собака в доме — по-прежнему.

Но летящий с ворованной розой в руках Эренбург — это кое-что да значит. Куда летит, откуда? Мне почему-то кажется, что залетел он в эти последние ее

Людмила Улицкая

минуты из того самого мира, который всю жизнь тщился изобразить Марк Шагал. А может, из соседнего, но тоже прекрасного...

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

Памяти Гали Колманок

Атрибуция: *шкаф трехстворчатый, зеркальный, фанерованный красным деревом; наборный медальон из ценных пород дерева, выполненный в технике маркетри; вставки перламутровые; ручки бронзовые. Изделие фирмы «Дымек», Варшава. Ориентировочно девяностые годы XIX века. Художественной ценности не имеет.*

Прабабушка моя действительно купила этот шкаф в Варшаве. Собственно, это был предводитель целого мебельного гарнитура, состоящего из двух кроватей, двух прикроватных тумбочек, трельяжа и козетки. Шкаф жив и поныне. Прочие вещи за последние сто лет рассеялись.

Моя бабушка Елена получила эту мебель в 1917 году в качестве свадебного подарка от свекрови. Мебель поселилась в Петровском парке, на далекой московской окраине, вместе с молодоженами. На пахучих полках шкафа лежало бабушкино приданое — тогда было принято его давать.

Дед учился в университете, на юридическом факультете. Бабушка сдала экзамен на Высшие женские курсы Полторацкого, которые она облюбовала себе еще в Калуге. Училась она недолго. Внесли малень-

Личный мир

кую кроватку, шкаф немного передвинули и положили на полки подрубленные вручную пеленки — родилась моя мать.

С тех пор шкаф двигали, перетаскивали и перевозили много раз. Он был свидетелем жизни, смерти и любви пяти поколений нашей семьи. Из Петровского парка шкаф переехал в Ермолаевский переулок, оттуда — на Долгоруковскую, потом снова вернулся в Петровский парк, который превратился из глухого пригорода в почти фешенебельный район метро «Динамо». Здесь в зеркальной створке шкафа отразилось в последний раз уже не узнающее себя лицо моего деда. Бабушкины нарядные платья безнадежно повисли в шкафу — она вдруг уменьшилась, постарела, и ей всё стало велико...

Шкаф был всегда заперт. Но ключей бабушка никогда не прятала. Они свисали тяжелой связкой, отзываясь на стрекот швейной машинки, вздохи утюга и удары поленьев перед голландской печью легким и веселым звоном. Когда я стояла, упершись ладонями в шкаф, ключи позвякивали высоко над головой.

Я приезжаю в гости к бабушке в ее последнее жилье на Черноморский бульвар — гораздо реже, чем следовало бы, — она открывает мне дверь и, покачивая старчески-кривой спиной, идет к шкафу. Звенят, как в детстве, ключи в бронзовом замочке.

— Чем я тебя угошу! — многообещающим голосом говорит бабушка. Тайна этого угощения давным-давно разгадана — это будет шоколадная конфета. Но тень того детского ожидания мелькнет во мне. Из распахнутого шкафа потянет шоколадом, «лоригановской» розой, флакон которой был подарен бабушке к свадьбе и еще, кажется, не весь вышел, выцвет-

Людмила Улицкая

шими шелковыми лентами фисташкового и палевого — каких уж теперь нет — цветов, свежим жестким бельем, давностью лет, домом и детством...

А теперь — панорама по полкам. Одна шкатулка с пуговицами чего стоила. В маленьких отсеках, нанизанные на нитку палочками, колбасками и ожерельями, лежали... оловянные, стеклянные, деревянные... от дедушкиного студенческого мундира и от бабушкиного гимназического платья, от форменной шинели горного инженера и от унтер-офицерской прадедовой.. золотые, серебряные, костяные, перламутровые, косточковые...

Все мои дворовые подружки ходили ушитые бабушкиными пуговицами — а запас всё не иссякал!

Приходила соседка, спрашивала клубочек красной шерсти — носок заштопать. Пожалуйста! Соседский внук спрашивал рыболовный крючок. Пожалуйста! — Перо номер восемьдесят шесть! — Пожалуйста! Вот оно! — Баночка с притертой крышкой... нет, темного стекла! — Пожалуйста! Возьмите! — Четверть метра зеленого сукна, надставить детское пальтишко! — Возьмите! Господи, даже прочишалка для трубок, даже машинка для пробивания дырочек!

В шкатулках, в жестяных коробках из-под ландрин и чая, в пакетиках и сверточках было всё. Шкаф щедро распахивал свои створки. Здесь было всё — для всех. Клянусь, в минуту раздачи от шкафа исходили свет и тепло!

Здесь, в этой точке, совершался тончайший переход, некий удивительный скачок качества. Материальное становилось духовным...

При этом переходе соблюдался своеобразный «закон сохранения». Чего? Строго говоря, материи. Но

Личный мир

в ее прикладном виде, когда она отливается в вещи, которые сопровождают каждый день нашей жизни.

Где проходит точная мера отношения к вещи? Как любить, не порабошаясь, уважать, не обожествляя? Что правильнее: беречь, дорожить или быть свободным от привязанностей? В конце концов, хранить или выбрасывать?

Времена изобилия опасны. Общество, сытое до отрыжки, отвратительно. Слава богу, пока нам это не угрожает. Но какое-то опасное и странное изменение сознания всё же произошло. Оно, сознание наше, ценя и превознося себя самое, совершенно перестало ценить материальный мир, это же самое сознание и породивший. Материалисты XX века перестали уважать материю во всех ее видах: неживую — как среду нашего обитания, живую — как источник физического существования, и ту особую, преображенную трудом человека в великое разнообразие вещей.

Совершилось новое грехопадение — человек оболъстился доступной, яркой и дешевой новинкой, изменив старым своим привязанностям, тому строю отношений между человеком и его вещами, который сложился во времени, когда обиходные предметы жили со своими хозяевами, переходя от поколения к поколению.

Помните ли вы арбатские помойки пятидесятых годов и более позднего времени — великого сноса арбатских переулков? Сгорело не всё. Кое-что удалось спасти. Бескорыстные спасатели булей и чиппендейлов не остались внакладе. Отреставрированная мебель лет через десять поднялась в цене. Даже медные дырявые кастрюли, щипцы для снятия нагара со свечей и кусок старинной шали оказались предмета-

Людмила Улицкая

ми материальной культуры, а не постыдным хламом. Наследники арбатских старушек, поспешившие выбросить их ветхое имущество, рвут теперь на себе волосы... Но за свой грех неуважения к вещам своих бабушек и, косвенным образом, неуважения к их памяти они ужасающим образом расплатились. Каким?

Однажды, собравшись менять свою квартиру в новом кооперативном доме, я была вынуждена в течение двух дней обойти всех жильцов восьмидесятичетырехквартирной башни, чтобы собрать их подписи под какой-то обменной бумагой. Я зашла в восемьдесят три квартиры — и вынесла сильнейшее впечатление. Почти все люди, построившие себе кооперативную квартиру, вероятно, решили в день своего переезда начать совершенно новую жизнь, истребив из нее все знаки прошлого. В восьмидесяти квартирах висело 80 одинаковых светильников, стояло 80 одинаковых кухонных гарнитуров, 80 одинаковых стенок, 80 одинаковых вешалок и 80 одинаковых галошниц. Всё было куплено в один прекрасный день, когда в ноябре 1965 года заселялся этот дом.

И только в одной квартире не было ничего подобного. Мне открыл мрачный старик, сказал: «Проходите», сел за огромный дубовый стол с выдвижной шторкой и начал изучать мою бумажку. А я тем временем изучала его квартиру. С полок удобнейших «шведских» книжных шкафов непривычно глядели собрания сочинений Маркса и Энгельса на немецком языке, багрово отсвечивал шероховатый коленкор малоформатных томиков. Сверкала маленькими металлическими шишечками кровать, застеленная серым солдатским одеялом. На столе стоял стакан в простом подстаканнике. Хозяин спросил меня, почему я меняюсь.

Личный мир

— Тесно стало, дети родились, — ответила я.

— Двадцать два метра вам мало? — строго спросил он.

— Маловато на четверых, — ответила я, но мне почему-то стало неловко.

Он хмуро подписал бумагу. Прощальным взглядом я окинула комнату и ее хозяина. Передо мной стоял твердый человек, не изменяющий ни своим убеждениям, ни своим скромным вещам времен военного коммунизма. Мне казалось, что вещи, стоящие в его комнате, рассказали о нем всё.

А что сказали бы о своих обитателях кропоткинские и арбатские комнаты — узкие, поделенные перегородками вкривь и вкось, с асимметричными кусками лепнины, боковушки, проходнушки и бывшие комнаты для прислуги с выходом в коммунальную кухню? И помню их хозяек, тонконогих старушек в бывших парижских шляпках, выцветших беретках и демократических платочках. Их ветхая жизнь осыпалась, как пересошие иммортели в стройных зеленых вазочках стиля модерн, которые они так любили. На наших глазах весь их мир был вынесен через черную лестницу...

Я помню вас, Александра Владимировна и Елизавета Николаевна, Мария Петровна и Мария Александровна, графиня и старая большевичка, бывшая горничная и бывшая преподавательница музыки.

Порою очень странные и противоречивые идеи уживались в аккуратных седеньких головках. Но как ваши жилища были похожи на вас! В расстановке мебели, в самих осколках сохранившегося от прежних времен быта проявлялись характер, индивидуальность и судьба.

Людмила Улицкая

— Ненавижу занавески! Это ужасное мешанство! — говорила Мария Петровна, последовательница Далькроза и бывшая преподавательница ритмики и пластики по системе Айседоры Дункан. А на запыленной крышке пианино грудой лежали булыжники и галька, совсем без всякой красоты камни — если такое бывает, — привезенные из Ростова, Владимира, Ярославля.

— Это очень важно, — говорила она. — От этих камней исходит дух истории!

А одна старенькая чета, Мария Тимофеевна и Виктор Николаевич, — судьба была к ним так милостива, что они жили долго и умерли в один день! — окантовывала художественные открытки, репродукции с картин известных художников. Когда на собственных стенах места уже не оставалось, они стали их раздаривать. У меня долго хранилось несколько таких остекленных, в самодельные рамочки вставленных открыток.

А у Елизаветы Николаевны были жесткие накрахмаленные салфетки, безукоризненно мягкие пирожки, безукоризненный пол и безукоризненное французское и немецкое произношение...

А у Александры Владимировны — классическая собачка при барыне, всегда возлежавшая на хозяйкиной кровати-ладье карельской березы, и трогательная, чудом сохранившаяся коллекция театральных программ, которые она собирала со своего первого выезда в театр не то в 1903, не то в 1907 году... Она была страстная театралка, и комната ее, увешанная подписанными ей портретами великих актеров, выкрашенная в ярко-синий цвет, немыслимый для жилого помещения в нынешнее время, с хрустким сором под ногами и остатками позавчерашнего завтрака, рассказывала про нее всё.

Личный мир

Они были чрезвычайно разнообразными, эти старушки, но одна общая черта безусловно объединяла этих держательниц маленьких шкатулок с драгоценностями и плетеных ивовых сундуков с салопом покойной бабушки — верность своим вещам. Они были так прочно связаны с ними, что когда старушки умирали, то комнаты их — если сразу же не были разорены родственниками — еще долго хранили их присутствие, их старческие лекарственно-сладкие и пыльно-травяные запахи...

В этой проблеме — человек и вещь — много тонких граней. Вещь благодаря человеку приобретает самостоятельное бытие. Человек, производя вещь, выявляет себя. Бездарные вещи обнаруживают неодаренность природы, талантливо сделанные — прославляют творца. И это касается не только области художественного творчества, а самого нашего быта, протекающего зачастую в бездушных и антиэстетичных блочных коробках, в геометрически-тупых пространствах малогабаритных квартир, в нечеловеческих полях новостроек, оскорбляющих и глаз, и землю, на которой они вырастают.

Можно ли вести войну против этого серого однообразия, которое уже есть, и в потроха которого мы заселены? Можно ли вести борьбу за выживание в совмещенном санузле и пятиметровой кухне, в восьмиметровой комнате, в тощем коридоре, тихую и жестокую войну вроде той, которую вел мужественный Мангуст с чудовищным Нагом?

Очень трудно. Почти безнадежно. Но иногда силой духа можно победить и эту по нашей же вине растленную материю, организовать внутри этого бездарного пространства оазис существования.

В маленькой комнате — стрельчатое окно. Ну, не совсем стрельчатое. В блочных девятиэтажках не бывает стрельчатых — окно кажется стрельчатым. Потому что хозяйка так хитроумно придумала и скроила занавески. Она же собрала осколки разбитой за долгое время посуды и на стене возле раковины выложила собственноручно мозаику из разноцветных фарфоровых черепков.

Куда ни бросишь взгляд — всюду неожиданность. Откуда-то сверху свисает несколько плетеных корзин. В одной — чистое белье, приготовленное для глажки, в другой — собрано на починку.

— Очень мало места, — объясняет мне хозяйка, моя подруга Галя.

И она преобразует это сплющенное пространство. Устраивает выгородки, делает подвижные источники света. Зеркало, черное, белое — всё работает по своим законам, и законы эти Галя знает. Она — театраль- ный художник. И она не перестает им быть никогда, даже во сне, даже в малогабаритной квартире площадью в двадцать два квадратных метра.

И очарование этого театрализованного пространства так велико, что отступает исходная бездарность этих клетушек.

Вот мы сидим на кухне, рядом с вечным чайником, — как и полагается настоящим москвичам. Галя, по-птичьи прицелившись в какую-то тряпочку своим желтым глазом, берет ее и начинает мять крупными пальцами. Я — в праздности. Она — нет. Ее руки всегда заняты. Она извиняется: не обращай внимания, я буду сучить руками. И сучит.

Личный мир

Детская шуба, продувная, изношенная, но хранящая тепло десятка носивших ее детей, лежит перед ней на столе. Она отрезает пуговицы, отпарывает подкладку, вздыхает и вырезает стельки... Даже из самой изношенной шубы их получается не меньше четырех.

Однажды при мне мелкие лоскутки разносортного меха были выровнены и приклеены на деревянную скамеечку. Вот теперь я сижу на этой «меховой» скамеечке и наблюдаю, как изношенная шуба и старые голенища от сапог превращаются на глазах в замшевый кошелек, карман, футляр, в кожаную рамку для фотографии, в домашние тапочки. И каждый предмет самостоятельно красив и полноправен в своем новом бытии. Шелк, бархат, бечевка, мешковина, уже отжившие свой век, вдруг обнаруживают в Галиных руках какие-то новые качества, и происходит рождение новых вещей. Может быть, правильнее это назвать воскрешением материала?

Что и говорить, талант — всегда особое дело. К тому же эта сверхъестественная чувствительность к материалу, будь то кусок упаковочной ткани или колючий комок кактуса, в Галином случае — профессиональная черта.

Но посмотрите на своих детей! «Детский мир» ломится от игрушек, а мальчишки плетут из проволоки в разноцветной оплетке самодельных солдатиков. А девчонки склеивают попарно спичечные коробки, обклеивают их розовым атласом — и получается кровать для Дюймовочки! Они всегда готовы рядиться в платья из бабушкиного сундука, они всегда готовы к театру, не ждут приглашения. Только бы в руки попал пригодный материал — тряпка, лопух, ракушка. Видимо, в детстве всем людям, а не только художни-

Людмила Улицкая

кам, присуще свободное отношение к материи и естественная любовь к ней.

Большая часть взрослых равнодушна к птичьему перышку, к стеклянному шарикю, к цветному камушку — и отсюда берет начало равнодушие к вещам, которые окружают человека, и равнодушие к миру, в котором эти вещи существуют.

Некий мыслитель в глубокой древности рассек мир на материальное и духовное начала, и это предопределило такое мировосприятие, при котором форма может рассматриваться независимо от содержания, а сознание — от бытия. Вступив в лабиринт, где у первой же развилки стояли стрелки «материя — направо, дух — налево», человек начал блуждать по увлекательным коридорам и встретил в их средоточии Минотавра. Приглядевшись, узнал в чудовище самого себя.

Материя, оторванная от духа, оказывается жадной массой размножающейся и пожирающей самое себя плоти; дух, отлученный от материи, отлетает так далеко, что бедному человеческому сознанию за ним не угнаться.

Античный мир любил материю. Средневековый относился к ней с подозрением. Мы, материалисты XX века, оказываемся ее осквернителями. Материалисты разлюбили материю...

А она прекрасна и благородна во всех ее формах: в виде речного песка, пересыпающегося с нежным шорохом с ладони на ладонь; в виде воды, земли, воздуха и огня.

Она бывает так же прекрасна и благородна в ее рукотворных воплощениях: в хлебе, вине, посуде, одежде, в человеческом жилище.

Личный мир

Материя заслуживает любви, уважения и восхищения. Бережного к себе отношения. И даже благодарности. И если мы это не захотим понять, если не изменим нашего отношения к ней, мир превратится в очень скучную помойку.

ПХЕНЦЫ

Известный с детства сказочный сюжет: принц выбирает из сорока, вероятно, клонированных сестер свою единственную избранницу, подлинную среди поддельных, истинную среди подставных... Интуиция, или волшебная помощь, или любящее сердце помогают герою, и он не ошибается.

В новое время сюжет приобретает свежий поворот, аромат фэнтези: некто чужой, чуждый, инфернальный или инопланетный, что в сущности одно и то же, скрывается в человеческом теле. Он может нести угрозу, зло, полное уничтожение мира, а может, напротив, — какую-то настолько высокую идею, которая сегодня не по зубам и не по карману погрязшему в грехах человечеству. И дело не в том, что именно за идея упрятана в этом таинственном существе, помещенном в человеческий образ, а в том заключается прикол, что существо похоже на нас, но мы не можем его узнать...

Андрей Синявский в своем рассказе «Пхенц» рассказывает о таком несчастном инопланетянине, который, будучи не то кактусом, не то рептилией, но явно пришельцем из другого мира, упрятав в пиджак свое членисто-ветвистое, сухо-горячее, из элементов

Людмила Улицкая

неменделеевских построенное тело, проживает в коммунальной квартире, ходит на службу, прикидывается человеком, страдая от невозможности вернуться в свой утраченный в другой Галактике рай...

К чему я клоню? Почему хожу кривыми кругами, всё не решаюсь высказаться о природе двух людей, которых нет уже на свете, но которых когда-то могла бы назвать друзьями — с некоторыми оговорками... Да, их трудно назвать друзьями, да и любое из наших обыденных определений человека к ним обим не подходило. Наши обыкновенные слова и понятия, о которых мы уже давно договорились, что именно они означают — добрый, умный, жадный, раскованный, свободомыслящий, ограниченный, — начинают пробуксовывать, спускать свое известное содержание, как проколота шина, и ты сам начинаешь запинаться, экать-мекать, булькать, и покашливать, и приходить в полную растерянность от невозможности найти точные слова и полновесные определения личности людей, с которыми проведено было много часов и лет...

Юра Соболев и Виктор Новацкий. Откуда пришли и куда ушли? Ушли, замечу, в один день, в середине студеного декабря 2002 года, как будто неведомый транспорт подобрал своих пассажиров, чтобы отправить, как тоскующего Пхенца, на историческую родину... Хромой Соболев и ослепший к концу жизни Новацкий... и здесь тоже теплится античный или библейский сюжет: прикосновение к бедру Иакова, бесчисленные божественные ослепления, сопровождающиеся даром внутреннего прозрения. Словом, слепой фотограф и хромой художник, сама природа которого — движущаяся, пляшущая, — чудесная пара, вско-

Личный мир

чившая на ходу в колесницу, в ракету... ну, что там сегодня подают?

Оба они были учителями, и это не вызывало никаких сомнений. Но если про Соболева еще кое-как можно было сказать, что, будучи художником, он обучал профессии художника, то чему обучал Новацкий — определить совершенно невозможно. Юрий Исаевич был образован по-европейски, знал цифры и формулы, правила и законы: обо всем имел представление и чувствовал дух предмета. Оба они стилистически имели некоторое отношение к Вячеславу Иванову — как создатели башни из слоновой кости. Башней Новацкого была его однокомнатная студия, жилье, не стилизованное под модерн, но представляющее собой живой осколок умершего времени, в доме Нирензее в Гнездиновском переулке. Башня Соболева находилась в его мастерской, в чулане, в любом помещении, которое он занимал временно или многолетне. В отличие от Ивановской, возле Таврического, процветавшей и прославившейся в десятые годы, вокруг башен, возведенных Новацким и Соболевым, цвела, бушевала, воняла и плясала советская власть. Но ее волны не достигали стен башни. И это поразительно: это не были московские кухни с диссидентскими разговорами полусшепотом. Ничего подобного. Там, где восседали наши герои, Соболев и Новацкий, шла мистерия посвящения: они посвящали мальчиков и девочек в некий орден, названия которому не было и нет. Люди, соприкасавшиеся с ними, инициировались к творческому думанию, причем совершенно не обязательно в направлении, указанном гуру. Они поднимались на новую ступень осознания искусства, искусства и себя, себя как цен-

ности и себя как объекта изучения. Сети Новацкого и Соболева были раскинуты широко: от антропологии до психологии, от теории музыки до фольклора... По частным вопросам они не были единомышленниками, но полностью сходились в страсти к знанию, применяемому на практике, мгновенно и сейчас... Тысячи людей прошли через руки этих странных учителей... Они узнают друг друга, даже не будучи знакомы, как масоны, по какому-то незримому посторонним тайному знаку, по особому запаху речи и мысли. Я и сама — из них.

БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙСТВО

Процесс вспоминания — попытка сопротивления времени, рывок в направлении, противоположном умиранию, желание высказать благодарность тем, кого уже нет. Это бескорыстное желание — потребность благородной души Наташи Парфентьевой. Из той же породы ее мама Анастасия Николаевна Полянская и бабушка Елизавета Николаевна Полянская. Наверное, и прабабушка, которой я не знала.

Елизавета Николаевна была классическая арбатская старушка (точнее, пречистенская) — маленькая, в крючком вязанном берете, приветливая и, на взгляд глупой пятнадцатилетней девочки конца пятидесятых годов, довольно незначительная. Тогда у меня еще не прорезалось чутье на великих людей.

Я ходила к Анастасии Николаевне Полянской, дочери Елизаветы Николаевны, за физикой — лучше места найти было невозможно: научили и механике,

Личный мир

и оптике, а заодно и вправили еще неопытный на людей глаз. Попутно я еще влюбилась в сына Анастасии Николаевны Колю и подружилась на всю жизнь с ее дочкой Наташей, моей подругой полувековой давности. Я благодарна судьбе за то, что она мне показала в столь ранние годы людей такого редкого, гроссмейстерского класса, высшую пробу.

Есть один эпизод, которого я не нашла в воспоминаниях Натальи Парфентьевой. Она упоминает о том, что семья жила в доме на Пречистенке, боковым фасадом выходящем в Чистый переулок. В двадцатых годах семейная квартира была «уплотнена» соседями, в середине восьмидесятых всех Полянских-Парфентьевых переселили на окраину, и теперь в их заново отделанной и перестроенной квартире живут новые русские; и горечь и гнев я чувствую всякий раз, когда прохожу мимо их прежних окон. У меня дурной характер.

Несколькими домами вглубь по Чистому переулку расположена резиденция патриарха. В пятидесятые годы, когда резиденция уже там расположилась — патриарх был тогда Алексей Первый, — у патриарха был приличествующий ему выезд: две «Волги», черная и зеленая. Некоторые из моих друзей настаивают, что это были не «Волги», а ЗИСы, и есть один, который утверждает, что лимузины эти были иностранными. Мне всё же кажется — «Волги».

Вот обещанный эпизод: изредка пути соседей пересекались — Елизавета Николаевна возвращалась домой из булочной или из Смоленского гастронома, и патриарх замечал ее из окна «Волги» и выходил, чтобы ее поприветствовать и благословить. К великому изумлению почтеннейшей публики. Да и откуда этим прохожим было знать, что патриарх, будучи

Людмила Улицкая

молодым священником, еще до революции, служил в домово́й церкви матери Елизаветы Николаевны, известной московской благотворительницы, построившей на своем веку много церквей.

Откуда я об этом знаю? Да уж конечно не от Анастасии Николаевны, замечательного физика, материалиста, атеиста, унаследовавшей от своей матери все ее чудесные дарования, кроме одного — дарования веры. Наверное, от Наташи. А иногда мне приходит в голову: может, я это выдумала? Как останавливается патриарший выезд, выскакивает шофер, открывает дверцу, и выходит высокий и полный, в шелковой рясе, с белой рукой сам... Спросила у Наташи, она подтвердила: всё было именно так!

Признаюсь честно: Елизавета Николаевна, ее дом, ее мир в виде легких теней забредают иногда в мои рассказы и повести, и меня посещает чувство, что живые и мертвые встречаются там, и им хорошо.

Какие же они все талантливые! Были и продолжают быть, потому что потомки Елизаветы Николаевны — новые музыканты, и художники, и ученые, и педагоги — живут рядом с нами. И когда говорят что-то плохое и вполне заслуженное о нашем бедственном генофонде, у меня есть сильное возражение: а Парфентьевы и Полянские еще не перевелись, хотя девочки выходят замуж, их дети носят другие фамилии, и вообще все расплзлись по свету... Потомки этой прекрасной купечески-дворянской, интеллигентной русской семьи, пережившей войны и революции, террор и унижения, тяжкий труд, лагеря, изгнание — словом, всё, что полагается честному человеку в нечеловеческих обстоятельствах, — сидят рядом с нами в вагоне метро. Не всегда их узнаем.

БЕДНЫЙ ВРАГ

Конечно, эта история моей жизни давно уже проросла в разные тексты, которые мне приходилось писать. Но во всей правде — если смотреть моими глазами — она разыгралась в московском дворе ранне-послевоенного времени. Двор почти в центре Москвы был отчасти барачным, отчасти приличным. Семья моей бабушки занимала одну из двух самых лучших квартир нашего двора. Когда-то ее занимала семья застройщика соседнего огромного доходного дома, построенного до Первой мировой. Во второй этаж вела винтовая лестница, а если подняться еще на полвитка, то там был вход на чердак, где сушили белье и десятилетиями хранили ненужные вещи, перед тем как отнести их на помойку. Во всём нашем дворе я была единственным ребенком, которого водили в музыкальную школу и обучали немецкому языку. У меня была желтая шуба и желтая с двумя торчащими ушами шапка — оба предмета сшиты были бабушкой собственноручно из плюшевого покрывала. Несмотря на королевское великолепие одежды, гулять во двор меня выпускали одну, без сопровождения, лет с семи. Я играла в лапту и в горелки, прыгала через веревочку и в физическом отношении ничем не отличалась от сверстников: не хуже других. Тогда же у меня завелся враг — Витька Бобров. Он был сыном дворничихи Насти. Всё семейство — там было еще две девочки — было малорослым и кургузым, только отец был высоченным. Но я его помню смутно, во дворе он появился на короткое время между двумя посадками году в сорок восьмом. Приблизительно в то же время от Витьки Боброва я уз-

Людмила Улицкая

нала про себя очень интересную вещь — что я еврейка. И это стыдно...

Что со мной и моей семьей что-то не в порядке, я уже и раньше догадывалась. Тогда еще был жив мой прадед, и в семье праздновали еврейскую Пасху, и всегда не в тот день, что соседи. Позднее я разобралась с Пасхой, пасхалией и многими тонкостями иудеохристианских раздоров, но не в семь моих лет! Словом, Витька меня дразнил, даже травил слегка, я же морду отворачивала, ставя себя выше оправданий. Но в лапту играли вместе всей дворовой компанией.

Потом постепенно подоспело дело врачей, маму выгнали с работы. Врачом она не была, но была биохимиком, еще хуже! Сразу мерещатся ядовитые порошки и жидкости, подсыпаемые и подливаемые в кушанье вождям и всему остальному русскому человечеству. Витька меня постоянно задирает, а я с ним дралась на равных.

А потом про Витьку Боброва я забыла. Он исчез неизвестно куда.

Сначала Каляевскую улицу, нашу семисемейную коммуналку, покинули мы с мамой — дед купил нам кооператив на Новолесной, возле Белорусского вокзала. Вскоре выселили и бабушкину квартиру: они въехали в двухкомнатную квартиру на Башиловке, их последнее земное жилье. Их новый дом был минутах в пятнадцати ходу от Петровского парка, первого их московского дома, куда вселились они молодоженами в начале 1917 года. Там родилась моя мама в 1918 году. Когда-то это было дачное место, потом оно стало предместьем, а сейчас здесь метро «Динамо», двенадцать минут до центра по зеленой ветке. Хороший рай-

Личный мир

он, почти центральный, а тогда стояли деревянные дачи, дровяные сараи и колонки.

Наше новое кооперативное жилье тоже было неподалеку: от Бутырского Вала через мостик над железнодорожной веткой, мимо комбината «Правда», минут десять ходу через путаную сеть проездов, переулков, гаражей — и мы у бабушки, на Башиловке. И последняя колонка на Нижней Масловке еще извергала пенную воду зимой и летом.

В старом дворе я не появлялась. Да и двор изменился до неузнаваемости: его залили асфальтом, исчезли палисаднички, сломали два полубарачных строения, белье больше не полоскалось на веревках, и не играл пьяненький дядя Вася по праздникам на своей гармошке. Двор стал почти совсем приличным, и население поменялось: вымерли старухи в валенках, инвалиды на костылях. Почти никого из старых соседей не осталось во дворе.

Не помню, какая такая нужда занесла меня на Каляевскую улицу. Но прямо возле ворот моего бывшего дома я встретила Витьку Боброва. Я не сразу его узнала: он был маленький, почти как в детстве, щуплый, лысый, широченная его улыбка обнажила два ряда стальных зубов. Он раскинул руки и обнял меня:

— Люська! Ну ты прям!

Он уже отсидел и освободился. У меня дух перехватило: старенький мальчик, морщинистый, со шрамом через лоб, он был так рад, как будто встретил сестру родную...

— Небось институт закончила? А как мамка твоя, живая? А моя померла!

— Да что ты! Тетя Настя ведь нестарая была!

Людмила Улицкая

— А под трамвай попала, на Делегатской! Нам там комнату дали, ты не знаешь? А Нинка замуж вышла! — вывалил он все семейные новости.

Мой детский враг стоял передо мной, улыбался сморщенным лицом, радовался встрече.

— А как я в тебя влюблен был, помнишь?

Ничего такого я не помнила. Но и он, видно, на-чисто забыл, как мы отчаянно дрались в детстве.

Бедный мой враг! Больше я его не встречала. Последнее, что я о нем слышала, что он недолго гулял на свободе, снова загремел в тюрьму за какое-то неудачливое воровство. Не думаю, что он жив. Бедный мой враг!

ПРО АНДРЕЯ

ИСКУССТВО НЕДЕЛАНИЯ

Есть причина, которая удерживает меня от того, чтобы писать об Андрее Красулине, — он мой муж, и потому страшно перейти границу частной жизни, перевести в область публичного мысли и чувства, выросшие в пространстве интимном. Но эта же самая причина и побуждает к высказыванию: тридцать лет разнообразного общения — напряженного и бурного, глубокого и содержательного, — довольно долгого брака, в конце концов, так взаимно изменили нас обоих, что всё чаще мы попадаем в зону удивительного единомыслия, где совершенно невозможно вычленишь «твое» и «мое». Порой мы уже не знаем, да и не интересуемся знать, кто из нас двоих впервые высказал мысль, сформулировал отношение к тому или иному предмету, заметил нечто на первый взгляд незначительное, имеющее отношение к «совместному проживанию момента». Это случается не каждый день, не каждый час — изредка, — но всегда с радостью осознается. Неважно, в какой именно точке

Людмила Улицкая

происходит это единение, но с годами оно располагается всё ближе к природе, к миру, к области спонтанных движений, которые называют творчеством.

Вот произнесено это ключевое слово — «творчество». Оно имеет природу, сродную радиоактивности. Заряд, который излучает. Я, как и многие другие, попала в зону воздействия Андрея Красулина.

Творческий заряд — мощный или слабенький, зародышевый — присутствует в каждом человеке. Собственно, это видовой знак, одна из отличительных особенностей человека. Он, этот заряд, не сопряжен ни с силой интеллекта, ни с нравственными качествами; иногда он не связан даже с талантом.

В русском языке нет даже точного слова: мы не говорим «творческий», а используем английское, очень бледное и рационализированное понятие «креативность». Так вот Андрей наполнен до краев творческой энергией, креативность — его основное качество. И потому всё, что он делает, — готовит еду, ест, пьет, смотрит в окно, стирает рубашку, чинит велосипед, играет с ребенком — является творческим актом. Полная укорененность в данном мгновении уравнивает действия бытовые и профессиональные. Необходимость написать вот эту картину совершенно равна необходимости наскоро, к обеду вырезать еще одну деревянную ложку, потому что людей за столом в мастерской оказалось больше, чем ложек на столе. Только необходимое, ничего лишнего. Отсюда же — отвращение к рутине, к суете. Не декларированное, а изнутри выявляющееся. В выставках он долгие годы почти не участвовал — даже такой естественный и законный для художника жест казался ему излишней манифестацией. Впрочем, этому способствовало то обстоятель-

Личный мир

ство, что участие в выставках было для него невозможным: за тридцать лет, не считая молодежных, с шестидесятого по девяностый, его допустили к участию лишь в одной групповой выставке в 1979 году, на Кузнецком Мосту, в зале московского Союза художников.

В общении с Андреем мне открывались важные вещи, о которых знаешь чуть ли не с рождения, но не осознаешь их: через Андрея открылась система координат, та культурная азбука, без которой не существует никакое творчество. Эти новые открытия требовали от меня самоопределения: в мастерской Андрея я становилась писателем...

У Андрея есть излюбленные темы, к которым он постоянно возвращается. Это основные знаки — круг, квадрат, крест. И параллельно этому — органическая тема: дерево, движение роста, раскручивания, прорастания...

Почему я говорю об этих знаках — круг, квадрат, крест, — находящихся исключительно в ведении искусствоведов? Потому что Андрей, взяв за руку, ввел меня в этот мир, по сути, за пределы живописного, пластического, и подтвердилась догадка, что наука и искусство — одно и то же, всего лишь инструментарий для вхождения в жизнь.

Сколько умных ненужных книжек я прочитала в молодости, прослушала лекций, в какие только эзотерические кухни не совалась носом, пока не обнаружила, что надо всё отодвинуть и просто посидеть... Возможно, мы обнаружили это совместно в один прекрасный день... Но согласованно и с чувством благодарности друг другу.

И вот мы сидим и ничего не делаем. И я постепенно стала догадываться, что «ничегонеделанье» Анд-

Людмила Улицкая

рея — серьезное и осмысленное занятие. На первый взгляд оно нерезультативно, если результат — видимое и материальное достижение. Мы все в большей или меньшей степени заражены этой тайной болезнью материализма: результат нужно пощупать руками. Результат сосредоточенного неделания нельзя пощупать руками, его невозможно описать. Он заключается в достижении определенного состояния покоя и внимательного присутствия в мире. Это не имеет никакого отношения к экстазу, эйфории, возвышенности. Одним словом, описать невозможно, но от Андрея идет эта волна. И я стараюсь ее уловить, я пытаюсь научиться от него ничего не делать этим самым способом. Неделание — великое искусство. И уж во всяком случае, неделание лишнего.

Зато когда он делает что-то, он полностью принадлежит тому, что делает, единое целое составляет намерение и исполнение, ни тени рассеяния, ни на волосок посторонней мысли, полная концентрация. Так он ест, пьет, рисует, слушает музыку, любит, читает.

Наверное, я думаю об Андрее гораздо больше, чем он обо мне. Зато я его и лучше знаю. И отца его, Николая Петровича, хорошо помню. Он умер девяноста пяти лет, ветеран трех войн — империалистической, Гражданской, Отечественной, — потерявший на последней войне ногу, биолог, специалист по лесу, человек образцового достоинства, красоты и большой физической силы. Очень педантичный, организованный, западного, даже, пожалуй, немецкого склада.

От отца Андрей унаследовал красоту и силу, а от деда, священника и пьяницы, — ту русскую размахистость, неуправляемость, азарт до самозабвения, из которых произрастает «священная русская болезнь». Ка-

Личный мир

ким-то образом это было связано с самозабвением творческим.

Работы последних лет — холодные монохромные пространства, полные волнующего, но абсолютно невысказуемого содержания, — и являются тем местом созерцания, молчания и тишины, о котором мы тоскуем посреди удушающего города, в гонке, в одышке, в коллапсе... Смотрю, пытаюсь подобрать слова: изнанка неба? вход за предел? смерть координат?

Глупое занятие — нет названия. Разве что номер опуса... На мгновение оказываешься там, где очертания прекрасных муз расплываются: музыка, слово, объем, цвет переходят одно в другое с легкостью, известной из сновиденья. Но в любую минуту можно отвернуться ото всего этого, и Андрей сварит чай, поставит на стол курагу и орехи, включит музыку. Дома хозяйничаю я, в мастерской — он. Остановка. Кажется, мы сейчас ничего не делаем...

Одна его мастерская, в начале шестидесятых, была в Тимирязевке, рядом с моим тогдашним домом. Но мы не были знакомы, просто ходили по одной улице. Другая, на Масловке, много лет была центром моей жизни — окна почти вровень с землей, пивнушка за стеной, звон трамвая, блески счастья и горя, лучшее место на земле, как мне представлялось. Теперешняя мастерская — в Сокольниках. Я могу туда прийти, когда упадок сил, потеря энергии, просто плохое настроение. Посидишь, посмотришь по сторонам, пошаришь глазом по стенам и по полкам, и возвращается система координат, восстанавливаются масштабы происходящего: важное остается, мелочь и мусор высыпаются.

Андрей отбрасывает большую тень — мне хорошо в этой тени.

«ВОСХОД СОЛНЦА В СОКОЛЬНИКАХ»

Это любимая картина. А это любимый художник. Он же — любимый друг и любимый собеседник. Картина — одна из множества заполняющих мастерскую. Вчерашняя. Завтрашняя. Почти любая. На картине нечто происходит. Происходит с художником, и след происходящего запечатлен. Не всегда удается расшифровать и обозначить словами происшедшее между художником и внешним миром. Изображена связь человека и мира, и не статическая, раз навсегда заданная, а живая, ежеминутно рождающаяся.

Я смотрю на картину — и совершается открытие.

Название картины, как она представлена в каталоге художника, — «Восход солнца в Сокольниках». Тысячи раз каждым из людей виденная картина восхода солнца. Тысячи раз многими художниками запечатленная. На этот раз — единственная, где указано точное место и время космического события.

Вперед были высланы ангелы. Деревянные, сделанные из древесных щепок и тонких планок, с воздетыми и опущенными деревянными крыльями, они встречались мне в домах общих знакомых, и я спрашивала: откуда? Андрей Красулин подарил, — отвечали...

В одном из домов, заселенных ангелами, мы и познакомились в середине шестидесятых. Познакомились — сильно сказано. Потом нас познакомили по меньшей мере раз пять, прежде чем он меня начал узнавать. Точно помню, когда он впервые со мной поздоровался: я была в конце беременности, сидела, сложив руки на большом животе, и он улыбнулся. Тогда я не знала о его пристрастии к беременным женщинам, они вызывали в нем почти религиозное умиление...

Личный мир

Несколько лет спустя, когда я впервые оказалась в его мастерской, я поняла, откуда взялись те деревянные ангелы: они были потомками народной игрушки, архаической скульптуры, над ними стояла тень русского авангарда. Именно тогда я и увидела первые репродукции кикладской пластики, примитивные человеческие фигурки древней островной культуры. Тогда же я и поняла, как важна генеалогия в искусстве: что из чего рождается, кто кем оплодотворяется... Андрей тогда числился в скульпторах, много рисовал, но к настоящей живописи еще не приближался.

Однако, что бы он ни делал, особые качества его личности угадывались всегда: внутренний аскетизм, минимализм жеста, внутренняя сдержанность и отвращение к любому виду пафоса... Эти качества прочитывались и в общей стилистике его жизни тех лет: на столе — закопченный чайник, несколько деревянных ложек, каша, картошка, зелень. Непременная бутылка водки. Крепкий чай. На нем телогрейка, сапоги. Единственные джинсы в кожаных, собственно-ручно пришитых заплатах — задолго до «лоскутной» моды. И полное нежелание идти на компромисс. И независимость, гарантировавшая одинокий путь художника, никогда не входившего ни в какие групповые взаимоотношения... Одинокий художник.

Чем поразила меня эта картина? Это восходящее солнце было как будто с русской иконы. На иконах солнце изображается обычно в углу, и только четверть солнечного диска украшает угол доски, а здесь художник как будто вытащил иконописное солнышко в центр и сделал его главным действующим лицом. Старый монах-иконописец усмотрел бы в этом сюже-

Людмила Улицкая

те языческое преклонение перед космическими силами, но Красулина это не беспокоит — он глубоко вник в иконопись, до некоторой степени усвоил ее внутреннюю методику. Икона — картина преображенного мира. Преображение касается не только самих святых, изображенных с нимбами, но и ткани их одежд, мебели, цветов, животных, деревьев и деталей пейзажа, попадающих в поле зрения иконописца.

«Восход солнца» я увидела именно как современную икону. Фон, разбитый на четыре цвета, как символ сторон света, четырех стихий, четырех столпов — всего, что в нашем мире кратно четырем, — и солнце, чуть смещенное от центра картины так, что смещение это означает движение, начало некоторой траектории, по которой движется и само солнце, и мир, им согреваемый, и мы сами...

Может быть, это высочайший уровень обобщения. А возможно — непосредственное видение космических начал...

«Иногда еду в метро, посмотрю по сторонам и поражаюсь: вокруг — ангельские лики», — говорит он. Я только головой качаю: не вижу никаких ангельских ликом в толпе моих соотечественников, усталых, серых, возвращающихся домой после тяжелого рабочего дня.

У Красулина мало портретов. Зато много деревьев. Портреты деревьев не всегда узнаваемы, зато древесных мотивов — множество. Наверное, дерево — первая любовь художника. Дерево появляется уже в самом начале его художнической биографии: первые работы, которые были замечены зрителями и критиками в ранних шестидесятых, — деревянные деревья. Многие годы он считался одним из лучших скульп-

Личный мир

торов-«деревянщиков». Приемы его работы были самыми что ни на есть «народными»: никакого «вышивания», мелочной резьбы. Прикосновение к дереву почтительное, но твердое, как у деревенского плотника. Инструмент часто он выбирал тоже самый грубый: топор. И скульптуры свои делал иногда топором.

Но постепенно в мастерской всё меньше стало появляться скульптуры, всё больше — рисунков, холстов.

«Я — начинающий художник», — говорил о себе Андрей, приближаясь к семидесяти годам. Давно признанный мастер, работы которого экспонируются в лучших русских музеях — в Русском музее в Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, а также в музеях провинциальных городов.

Живопись началась в середине семидесятых. И с первых работ стало видно, что Красулин обладает колористическим «абсолютным слухом». Хорошо помню, как это начиналось. С помойки. Ящики из-под фруктов Андрей разбивал на планки, выкрашенные планки образовывали композиции, в которых угадывался то забор, то пейзаж. На выставках в семидесятых эти «заборные» работы еще сосуществовали рядом со скульптурой, с годами цвет занимал всё большее место. Наверное, самой крупной и значительной работой в этом переходном жанре была стена в Рязанской филармонии — деревянная скульптурная работа, напоминающая об органе. Живописная поверхность органа как будто несколько смещена, не полностью совпадает со структурой органных труб, и золотые письма выступают на живописи как тайные знаки... «Хвалите Господа с небес...» — первые слова 148-го псалма.

Людмила Улицкая

Наверное, картину «Восход солнца» я так полюбила потому, что в ней реализуется полное отрицание разделения искусства на фигуративное и абстрактное. Картина эта вполне может рассматриваться как абстрактная. Как очень емкий иероглиф. С другой стороны, что есть реальнее, чем солнце, когда мы сами, человеческие существа, — его отдаленные плоды? Изображенный на картине огненный шар вполне реалистичен. Но как бы мы эту картину ни рассматривали, от нее идет мощная энергия, и энергия радостная, очень сильная.

Обычно первичное восприятие картины связано с ее сюжетом. Что нарисовано? На этом уровне важна узнаваемость сюжета, житейские или литературные ассоциации, которые она вызывает.

Восприятие эстетическое предполагает более развитого зрителя. Такой зритель видит, как это сделано. Оценивает точность рисунка, технику живописи, стройность композиции. Такой зритель замечает многослойность пространства голландского пейзажа, волшебство света Рембрандта, чудо человеческого лица, запечатленного Мемлингом. И многие, многие другие детали... Эти зрители составляют некоторую часть посетителей художественных галерей, и я узнаю их лица, когда они смотрят картины... Такой зритель смотрит далее сюжета.

Существует еще один способ взаимодействия с живописью, которому я училась в течение десятилетий, очень медленно и именно благодаря Андрею, который был моим учителем. Собственно, он шел сам по этому пути, мне только иногда удавалось быть свидетелем его открытий. Слово «открытие» — ключевое. Художник совершает открытие, зритель его ви-

Личный мир

дит. И здесь оба участника процесса — зритель и художник — оказываются связаны воедино. Если открытия нет, то мы имеем дело с голым мастерством. С ремеслом. И это тоже очень важная тема: последние десятилетия концептуальное искусство почти вытеснило старое, честное искусство, связанное с высоким ремеслом. Мастерству отказали в значении, его разжаловали настолько, что многие современные художники академическому рисованию вообще не обучены. С точки зрения концептуального художника, открытие совершается исключительно интеллектуальным способом. Андрей же уважает рукоделие, продолжает оставаться мастером, и его открытия, где бы они ни происходили — в скульптуре, живописи или графике, всегда выполнены на чрезвычайно высоком техническом уровне. И всё рукотворно: подрамник, грунтовка...

«Восход солнца» недолго украшал мастерскую. В какой-то момент Андрей сказал мне, что приходил американский коллекционер и купил картину. Я расстроилась. С другой стороны, чего же расстраиваться? Художники рано или поздно расстаются со своими работами. Я скучала по картине. Ее фотография, как портрет любимого человека, стояла на столе. Полгода тому назад, когда младший сын обзавелся отдельным жильем, я попросила Андрея написать «дубль». Он долго отказывался, говорил, что ничего повторить нельзя, всё существует только один раз. Но в конце концов согласился. Написал «Восход солнца-2». Это хорошая картина. Но не такая напряженно-радостная, как первая. О чем я Андрею и сказала.

— Так можно повесить первую, — сказал Андрей.

— Ты же ее давным-давно продал! — изумилась я.

Людмила Улицкая

— Мне тоже так казалось. Но я недавно залез на антресоли, а она там лежит. Видно, я тогда американцу какую-то другую работу продал.

— А ты мне ее не подаришь? — спросила я, сама себе не веря.

— Да ради бога, — ответил Андрей.

И вот теперь я обладатель любимой картины.

С Андреем мне иногда бывает тяжело. Зато с его картинами — всегда прекрасно: они висят на стене очень тихо, ничего не говорят, а что-то меняется в воздухе от их присутствия.

БРОНЗА О МАНДЕЛЬШТАМЕ

В конце ноября 2008 года в Москве открыт был памятник поэту Мандельштаму рядом с домом, где жил когда-то брат поэта, и Осип Эмильевич в этом доме по Старосадскому переулку не раз останавливался, приезжая в Москву. Он не любил здесь бывать — в коммунальной квартире было тесно, и уютить можно было только одного человека, но не двоих. Мандельштамы предпочитали не разлучаться, и Осип Эмильевич останавливался у брата довольно редко. Но тем не менее это один из адресов, где Мандельштам останавливался, точка на мандельштамовской карте Москвы. Именно на этом месте и решено было поставить памятник Осипу Мандельштаму. Был объявлен закрытый конкурс, в котором участвовали семь, кажется, скульпторов. Первое место получил проект памятника скульпторов Елены Мунц и Дмитрия Шаховского (архитектор А. Бродский),

Личный мир

и именно этот памятник и был открыт две недели тому назад.

Идея реалистического портрета совершенно не увлекала Красулина. Он давно уже заявил, что «пиджаков не лепит». Поэтому совершенно естественным оказался путь художника к тому умозрительному пространству, откуда черпал поэт свои образы.

Речь, в сущности, шла о переводе с одного языка на другой — с языка словесного, в данном случае русского, на язык пластики, движения, в данном случае движения расплавленного воска, расплавленного металла. И поэт, и художник смотрят в одну сторону, черпают из одного источника, реализуют, каждый на своем языке, нечто сходное. Другой поэт, современник Мандельштама, сказал в тридцатые годы:

Вглядись в ту сторону, откуда
Нахлынуло всё то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду...

Результатом «вглядывания в ту сторону» явились шестьдесят четыре бронзовые фигуры, или объекты, которые появились на свет в минувшем году. Третьего декабря в Музее архитектуры Москвы имени Щусева, почти одновременно с открытием памятника Мандельштаму, открылась выставка этих работ. Должна от себя добавить несколько слов: так случилось, что в конкурсе участвовали профессионалы, объединенные многолетней дружбой и уважением. По этой причине в этом уникальном конкурсе царила исключительно дружественная атмосфера, и речи не могло быть об обычных в таких ситуациях зависти, ревности и раздражении. К тому же сам Мандельштам, его глубин-

Людмила Улицкая

ное благородство, миролюбие, причастность космическому исключали суетное отношение к теме.

Несколько слов о русской скульптуре. Строго говоря, ее нет. Или почти нет. Национальный русский гений нашел свое выражение отчасти в иконописи, связанной изначально с византийской традицией, отчасти в церковной архитектуре. Очень яркая страница — русский авангард начала XX века. Круглая скульптура отсутствует как форма в решении внешнего и внутреннего пространства русских православных храмов. В религиозном сознании икона представлялась своеобразным окном в иное неизменное пространство, в то время как скульптура является реальным объектом, зависящим от условий освещения и угла зрения.

Это и определило отсутствие традиции в русском светском искусстве до XVIII века. Первые скульптуры были либо привезены из Европы, либо сделаны в России приглашенными европейскими мастерами. Многие известные скульпторы, представители русского авангарда — Габо, Певзнер, Архипенко, Цадкин, — все-таки были вписаны в европейскую традицию, да и жили в основном в Западной Европе. В России таких значительных фигур немного: Трубецкой, Голубкина, Татлин, Королев, Матвеев. Их искусство было почти задавлено наступлением сталинского ампира.

Андрей Красулин скептически относится к памятникам как к жанру, что легко понять, поскольку его детство прошло в стране, уставленной бессчетными памятниками вождям. Еще одна — климатическая — особенность нашей страны заключается в том, что дворнику с метлой приходится сбивать с башки вож-

Личный мир

дя намерзшую снеговую шапку: картина, производящая на будущего скульптора неизгладимое впечатление в детстве.

Андрей, в сущности, с самого начала знал, что делает не памятник Мандельштаму, а место его памяти — его памятного присутствия. Абстрактная и живая пластическая форма является концентратом такого присутствия поэта в этом месте. Отсюда появление этой серии — шестидесяти с лишком пластических объектов. Это не поиск необходимого решения, не варианты отбора: каждый из объектов — фиксация мыслей и образов в процессе общения с поэтом в данный момент времени.

Андрей как скульптор работал с очень многими традиционными и помоечными материалами — от камня до мятой бумаги. В этом случае материал как будто вызвался сам — это был воск. То, что здесь представлено, — конечно, бронза, перевоплощение воска в металл. Восковой оригинал хрупок, недолговечен, плавок. Восковой оригинал при литье гибнет. Воск, пчела, осы, оси, мед — всё это живет в системе образов Осипа Мандельштама. И бронза — мандельштамовский материал. Его античность, его Рим, его Средиземноморье. Каждое легкое прикосновение отзывается звоном «атлетических дисков».

Бронза — материал, созвучный поэту. Мне кажется, что Мандельштам — самый космичный из русских поэтов XX века. Поэзия Мандельштама — улов из тех глубин, где бушует раскаленная магма, и из тех высот, где носятся ледяные облака элементарных частиц. Эти космические образы — отвлеченные, не воплощенные в видимые вещи, — Мандельштам умел

Людмила Улицкая

переводить на человеческий язык. Иногда — пронзительно и точно, иногда — таинственно и невнятно, но никогда — приблизительно. Верным доказательством тому — ожог от прикосновения к его поэзии.

Мандельштам был наблюдатель космоса, его переводчик и в этом смысле собеседник богов. А может, посредник между ними и нами, профанами. Мне кажется, он осознавал свою причастность к Олимпу — назовем это так, и легкие его были приспособлены к горному воздуху, и это обрекало его на горькое сиротство и изгойство в «эпоху москвошвея». Его земная жизнь — мытарство души по эту сторону границы. Бесы огромные, государственного значения, и мелкие, уличные и дворовые, обстояли его от юности до последней минуты. Можно лишь догадываться о том, в каком нестерпимом диссонансе он существовал — между подлинной космической родиной и убийственно унижительным бытом России тридцатых годов. Не от этой ли разности потенциалов и высекались искры его поэзии...

Точного и адекватного перевода с языка на язык не существует. Но есть приближение, пересказ, вариация на заданную тему. Эту бронзовую серию можно тоже считать вариацией на тему мандельштамовской поэзии — встречаются элементарные частицы разных вселенных. И встреча вызывает определенный резонанс.

Андрей Красулин стоит на том же берегу космического океана и смотрит в ту же сторону, что и поэт. Тот источник, который провоцировал мандельштамовские стихи, обуславливает и бронзовые откровения АК. В каком-то смысле — параллельный ряд. Иногда эта близость наглядна. «Мандельштам», при-

Личный мир

думанная еврею в XVIII веке немецкая фамилия, означает «ствол миндального дерева», «миндальное дерево». Горький запах миндаля, его праздничное белорозовое цветение, обещание триумфа автору «Ламарка», погружающего себя в эволюцию органического мира. Но вместо плодоносного осеннего триумфа — трагическая гибель в лагере, среди миллионов сходных смертей — без прощания с любимыми, без любви и мира, в заполярном холоде.

Об этом — бронзовые древообразные фигуры: недовоплотившиеся дубы, яблони, миндали. Некоторые стволы — покалеченные, деформированные, другие — лишь слегка прогнувшиеся. Автор почти отсутствует — говорит металл.

Другие скульптурные формы — модели того самого мироздания, которое так пристально разглядывал Мандельштам: синтез осинового гнезда, ленты Мебиуса, дискообразных фигур, отсылающих зрителя в любимое пространство Мандельштама — в Средиземноморье. Здесь средоточие той культуры, которая его питала, — Эллада, Рим.

Неожиданность, несоотнесенность этих объектов Красулина с конкретными вещами иногда ставит в тупик, требует напряжения, поиска на поверхности не лежащих ассоциаций. Но что делать? Банальность никогда не говорит правды. Она вся — в правдоподобию, а не в остроте открытия.

Вот уже почти сто лет, как живет в русской поэзии, в русском языке Мандельштамово слово. Оно работает как подземный ручей, невидимо питая скудную жизнь российской словесности. Мандельштам писал: «Поэзия бросает звук в архитектуру чужой души и следит за приращением звука».

Людмила Улицкая

Бронза, древний сплав меди, золота, серебра и олова, — идеальный материал для разговора о Мандельштаме.

Скульптурная серия Андрея Красулина «Бронза о Мандельштаме» и есть отзыв чужой души, «приращение звука», усиление резонанса, еще один мост между образом словесным и образом пластическим. Эти бронзовые вещи представляются мне пластическим выражением тех открытий, которые совершал Осип Мандельштам в поэзии.

КРАСУЛИН. ГОА

Нужен ли человек пейзажу? Пейзаж прекрасно обходится без человека, но в некотором смысле и не существует без него. Не получает ли берег океана или опушка леса свое бытие в тот момент, когда появляется восхищенный наблюдатель прилива, дождя, движения облаков?

Нужен ли пейзаж человеку? Современный городской человек без него обходится, создавши множество заменителей — от фотообоев до телеэкрана. Как соотносятся между собой внутреннее пространство человека и безмерное безразмерное пространство мира? Нужны ли они друг другу — мир и человек? Как они соотносятся? Достижим ли между ними баланс?

Как отвечает на эти вопросы не философ, а художник?

В сущности, художник не формулирует вопросы, не отвечает на них — он их видит. Его реакция на видимое — иероглиф, картина увиденного, преломившая-

Личный мир

ся в его глазу, сознании, душе. Вне зависимости от исторических формаций, от художественной моды, от степени дарования художника он всегда наблюдатель, интерпретатор и отчасти даже конструктор действительности.

Здесь, в этих работах, представлена история взаимоотношений художника Андрея Красулина и стометрового отрезка побережья западной части Индийского океана в районе города Мирамир.

С чего начиналась эта история? С наблюдателя, который вовсе не был художником.

Этот декабрьский день клонился к вечеру, и десятки индийцев, целыми семьями, группами от десяти до двадцати человек, молча сидели на песке и смотрели на запад, куда уходило солнце: сначала медленно опускаясь, а потом стремительно падая в океан. Около часа длилась эта мистерия на глазах бабушек, дедушек, младенцев и подростков, а также их хромых незамужних тетушек и вдовых сестер.

Стая черных птиц — галок и ворон — имела свое особое поле наблюдения — обнажившийся с отливом песок с ракушками, моллюсками и прочей мелочью, пригодной в пищу.

Они также могли видеть человека, шедшего в океан, на запад, по пояс в воде. Он шел и шел, и уровень воды не менялся. Солнце опустилось за горизонт, погасли яркие краски, всё растворилось в сумраке, и человек тоже.

Еще один наблюдатель наблюдал за наблюдающими.

С тех пор прошел год, и в течение этого года художник отработывал пережитое, возвращаясь мысленно к событиям тех минут, к той встрече с реальностью, которая произошла в декабре 2009 года. Воз-

Людмила Улицкая

никла серия графических, живописных и скульптурных работ, в которой исследуется взаимоотношение субъекта и среды — пространства внутреннего и внешнего. В процессе этого художественного исследования обнаруживается удивительный эффект перетекания одного в другое: граница между внешним и внутренним оказывается проницаемой — единый океан бытия включает в себя и светила, и воды, и человека. Пространство обнаруживает свою неделимость, проницаемость, зыбкость. Субъект, в данном случае наблюдатель, обладает всеми теми же качествами: неделимостью, проницаемостью, зыбкостью. Субъект растворяется в пространстве.

Художник показывает разные стадии этого процесса. Но прежде чем пройти по этому пути, он вынужден стать наблюдателем самого себя. Это и есть одна из стадий истории: рассмотрение себя. Задача не пустяковая: познать самого себя. Мало кому удавалась. И Красулину не суждено пройти на этом пути далеко, но движение в эту сторону сделано — художник предьявляет целую серию достаточно безжалостных автопортретов. Часть этих работ носят подготовительный, эскизный характер: фигура сама по себе, вне пространства и состояния. Ей, этой фигуре, еще предстоит войти во взаимодействие с меняющимся миром, научиться отзываться на перемены света, цвета, самой атмосферы. Художник и модель на этом этапе — одно.

Эти Гоа-картины открылись неожиданно как новая иконопись.

Не может сегодня человек рисовать дух святой в виде голубя — собственной невинности не хватает, да и про голубей биологи знают, что это одна из самых

Личный мир

агрессивных птиц. Лавочка эта закрыта. И туда не вернешься. Разве контрабандой иногда кто заглянет.

Вот и Андрей Красулин прорывается в заповедное пространство, возвращает к первоначальному пониманию слова «религия». Блаженный Августин производил слово «религия» от глагола *religere*, то есть «воссоединять», и, соответственно, религия означает воссоединение, возобновление утраченной связи между человеком и землей, человеком и небом, человеком и космосом. Какие-то оборванные нити воссоединяет в этих работах Андрей.

Обветшали многие представления, многие художественные приемы себя изжили, но как подойти к тому, что всегда известно и всегда непостижимо: человек и мир, человек и небо, человек и Бог. Слово последнее так изношено, так многосмысленно, что почти не выговаривается усталыми губами. Да Андрей этого и не произносит: он показывает только то, что удалось увидеть самому, — единство мира внешнего и внутреннего, растворение границ между этими условными мирами, возникновение того раствора, который содержит в себе птицу, человека, океан, светило. То единое дыхание, которое сквозит в пространстве.

ТРИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ПОВОДУ СНА

ЩЕЛЬ ЗА МИНУТУ ДО ПРОБУЖДЕНИЯ

Впервые имя Сальвадора Дали я услышала от моей детской подруги Любы. Она описала своими словами то, что я увидела много лет спустя: тигр, гранат, рыба, вдоль горизонта шествующие слоны и жирафы, всё разинуто — кроме жирафов — и готово друг друга пожрать.

Как удалось ей, пятнадцатилетней, раскопать в пятидесятых годах в московской театральной библиотеке несколько картинок Дали, почуять запах нового времени и сделать в доксероксные времена долгоиграющий отпечаток на сетчатке глаза, мозга, почуять острый запах другого искусства, как удалось найти слова, чтобы рассказать мне об этом открытии, а мне — удерживать всё это в памяти полстолетия?

Но я совсем ничего не знала тогда о том, что происходит за минуту до пробуждения. Зато я очень рано узнала минуту после. Когда ты уже вплыл в сегодня

Личный мир

няшний день и ищешь, как соединить перебитый за ночь кабель. Он легко соединяется, и ты оказываешься во власти вчерашнего прокисшего электричества. Кто сказал, что утро вечера мудренее? Вечер куда как мудренее — за день успеваешь примириться с мелкой шершавостью, научаешься обходить торчащие корявые вещи, не ранить свое нескладное тело об острые предметы, нарочно призванные к существованию для уязвления самых нежных участков — обратной стороны губы, глубины подмышки, темноты промежности. Никакого секса, ничего такого простого, как поступательно-возвратные радости во влажной среде. Всё гораздо серьезнее: отвращение лежит на более нижнем — или высшем? — этаже, куда дедушка Фрейд не заглядывал, и совсем не потому, что папа с мамой толкли меня в ступе, о чем я их не просила, но, как мне объясняли, подглядывала за ними из глубины обмельчавшего небытия.

В первую минуту после пробуждения необходимо найти условия для временного перемирия с шершавостью, уговорить себя не обращать внимания на молочные пенки, тошнотворные запахи кухни, трехгорлые звуки радио, топот, прыжки, похлопывания, бульканье воды из ковшика, звяканье вилки, ложки — они уже едят! — ожидание бодрого возгласа: Люська, вставай!

Я вас не просила! Холодная вода из медного крана, сопливая яичница, от которой спазм в горле, мелкие рывки гребенки по волосам: скорей, скорей, опаздываем... Тошнит? Попей водички! Ногу, другую! Так! Встань! Руку! Повернись! Мерзость прикосновений — фланель, байка, о, чулок в резинку, тугой, как резиновый жгут, подвязки, и вправду ре-

Людмила Улицкая

зиновые, с кусачими застежками, носки, валенки, шуба, шапка, поверх всего платок. Репродуктор выключается. Меня ведут в школу — по ночной темноте, по морозу.

Так до сих пор, проснувшись, я готовлю себя к этим испытаниям. Всё тот же перебитый кабель, всё то же вчерашнее электричество. А умею. Я научилась. Вдох — выдох. Еще. Руку, Господи. Спасибо. Нет? Тебя опять нет? Жаль. Вытянуться хорошо. Теперь голову чуть вправо. Иначе закружится. Осторожно, очки. Вставай! Начали. Тихонько, не торопясь. Старайся сохранять медлительность как можно дольше. Всё равно к вечеру разгонишься, летишь без тормозов, пока спина не протянется на икейском диване. Спина уже лежит, а ты всё бежишь. Тише, тише. Очки, книжка. Сегодня я не успела... Неправильно, надо начинать с другого конца, как завещала одна покойная ныне попадья: не надо перечислять то, что не успела, надо вспоминать то, что успела... Да ничего и не успела. Просто бежала изо всех сил, по привычке, по неумению остановиться. Это проблема тормозов. Так вот, скажу я вам, пустая эта минута — после пробуждения. Ничего в ней таинственного, ничего содержательного. Всё одно и то же: берешь в зубы один конец, второй, зажимаешь, и бежит вчерашний ток.

Совсем другое дело — минута до пробуждения. Привет тебе, великий труженик безумия, до которого тебе удалось-таки добраться путем тяжких тренировок и скучных упражнений. У тебя за минуту до пробуждения гранаты разевали окровавленные пасти, нацеливала жало невидимая пчела, тигры выпрыгивали и неслись в поисках кинематографичес-

Личный мир

кой добычи... как много вымышленных, нарочитых, но сновидчески убедительных вещей мелькает в эту последнюю минуту, когда ты уже не там и еще не здесь.

Нисколько не стремясь к разрыву связи, не видя в этом никакой прелести, не торопя безумие, а, напротив, испытывая к нему неодолимое отвращение, не меньшее, чем к трехголосому репродукторному вою, невыносимо насильственному воспитанию, приводящему поколения к диэнцефальному параличу мышления, к атрофии совести, аллергии на воду, апельсины, мед и другие безукоризненные вещи, я переживаю безумную минуту перед просыпанием. Ты, со своими заломленными к небесам усами, с оптимистическим безумием, мог бы мне позавидовать, о Сальваторе!

Я попадаю в щель, закатываюсь туда, как монетка в дыру кармана, между ворсистой тканью поверхности и шелком изношенной подкладки. Никакой ощеренности, никакой волнующей и несущей в себе потенциал для разворачивания действия агрессии. Щель, откуда не выбраться никогда. Если смотреть на нее сверху — это фиорд. Отвесные берега, черная вода. Это точно, это достоверно, это именно так. И лучшее доказательство заключается в том, что я никогда не видела фиордов. Следовательно, это знание первичное, полученное не пошлым путем наглядного обучения, а внедренное в тот кусок спирали, который отвечает за припоминание. То есть когда я была вольвоксом или треской. Вчувствовавшись, догадываешься, что это не ты попал в щель, а тело твое представляет собой щель. Возникает сверлящее полагывание в суставах, боль на растяжение.

Людмила Улицкая

Не только в больших — тазобедренном, коленном, — но в маленьких фалангах пальцев, и покряхтывают швы костей черепа, и всё тело, огромное, древнее, расположившееся в темных просторах космоса, не хочет сворачиваться в жалкую временную игрушку, пострадавшую от ушибов, ожогов, хирургических вмешательств, так изрядно испорченное плохим обращением, отчасти даже преступно плохим. Особенно плохо функционируют альвеолярные клетки, наполненные темной тягучей смолой, никотиновым осадком, который хуже ржавчины и плесени, хуже гнили и обывательств, мешает дыханию, приливо-отливной энергии. Как всё загажено, как безнадежно вытоптано. Жрецы костяными ножами в костяных пальцах вынимали эту испорченную требуху. Это отвратительно, но самое угнетающее, что, кроме этой щели — ничего и никого. О Господи! Где та банка с пауками? Они шевелят лапками, заползают друг на друга, совокупаются во славу Господа... Нету ни Господа, ни банки.

Безумие само по себе не существует, оно возможно лишь в присутствии светлого, божественного непомраченного разума. Они выступают в паре, они даже любят выступать в паре, как Бим и Бом. Выгодно оттеняют друг друга, незаметно для публики меняясь местами и выполняя свои резвые кульбиты на проволоке, натянутой между факультетом самой высшей математики и палатой номер шесть. Вчерашний мудрец превращается в сенильного старикашку, сенильный старикашка — в тайно сияющего святого, и только их строгий надсмотрщик неизменно вменяем. Всё здесь происходящее — в рамках обыденности. Всё, кроме минуты до просыпания. Там отсутствует при-

Личный мир

вычная реальность и ей родственное индивидуальное сознание. Эта щель — догадка о фиктивности всего остального, кроме этой щели. Вопрос о том, кто есть бабочка, а кто Ли Бо, и кто кого видит во сне — снят полностью: оба фантома порхают в том месте, которое изобразил достигший своего безумия Сальвадор. Правда, у него порхали беллетристические гранаты и тигры с естествоиспытательским привкусом, но разницы нет. И сам он скакал по тонкой ткани, отталкивался узловатыми тощими ножками в сетке синих сосудов, кувыркался, взлетал, выкрикивая и выделявая свои простодушные непристойности, но ткань выдержала его тщедушное легковесное тело, и он не провалился в щель, а лишь скользнул по ее декорированной поверхности.

В этой трещине сворачиваются белки и радуги, не говоря уже о системе координат. Электромагнитные колебания затухают, а кристаллы теряют свои хребты, электроны оседают и валяются, как умершие на лету птицы от нагрянувшего мороза. Некому мыслить, воображать, а тем более вести речи — нет ни высшего разума, ни низшего. Разговор о происхождении человека от обезьяны совершенно неуместен, как и спекуляции о происхождении самой жизни. В черную щель ухнули не только Ветхий Днями вместе со своим треном, скипетром, державой и миловидной птичкой, замершей в изобретенной впоследствии невесомости, там же растворились и силы циркулярного плодородия, с их вздыбленными детородными членами и липкими влагищами, грозные архангелы и нежные ангелы вместе с раем и адом, мелкие служебные духи и могучие природные стихии, и в этой черной вспышке за минуту до просыпания совершается догадка об

Людмила Улицкая

отсутствии всего происходящего, и ошеломленное своей фиктивностью «я» погружается в щель — ровно за минуту до просыпания. А потом она истекает, эта минута еще длящегося сна, минута до пробуждения, и тебя выносит из черного фиорда, и ты просыпаешься, чтобы связать вчерашнее с сегодняшним и забыть, поглубже забыть то, откуда вынырнул и куда — точно знаешь — предстоит вернуться.

БЕССОННИЦА

Из всех видов бессонницы — мучительной, болезненной, сводящей с ума — я рассматриваю только одну, которую назвала бы, за неимением более точного слова, бессонницей творческой. В юности я даже написала об этом стихотворение, от которого в памяти сохранилась лишь одна строфа:

Я полюбила даль бессонниц,
Их просветленный горизонт,
Где за туманом скрыты смыслы,
Но всё недостижимей сон.

Бессонница включает в себя и мелкие монотонные засыпания-просыпания на фоне одной навязчивой мысли «уснуть, уснуть, уснуть...». Это состояние более всего напоминает детскую болезнь, когда начинается жар и теряется ощущение реальности, размывается граница между сном и явью: осуществляется прорыв из прочного повседневного мира в зыбкое пространство запредельного.

Личный мир

Бессонница — самый естественный проход в мир идей Платона, в Зазеркалье Алисы, к тренажеру оракула, в чистилище, в ад, в творческую лабораторию Господа Бога наконец. Прорыв в данном случае спонтанный. Чтобы попасть туда осознанно и целенаправленно, миллионы людей во все времена использовали алкоголь, наркотики, неизвестные обычным людям практики. Подобное состояние прорыва иногда дает страстная любовь и творческий экстаз.

В двадцатые годы прошлого века поэт Осип Мандельштам в радиопередаче, посвященной молодому Гёте, сказал о «коннице бессонниц», подхлестывающей его творчество. Бессонницы связаны с творческими способностями человека, подпитывают их. Но бессонница — еще и пытка, и это знали современные палачи. Человеческий мозг нуждается в сне, так же как в воде и в кислороде.

Тот род бессонницы, о котором я говорю, — результат мягкой одержимости. Приходит она обычно, когда ты полностью поглощен работой, и она захватывает тебя настолько, что вся повседневная жизнь становится совершенно автоматической и делается бледным фоном действия, которое происходит только в твоём сознании.

Спишь ты в это время или бодрствуешь — совершенно не имеет значения. Скрытая жизнь в тебе вибрирует, и, окончательно просыпаясь среди ночи, ты осознаешь, что этот поток непрерывен. Тишина спящего дома, спящих детей и вещей так обаятельно прозрачна, что тихо, очень тихо ты встаешь, завариваешь чай и, с чашкой чая и карандашом, в состоянии, близком к невесомости, поч-

Людмила Улицкая

ти сомнамбулически, записываешь быстро, сокращая слова и теряя буквы, нечто безумно важное. А потом даже не можешь разобрать, что за счастливые обрывки приходили в голову, какие такие важные мысли, от которых не осталось ни следа, какие очищенные и промытые слова упорхнули, чтобы никогда уже не вернуться. До следующей бессонницы.

Впрочем, известно немало случаев, когда великие открытия приходили к ученым во сне. Поэт Маяковский рассказывал, что трое суток искал нужный образ, и нужное слово ему приснилось. Среди ночи он записал на папиросной коробке: «единственная нога», и поутру долго не мог понять, что значат эти странные слова. В результате родилось известное стихотворение:

Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится
забыть
какое-то в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое я буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный войной, ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Благословенна бессонница. Особенно для тех избранных, которым не надо вскакивать по будильнику, спускаться в преисподнюю метро с портфелем в руке, с завтраком в кармане, тащить невыспавшего ребенка в школу, а потом еще восемь часов служить, работать, дежурить.

СМОТРИТЕ СНЫ ВНИМАТЕЛЬНО!

*Послание, представленное в журнал «Семейник»,
издаваемый в единственном экземпляре другом
Мишей Гореликом*

Давно уже замечено, что человек приблизительно треть своей жизни спит. И таким образом просыпает очень много интересного. Приводятся даже примеры великих людей, которым для сна хватало всего нескольких часов, и их величие связывалось именно с этой способностью. Двусторонняя такая идея: мол, мало спишь, имеешь дополнительное время, чтобы «обогатить свой ум всеми знаниями, которые выработало человечество» (сами знаете, кто сказал). С другой стороны, можно и наоборот: если ты уж родился великим человеком, можешь себе позволить спать, как свинья, треть своей жизни...

Что же касается меня лично, то я, не будучи вдумчивым и проницательным ученым и даже, наоборот, порвавши окончательно и бесповоротно со всем ученым миром, его рядовыми, лейтенантами и полковниками в виде докторов наук, два из которых даже приходились мне некоторое время мужьями, совершенно убеждена, что та треть жизни, которую мы проводим с закрытыми глазами, в молчании (в крайнем случае в храпении), в тишине, не делая абсолютно ничего хорошего, не говоря уже о плохом, — это самая лучшая, самая прекрасная, полезная и благородная часть нашей жизни. Но что особенно важно: во-первых, во сне мы делаемся лучше, потому что заведомо не совершаем дурных поступков. Во-вторых, во сне мы немножечко умнеем, потому что — я знаю это совершенно точно — некие духовные существа не покладая рук над

Людмила Улицкая

нами, спящими, трудятся. Но главное, самое главное: во сне мы видим сны! (Уильям Шекспир где-то замечательно об этом говорил, но, не обладая хорошей памятью, упускаю случай блеснуть цитатой.)

Сны бывают самых разных родов и видов, жанров и темпов. Есть приключенческие, развлекательные, есть специальные старушечьи, им на утешенье: девочку увидишь — удивляться, попа — к покойнику и т.д. Это мы презираем. Есть молодежно-сексуальные, иногда тоже бывает очень интересно поучаствовать. Есть пророческие, вещие. Да, забыла, есть еще ужасно скучные, навязчивые, с выяснением отношений, такие сны, которые и снами назвать нельзя, потому что они ничем не отличаются от обыденной жизни: как ругаешься на кухне с соседкой на предмет плохо вымытой плиты наяву, так и во сне с ней доругиваешься. Это, в сущности, самая адская порода снов: как в жизни.

Сны разнообразны, увлекательны и поучительны, но это вовсе не исчерпывает сновидческого мира. Потому что, помимо снов, есть еще один род переживаний, близких к сновидениям, но ими не являющихся. Это особенное состояние, которое не есть бодрствование, но и не есть сон, поскольку из этого состояния не просыпаешься, а просто оказываешься уже проснувшимся. Я испытывала подобное состояние много раз, и опыт, который я при этом получила, был совершенно особенным, поскольку обычные сны так или иначе питаются теми впечатлениями, которые мы набираем во время бодрствования, а там, в этом третьем состоянии, опыт принципиально отличен от всего, что мы наблюдаем в действительности. Такого рода события всегда бывают очень значительны, хотя и не всегда вполне понятны. Иногда,

Личный мир

впрочем, такое событие хранится в памяти много лет, чтобы быть понятым много лет спустя.

В этом поверхностном и легковесном сообщении мне не хотелось бы рассказывать о чем-то страшном и значительном, но все-таки хотя бы о немногом, чтобы намекнуть, о чем идет речь. Итак, однажды мне привиделось некоторое существо. Оно явно не принадлежало к человеческой природе, но вне всякого сомнения было разумным. Более того, у меня даже возникло ощущение, что по своей природе оно меня умней, во всяком случае, принадлежит стихии, которая мне малопонятна. При всём том оно по отношению ко мне несло какие-то служебные функции. Это оно было для меня, а не я для него. К тому же оно было явно ко мне расположено и готово мне служить. Если говорить о том, как оно выглядело, оно было похоже на маленькую длинную собачку, вроде светленькой таксы, но передвигалось не с помощью четырех лапок, а каким-то другим способом, попластичней. Мы с ним немного пообщались, а потом настало мне время убираться в собственное пространство. И вот на границе возвращения к себе — а надо сказать, что эти границы сами по себе очень интересны, — мне было объявлено, кто оно такое. Это было число Ж4836, число очень знакомое. Слегка запнувшись, я сообразила, что это номер бельевой метки — черным по белому он был напечатан на узкой полоске полотна, пришитой на всём моем белье, которое я сдавала в прачечную. Вот такая шутка. Но с тех пор я совершенно точно знаю, что все числа представляют собой сущности, хотя и совершенно иной природы, чем мы с вами.

Еще одна встреча с числовым существом произошла несколько позже, это было чрезвычайно располо-

Людмила Улицкая

женное ко мне число 137. Признаться, я долго ломала голову, что бы такое оно могло означать. Впоследствии выяснилось, что в нашей стране имеется 137 кукольных театров (а в тот период я почти исключительно занималась сочинением пьес для кукольных театров). Этот же номер я обнаружила сегодня: на двери вашей квартиры стоит цифра 137. Мне даже пришло в голову, не обратиться ли к каббалистам для выяснения сущностей, стоящих за этими числами. Но утруждать их не стала. Интересней самой догадаться.

Дорогие друзья! Желаю вам большого успеха в сновидениях. Поверьте, если вы будете достаточно внимательны к этой стороне жизни, вас ожидает много увлекательного, интересного и полезного!

P.S. За вышеприведенное эссе я была удостоена почетной премии семьи Горелик «Ай да гость!».

ТРИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ПОВОДУ ЛЖИ

АПОЛОГИЯ

Маленький старичок с длинным носом сидит у камина и рассказывает о своих приключениях... Так начинается знаменитая книга приключений барона Иеронимуса Карла Фридриха фон Мюнхгаузена, записанная практически с его слов господином Распэ. С напоминания об этом легендарном, но реально существовавшем человеке, ставшем литературным героем, начнем наш небольшой разговор о лжи...

Если стараться быть честными, говоря о лжи, то мы вынуждены будем признать, что находимся в плену ложных представлений о мире, откуда бы мы их ни почерпнули: из Библии, из «Капитала» Маркса, из учений Платона, Аристотеля, Дарвина или самого Альберта Эйнштейна. То, что мы считали истиной вчера, сегодня обращается в свою противоположность. Правда и ложь оказались пластичны и взаимопроницаемы. Эта тесно переплетенная своими кор-

нями пара — ложный антоним, поскольку противоположностью лжи не является правда, тем более ее высшая форма — истина. Антиподом лживости скорее является честность, которая не исключает ни заблуждений, ни ошибок.

Хорошо, когда можно честно следовать евангельскому рецепту: «...да будет слово ваше “да-да”, “нет-нет”; что сверх того, то от лукавого». А если между «да» и «нет» множество ступеней и полутонов? Именно в этой неопределенной области простирается самое для человека интересное: самопознание, осознание мира, движение мысли, научное и художественное творчество.

Ложного в мире гораздо больше, чем истинного. К тому же относительно критериев истины (правды) дебаты идут не первое тысячелетие. Исследовать ложь гораздо проще, чем исследовать правду. Ложь разнообразней, богаче нюансами, в ней присутствует привлекательное игровое начало. Нет в мире, пожалуй, ни одного значительного литературного произведения, которое выжило бы, если извлечь из него ложь, умысленную или неосознанную. Величайшие книги мира — «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Король Лир», «Гамлет», «Отелло» Шекспира, «Фауст» Гёте — обязаны своим существованием исключительно лжи, ложным или сомнительным идеям, заведомо лживым героям. Но какое богатство открывается перед читателями! Какое величие открывается в этой обреченной на неудачу борьбе правды с ложью, добра со злом, жизни со смертью! Интересно, рассматривали ли когда-нибудь ложь как стимул к познанию? Пытались ли заглянуть в глаза лжи, отбросив морализаторство и ханжество?

Личный мир

Занятие, вероятно, опасное: не зря же Одиссей приказал привязать себя кожаными веревками к мачте, чтобы услышать обольстительное пение сирен и не погибнуть.

Античная мифология не порицает лжи. Хитроумный Одиссей, обманщик и лжец, — один из ее несомненных героев, а известная операция «Троянский конь», авторство которой приписывается Одиссею, и поныне считается шедевром военного искусства. Древние греки свои морально-этические положения возводили из иного строительного материала, чем последующие поколения.

История современной иудео-христианской цивилизации, антропологии в самом широком смысле слова, ведет свое начало от лжи, имевшей место в райском саду. Ложь или ее отрицание — краеугольный камень грядущего здания.

Прочитав внимательно самый читаемый текст из Книги Бытия (Быт., 3), где впервые речь идет о лжи, мы обнаруживаем, что все четверо участников описанного события вели себя далеко не безукоризненно: Бог слегка отклонился от истины, сообщив юной паре, что плодов от злополучного дерева есть нельзя, «чтобы вам не умереть». Правда, это сообщение со слов Евы, а не прямая речь Творца. Тем не менее напрашивается предположение, что Творец не полностью предупредил их о последствиях, более того, пригрозил смертью, которая предполагала, как мы узнаем из последующего текста, всего лишь изгнание из Рая. То есть Творец покривил душой.

Сатана, со своей стороны, хотя и объявлен отцом лжи, сказал нечто более похожее на правду: «Не умрете. Будете как Боги, знающие Добро и Зло». Но и это

Людмила Улицкая

утверждение тоже лишь подобие правды. И по сей день человечество не научилось безошибочному различению между этими фундаментальными предметами.

Далее начинается обычное безобразие, связанное с ложью: Бог убеждается в нарушении запрета, Адам сваливает вину на Еву, Ева — на Змея. Последствия этого события общеизвестны. Мы продолжаем жить в мире, своей пуповиной связанном с изначальной ложью первых действующих лиц. Да и сам мир — если не порождение, то следствие лжи. Чтобы смягчить это резкое высказывание, вместо слова «ложь» употребим другое — «ошибка».

Вся эта сложная история, названная «грехопадением», повествует о нарушении запрета (прообраз закона) и о последующем наказании. Именно здесь и закладывается великая тема свободы, в частности, свободы нарушения запрета. Сегодня мы не будем вязываться в эту волнующую более всего тему. Оставим ее до следующего раза.

Остановимся на лжи. Ложь начинает свое существование именно с человека. Способность лгать — чисто человеческое свойство, и здесь проходит еще один водораздел между человеком и животным.

Нравится нам теория эволюции Дарвина или вызывает отвращение, значения не имеет: в борьбе за существование в природе выживает сильнейший. Это закон эволюции биологической. В человеческом обществе — хитрейший. Иногда — подлейший.

Природа не знает нравственных критериев: комара съедает лягушка, лягушку — змея, змею — птица, птицу — человек. Приврала я совсем чуть-чуть. Но, в общем и целом, так. Если хотите большей точности, человек в наше время гораздо чаще питается ку-

Личный мир

рами, которых кормят рыбной мукой. Так или иначе, все эти длинные пищевые цепочки состоят из многих пар поедающих и поедаемых, и жизнь нашей планеты идиллию не напоминает. Но если мы говорим о животном мире, где смысл и цель существования — производство потомства, то люди, оставаясь в биологическом смысле, безусловно, животными, крайне редко заявляют, что смысл их существования — оставить потомство. Мы, человеки, вот уж которое тысячелетие ищем смысл и цель жизни в духовной сфере и нисколько не стесняемся об этом заявлять. Напротив, стоит заявить, что ты живешь «во имя детей», — рискуешь прослыть узколобым мещанином. Другое дело, когда человек объявляет, что живет во имя прекрасного будущего. На этом месте обнаруживается целое кладбище разнообразных утопий — некоторые довольно безвредные, поскольку не политы кровью, а ради других, опасных, совершены в истории гека-томбы. И не из ста быков, а из миллионов человек. Ложь идеологий тотальна, безлична, уловима лишь усилиями разума.

Идеалисты в некотором смысле опаснее для человеческой популяции, чем узколобые мещане, пошлые буржуа, разных сортов эгоисты, гедонисты и прочие реалисты, для которых чистая прибыль важнее чистого духа. Лгут, однако, и те, и другие. А вот животные — не лгут. Убивая во имя пропитания, во имя продолжения рода, они не скрывают своих намерений, разве что кошка зажмуривается, чтобы ввести в заблуждение воробья. Это не ложь, а инстинкт охотника.

Басни про коварную лису, глупого волка и падкую на лесть ворону придумали люди. Они же в свободное от борьбы за существование время породили целый

Людмила Улицкая

океан мифологий, перетекающий с континента на континент, с многообразными богами, бродячими героями и универсальными проблемами — жизни и смерти, добра и зла, правды и лжи. И все эти бинарные, как их называют, оппозиции родились вовсе не в полях, где растут одомашненные злаковые, редька и огурцы, а в полях сознания, культуры, воображения.

А что воображение? Фантазия, дым, ложь! Но также смазочный материал, без которого не работает машина технического прогресса и творческого процесса. А теперь процитирую одного политического деятеля, утопического практика и практического преступника, упоминать имя которого после перестройки в России почти неприлично: «Напрасно думают, что фантазия нужна только поэту. Это глупый предрассудок. Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности». Автор цитаты — Владимир Ленин. Лжец и обманщик, напроць лишенный артистизма.

Руки лжеца и обманщика, с которого мы начинали разговор, не запятнаны преступлениями: барон Мюнхаузен состоял на военной службе при русском императорском дворе, даже был одно время начальником почетного караула. Потомственный военный, дворянин, аристократ, с одной стороны, враль, артист и шут — с другой, великолепный и незабываемый ротмистр Российской империи фон Мюнхгаузен закончил свою жизнь в конце XVIII века, на родине, в городе Воденвердер.

Его девиз — *Mendace veritas* «Истина во лжи». И это утверждение не хуже и не лучше многих других. Три

Личный мир

летающие по гербовому полю утки — прародительницы всех газетных уток, мелкой и бескорыстной лжи и сплетни.

Рассказы отставного ротмистра собирались слушать его друзья и соседи в беседке его сада, прозванной «Павильоном лжи», или в недалеком геттингенском кабачке.

И мы, счастливые, развешиваем уши, помним эти охотничьи и неохотничьи рассказы — об олене с черешневым деревом во лбу, о семи куропатках, пронзенных одним шомполом, о взбесившейся шубе...

Незадолго до смерти разоренный и больной барон Мюнхгаузен остался с единственной ухаживающей за ним служанкой.

— Как вы потеряли два пальца на ноге? — спросила его женщина.

— Их откусил на охоте белый медведь, — ответил барон. Это была его последняя шутка.

Шутки в сторону, господа! Начинаем наконец серьезный разговор. Представляю вам замечательного религиозного философа, которого мы читали еще в советской юности, исключительно тайно и по ночам. Николай Бердяев был выслан из России в ноябре 1922 года вместе с другими деятелями культуры в количестве 500 человек, его книги были запрещены. Он уплыл из России на знаменитом «философском пароходе». Это была одна из великих и необъяснимых ленинских идей: вместо уничтожения ученые, философы и писатели, не поддержавшие социалистическую революцию, были высланы из страны — часть русской культуры оказалась спасена. Несколько цитат из статьи Бердяева «Парадокс лжи», написанной в 1939 году:

Людмила Улицкая

«Мир захлебывается от лжи. На проблему лжи слишком мало внимания обращали философы...

Лгут не только люди лживые по природе, но и люди правдивые. Лгут не только сознательно, но и бессознательно...

Люди живут в страхе, и ложь есть орудие защиты...

Структура сознания деформируется вмешательством лжи, порожденной страхом...

Существует несколько типов лжи. Но наибольшее значение имеет ложь социальная, утверждаемая как долг. Это она заполняет жизнь государств и обществ, поддерживает цивилизацию, это ею гордятся как предохранением от распада и анархии...

Современным мифам свойственна сознательно организованная ложь. В них нет наивности...

...Ложь, признанная социально полезной, сейчас достигает в мифе столь небывалых размеров и настолько деформирует сознание, что ставится вопрос о радикальном изменении отношения к истине и лжи, об исчезновении самого критерия истины.

...Ложь внушается как священный долг, долг в отношении к избранной расе, в отношении к могуществу государства, в отношении к избранному классу. Это даже не сознается как ложь.

... Ложь может даже казаться единственной истиной...»

Должна признаться, что ненавижу ложь — и большую, государственную, и маленькую, обитающую в нашей частной жизни. Всякий раз, когда я отвечаю по телефону: «Простите, я не смогу прийти во вторник, потому что как раз в этот день занята: у подруги день рождения, уезжаю в командировку, иду на концерт или сажу с внуками», вместо того, чтобы честно сказать, что не хочу сидеть на вашем собрании,

Личный мир

что меня не интересуют ваши проблемы и я не расположена тратить на них время... я испытываю глубокое раздражение на самое себя. Говорить правду всегда труднее, чем лгать.

Меня интересует природа лжи, в особенности лжи бескорыстной, которая существует, как бабочка или муравей, бессмысленно и бесцельно, разве что для того, чтобы украсить себя, лгуна, придать себе большее значение, удивить друзей или недругов своими достижениями и победами. И это совсем не просто — честно писать о лжи.

УРОКИ ОТЦА

Мой отец в свободное от работы время был страстным автолюбителем. В рабочее время он также страстно отдавался машинам — сельскохозяйственным. В частности, тракторам. Первый личный автомобиль отец приобрел в пятьдесят пятом году, когда дело врачей, последняя, уже предсмертная затея Сталина, развеялось и благосостояние нашей отчасти медицинской семьи снова укрепилось (маму в 1953 году выгнали с работы в период гонений на еврейских врачей, желающих истребить тайными ядами и убийственными операциями всех вождей коммунизма, а заодно и простых трудящихся). Мама вернулась в свою биохимическую лабораторию, защитила диссертацию по лечению дизентерии у детей и получила прибавку к зарплате. Был куплен подержанный горбатенький «москвич», «переписанный» полностью с германского «опель-кадета».

Людмила Улицкая

Теперь отец каждое воскресное утро брал промасленную телогрейку военных времен, когда он работал на танковом заводе, ложился под автомобилем, подстелив телогрейку, и в упоении проводил там весь день до сумерек. Как же он знал все эти железные потроха! Он сам чинил все неполадки, автомобильные соседи постоянно обращались к нему за консультациями, называли шутливо «профессор». Но профессором по сельскохозяйственным машинам он стал значительно позже, в начале восьмидесятых. Тогда у него самого уже была другая машина — «Жигули» — и другая жена. Потом, когда он совсем состарился, эти «Жигули» перешли ко мне, и я, признаюсь, полюбила эту машину так же страстно, как мой отец свою первую.

Развод родителей я приветствовала — и по сей день считаю, что нет в жизни большей гадости, чем плохой брак. Я уже училась в университете, изредка общалась с отцом, и именно в это время он вдруг захотел со мной дружить, чего прежде за ним не наблюдалось. Он выбрал страшно неудачную стратегию — стал рассказывать мне увлекательные истории из своей биографии. Они все были неправдоподобны, рассчитаны на глуповатого двенадцатилетнего мальчика, а не на умную восемнадцатилетнюю девочку.

Он рассказывал, как до войны он занимался в летном клубе и, совершая полет на учебном самолете, вышел на крыло, а с земли его заметил начальник этого клуба, генерал, и выгнал его немедленно со словами «авиации тебе не видать!». Правдой в этом рассказе было то, что в авиационный институт его не взяли, но, боюсь, причиной тому было то печальное обстоятельство, что мой отец был сыном «врага на-

Личный мир

рода», который отсиживал свои сроки с перерывами с тридцать первого по пятьдесят четвертый... Но как раз об этом отец никогда не говорил.

Чтобы закончить с темой авиации, придется упомянуть еще об одной истории: в 35-м году в тогдашнем пригороде Москвы разбился самолет «Максим Горький», совершавший экскурсионный полет для ударников труда — инженеров, техников и рабочих авиационного предприятия. Погибло 47 человек. Отец рассказал мне, что он должен был лететь в этом самолете, но уступил свое место другому ударнику.

История была бы очень хороша, если бы сам он не рассказывал мне, что именно в эти годы работал на метрострое, и бригада, в которой он работал слесарем, строила станцию метро «Динамо», что недалеко от моего теперешнего дома.

Информация немного не состыковывалась, и я это про себя отмечала.

Еще отец рассказывал, как в 45-м году, после окончания войны, его послали в секретную трехдневную командировку для демонтажа какого-то военного завода в Берлин, а на обратном пути он обыграл в преферанс двух генералов, с которыми ехал в одном купе. Правдой в этом рассказе было только то, что он действительно прилично играл в преферанс, всё остальное вызывает сомнения.

Другая байка о том, как он поехал на пикник с роскошной девицей, и в дороге лопнул какой-то трос, и тогда он реквизирует у девицы чулок, сделал из него трос, и они благополучно завершили поездку. Увы, я слышала уже эту историю про чулок от его второй жены, а вовсе не от роскошной девицы, на которую та сроду не была похожа.

Людмила Улицкая

Рассказы отца сыграли большую воспитательную роль: до сих пор я ненавижу ложь. Но последняя, завершающая его жизнь история была бесконечно печальна, и она в каком-то смысле примирила меня с ним.

Отец действительно был хорошим инженером. Последние тридцать лет своей жизни он посвятил тракторам. Не тем огромным, танкообразным, которые крошили почву и разрушали плодородный слой, а маленьким, легким, которые он сам конструировал. Впридачу он построил несколько машин, которые прицеплялись к этим тракторам и обеспечивали полный земледельческий цикл. Замечу, что это были годы освоения целины, хрущевских утопических попыток насадить с юга до севера России кукурузу, что-то укрупнить, что-то разукрупнить, и сельское хозяйство когда-то аграрной страны пришло в окончательный упадок.

Профессия моего отца оказалась сильно востребованной.

Накануне перестройки созрел итог трудовой жизни моего отца: на каком-то сибирском опытном заводе были изготовлены первые образцы этих замечательных прогрессивных машин, с которыми разоренное сельское хозяйство должно было возродиться. Но грянула перестройка. Отец уже доживал последние месяцы своей жизни. Я перевезла его вместе с телевизором к себе, и он медленно умирал от рака легких. И тут произошло чудо — в центральной газете была напечатана статья очень уважаемого журналиста под названием «Метод профессора Улицкого». Там было написано, какие великолепные машины сконструировал мой отец, что они идеальны для фермерского

Личный мир

хозяйства, дешевы и легки, и жрут мало горючего, и открывают большие перспективы...

Отец просмотрел статью и отложил газету в сторону. Я чуть не плакала: бедняга, слишком поздно заговорили о его детище, он даже не может порадоваться.

Дальше начались телефонные звонки: из Краснодара, Харькова, даже из Швеции. Просили документацию, готовы были немедленно взяться за производство. Я пришла в большое возбуждение, а отец отвечал всем отказами. Я ничего не могла понять. У меня мелькнула ужасная догадка — не выдумал ли он всю эту историю с легкой техникой? Наконец я приперла его к стенке: в чем дело? Где твои разработки? Почему ты не хочешь запустить в производство свои замечательные трактора?

К этому времени отец был уже пару лет на пенсии.

— Видишь ли, дело в том, что я всю документацию оставил в лаборатории...

— Ну и что?

— Там был ремонт.

— Ну и что?

— Вся документация лежала в шкафу.

— Ну?

— Я перед уходом на пенсию подарил все разработки моему заместителю.

— Ну и?

— Всё выбросили.

И он заплакал. Плачу и я. Он был легким человеком, доброжелательным и веселым. Любил хорошо покушать, слегка выпить (а потом рассказать, как принял две бутылки водки, и хоть бы что!), позабавить честную компанию старыми анекдотами и «охотничьими» рассказами. Но его не принимали всерьез,

Людмила Улицкая

даже его помощники и аспиранты, ради которых он расшибался в лепешку. И вот — единственное важное дело его жизни упокоилось в помойке...

Вот уже двадцать лет, как его нет. Я отношусь к нему всё лучше и лучше.

СКАЖИ «НЕТ»

Даже для людей с самым решительным и определенным характером наступают порой минуты сомнений. И не только в каких-то важных точках жизни — жениться или разводиться? Иногда трудно принимать решение и в незначительных случаях. А для людей с характером менее определенным жизнь порой становится совсем уж невыносимой — с утра до вечера необходимо принимать решения: что съесть на завтрак? Какую надеть рубашку? Брать зонтик или нет? И эти мучения начинаются еще до того, как человек начинает принимать решения на своем рабочем месте или в магазине, делая покупки...

Трудно принимать решения, тем более что количество предложений возрастает с каждым днем, сильно опережая потребности. Тысячи умных и профессиональных людей только тем и заняты, чтобы придумать, что бы такое привлекательное нам предложить, заставить ощутить слабый позыв желания и ответить на него легким и почти неосознанным движением к кошельку. На этом стоит общество потребления — заставить приобрести нечто совершенно не нужное, возбудить в человеке новое желание и немедленно удовлетворить его... Механика общества потребления

Личный мир

уникальна. Это самоускоряющийся механизм, его нельзя замедлить и приспособить под свой собственный темп. И сломать его нельзя, потому что он встроен в современный мир так, что проникает повсюду, и даже до мозга костей: еще вчера вы не знали о существовании новой «примочки», а сегодня уже и жизнь без нее немыслима. Ну, так мир теперь устроен, не нам с вами его переделывать.

Наряду с совершенно новыми предложениями невиданных услуг и товаров есть еще особая гонка за качеством. Это анекдот с «вечным пером». Ручка, которая будет служить вечно, часы, которые будут отщелкивать с беспрецедентной точностью время спустя много десятилетий после смерти владельца, неизнашиваемые ткани вышедших из моды костюмов и компьютеры, устаревшие, не успев сломаться.

Итак, разговор о качестве. Оно связано, как ни странно, с экологией, наукой о связях растительных и животных объектов между собой в природной среде. Каждый из нас — животный объект, потребляющий для поддержания жизни другие животные объекты, а также и растительные, которые, находясь в постоянно отравляемой среде, теряют свое прекрасное качество. Налаживаем контроль: создаем новые отрасли науки и техники, чтобы зловредные химические соединения (которые мы же и производим как побочный продукт при производстве денег из невинных химических соединений) улавливать современными средствами, на которых тоже производятся совершенно новые деньги, созданные, между прочим, уж совсем из подножной грязи. Именно этот процесс обслуживают лучшие мозги в сочетании с современными технологиями! Качество, предварительно упав

Людмила Улицкая

нашими же стараниями, снова поднимается. Правда, за качество теперь уже отдельная плата: за чистую воду, свежий воздух, за отсутствие помойки под носом, за то, чтобы в нашем сливочном масле не присутствовало машинное, а в курятине — рыба...

Но всё это касается только брэнного тела! С материей еще можно кое-как справиться, а вот что делать с духом, питающимся от высшего? Что делать будем с культурой, которая дух наш питает? Где те установки по очистке потребляемого в духовной сфере? В былые времена был один институт, который занимался фильтрацией духовных ценностей, допущенных к потреблению, назывался «цензура», но его временно закрыли. И приходится теперь человеку, который едва-едва справляется с тем, чтобы в желудок не допустить чего-нибудь зловредного, самостоятельно следить за качеством потребляемого через глаза, уши, самую душу, извините за возвышенность. И не стоит ни на каких продуктах потребления культуры этикетки «Срок годности до 1 сентября», или «Духовный яд отсутствует», или, на худой конец, «Принимать не более 1 грамма на килограмм веса», а то и честное и прямое предостережение «Опасно для жизни».

Вот она, настоящая сердцевина темы: экология потребления культурного продукта. Что читаем? Что смотрим? Что слушаем? Лично я. Мой друг и мой сосед. Мой трамвай, моя страна, в конце концов!

С десятков лет тому назад в благородной стране Англии, где водятся принцы, мажордомы и камердинеры, вышла книга о принце Чарльзе, написанная его слугой. Слуга подсматривал за хозяином в замочную скважину и сообщил почтеннейшей публике об интимной стороне жизни принца: с кем, когда и сколь-

Личный мир

ко... Это понятно. Еще Федор Михайлович Достоевский писал о желании лакея что-нибудь написать. «Пятьдесят лакеев собрались вместе, задумали написать и написали!» — восклицает генерал Епанчин в романе «Идиот». Вот когда еще это было! Но в Англии, благородной стране, — в наше время! — лакей написал скверную книгу, и ее раскупили. В один день раскупили весь тираж. Да кто раскупил-то? Такие же лакеи? Нет, благородные читатели. Диккенса не раскупили, Теккерея не раскупили, Бертрана Рассела и Арнольда Тойнби не раскупили, а пасквиль раскупили.

Что происходит, господа? Ведь не было какое-нибудь, а благородная английская публика! Что с ней случилось? Потеря собственного вкуса, потеря уважения к себе, потеря чувства юмора? Кроме неуважения к себе, просматривается и неуважение к деньгам. Ведь заработаны деньги, не на дороге найдены! Почему же так легко расстается читатель со своими кровными, чтобы купить не хлеб с маслом, не ботинки деткам, а скверную сплетню, написанную человеком, которому руку подавать нельзя. Ну хорошо, это далекие от нас англичане...

А мы сами что делаем? Посмотрите, какая чудесная картина: прекрасная блондинка, скажем, Таня Танина или Маня Манина, предлагает вам свое знание о мире, сконцентрированное в небольшом объеме и доступно написанное. Самые важные вопросы мироздания: женщинам — как завоевать миллионера, мужчине — как миллионером стать, домохозяйке — как наилучшим способом сварить суп для миллионера, миллионеру — как правильно выбрать яхту, старичку — как вернуть половую энергию, старушке —

Людмила Улицкая

утраченную молодость. Все ответы на все вопросы, в сжатой и незамысловатой форме, цена книги невелика, эффект обещан стопроцентный, тираж получается — убойный.

Кто в дураках? Ну конечно, не Маня Танина. Мы, добрые читатели, всегда готовы раскрыть кошелек, купить на грош пятаков, пролистать это школьное сочинение сбившейся с пути пятиклассницы и сунуть его в урну. Но ведь купили же!

После окончания сезона в каждой гостинице от трех до пяти звезд, от берегов Турции до Гренландии, собираются целые библиотеки этой макулатуры по всем жанрам литературы, науки и техники. Эта экологическая проблема легко разрешима: с переработкой бумаги всё обустроено отлично. Вторбумага в некоторых отношениях даже лучше той, что сделана из настоящей древесины. Но вторая экологическая проблема — как выводить из отравленного мозга эту заразу, этот зловредный грибок, разъедающий каждого в отдельности и всех вместе.

Кроме потери драгоценного времени жизни, кроме всепроникающего призыва «Потребляйте! Потребляйте! Потребляйте!», сеющего в душе беспокойство и даже смятение, — другие уже успели, а я-то как же? По известному еврейскому анекдоту: «Сима, посмотри, дети Рабиновича уже блюют, а наши еще и не кушали!»

Реклама напирает, сопротивление снижается. Происходит, может быть, еще не вполне отрефлектированный процесс снижения уровня, переход на низшую ступень развития. Закончивший десятилетку и какой-никакой институт человек, способный прочитать «Капитанскую дочку» (все слова понимает!),

Личный мир

сдать экзамен по химии и геометрии, запомнить две сотни картин и два десятка фильмов, следуя напору коммерческой рекламы или собственной лени, начинает потреблять непотребное и сам не замечает, как его речь, его душевные движения уплощаются, редуцируются, мышление сворачивается до самого элементарного, и даже начинает казаться, что решение всех жизненных проблем висит на листке отрывного календаря.

Хочется крикнуть: «Караул! Грабят!» Но ведь это не так. Кричать некому. Этот вопль может быть обращен только к самому себе: что ты берешь в руки? Посмотри! Кажется, это Маня Танина учит тебя жить? А может, сказать «нет»? Трудное слово «нет»? Или сдаться и согласиться на тотальный, проникающий во все поры существования обман?

БЕЗ ДИПЛОМА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО КРЫСЕ

На собственную жизнь иногда полезно бывает взглянуть глазами археолога, просмотреть ее по слоям. И удивительно, как иногда маленькие, совершенно незначительные события по мере их удаления оказываются важнейшими, поворотными точками. В этой редкой и драгоценной точке тебе предлагается сделать выбор, совершить свободное действие, не вынужденное сцеплениями разнообразных обстоятельств, и вот ты совершаешь шаг, иногда совершенно интуитивно, даже не понимая важности происходящего. Иногда, как в детской игре, делаешь ход, и пускаешься по совершенно ложному, лишнему кругу, и тратишь годы жизни, и много сил на это истощается...

С детства моего было как-то заранее решено, что я буду биологом, как мама. И я поступала в университет, и в первый год не прошла. И опять было семейно решено, что я год поработаю лаборантом, а потом буду поступать снова.

Личный мир

Я пришла в лабораторию, прекрасную стеклянно-белую лабораторию со множеством шкафов и стеллажей, с медными сверкающими старинными микроскопами и микротомами, с торсионными весами под круглым колпаком из неравномерно утолщенного стекла, стоящими на прочном столике красного дерева. У высокого лабораторного стола стояла очень стройная женщина с черно-седым пучком, восточными глазами и слишком маленьким расстоянием между носом и верхней губой. В ее лице была чистоплотность, брезгливость, тщательность и еще что-то значительное, неузнаваемое... Халат сверкал высокогорной белизной, руки были хирургически чистыми, а крепкими плотными пальцами она совершала мельчайшие ювелирные движения. Крошечные причудливой формы ножницы и тонкий пинцет легко прикасались к атласно-розовому пузырьку, лежащему на предметном стекле. Рядом стояла целая шеренга бюксов и отталкивающий зубоврачебный лоток, прикрытый марлей.

— Добрый день, я к вам, — робко сказала я ей в спину. Она, не оглянувшись, кивнула:

— Подойди поближе и смотри, что я делаю.

И тут я увидела, что она делает. Ученая дама вела тончайший надрез вдоль крохотного черепа и аккуратнейшим образом снимала пинцетом пластинку кости с детский ноготь толщиной, чтобы не повредить нежное сероватое вещество, высочайшее из всех, созданных природой... Обнажились два удлинённых полушария, две миниатюрные обонятельные доли: ни одной царапины не было на этом сдвоенном зерне. Мозг перламутрово блестел. Пинцетом она перекусила продолговатый мозг там, где он соединялся со спинным, шпателем приподняла эту мерцающую

Людмила Улицкая

жемчужину, и я заметила изнутри легчайшую сетку сосудов, еле видимых глазом. В отрыве от чаши, в которой он только что лежал, мозг казался архитектурным сооружением — он соскользнул с хромированной лопаточки в бюкс, наполненный прозрачной жидкостью...

Ученая дама приподняла марлевую салфетку с лотка — в нем шевелилось несколько новорожденных крысят вперемешку с обезглавленными туловищами, головки от которых были только что принесены в жертву великому и кровожадному богу, имя которого в данном случае было Наука. От этого незаконного сочетания живого, доверчивого и шевелящегося, и мертвого, обезглавленного, «декапитированного» — это слово мне предстояло узнать через несколько минут, — тошнота поднялась от желудка к самому горлу. Я проглотила жидкую слюну...

— Крыски мои, — проворковала ученая дама, взяла живого крысенка двумя пальцами, погладила по еле заметной хребтинке другими ножницами, покрупнее, лежащими слева от лотка, точно и аккуратно отрезала головку. Слегка вздрогнувшее тело, ненужный остаток, она сбросила обратно в лоток, а головку любовно уложила на предметное стекло. После чего испытующе посмотрела на меня и спросила с оттенком странной гордости:

— Так можешь?

Господи, Господи, Господи... Каким только испытаниям Ты нас не подвергаешь! И Авраам положил сына своего на жертвенник и вознес нож, но Ангел Господень остановил его руку... Как изменились меры и веса... Но каждый из тех, кто совершает это движение, бывает спрошен в некий единственный миг: можешь?

Личный мир

— Могу, — сказала я, хорошая восемнадцатилетняя девочка, мужественно справившись с позывом к рвоте, — могу, — и взяла в левую руку атласную розовую пакость, а в правую холодные, прекрасно подогнанные по руке ножницы, и, зажав просвещенным разумом глупую душу, нажала на верхнее кольцо. Головка упала на предметное стекло.

— Молодец, — похвалила теплым голосом Тамара Павловна — вот так ее звали.

Не знаю, как вы, лично я на Страшном суде буду стоять по колено в резаных крысах. Если только — Лев Шестов, любитель животных, помолись обо мне! — Господь Бог действительно не захочет бывшее сделать небывшим. Для размышлений на эту тему у меня было несколько десятилетий.

Но тогда со всем рвением отличника я предалась уничтожению крысят, специально для этой цели размножаемых в лабораторном виварии. Мне не так уж часто приходилось отрезать головы. Большая часть времени уходила на тонкое и кропотливое дело — приготовление гистологических препаратов, которое я освоила в немецком совершенстве. Варила гематоксилины чуть ли не по средневековым прописям, часами выпаривала, отстаивала, фильтровала, перегоняла, и тщеславие мое росло, опережая даже столь быстро приобретаемые профессиональные навыки.

Вся длительная процедура приготовления препарата, начиная от декапитации, проводки ткани по многим растворам, резки тяжелым микротомным ножом матового парафинового кубика, содержащего внутри себя равномерно пропитанный парафином мозг, до наклейки микронных срезов на стекло и двуцветной окраски, была изучена мною во всех потаенных дета-

Людмила Улицкая

лях. Я помогала руководительнице налаживать хитрую операцию, проводимую на беременных крысах: вынимали, расправляя по обе стороны разреза, дву-рогую матку, и сквозь ее натянутую лоснистую оболочку прокалывали плод, норовя попасть ему в самое темечко, туда, где в развилке, образуемой схождением полушарий и мозжечка, в глубине, была расположена некая тайная железа, а возле нее проток, который надо было искусственным путем закупорить, чтобы вызвать таким образом экспериментальную гидроцефалию, то есть водянку мозга. Все эти рукодельные ухищрения в конечном счете должны были привести к пониманию причин этого заболевания у детей и в еще более конечном, самом конечном счете избавить человечество от этого тяжелого, но, к счастью, довольно редкого недуга...

Хирургическая практика мне тоже удавалась. Моя страсть к работе была бескорыстна и самоценна: докторскую диссертацию защищала моя руководительница, а я только ходила на подготовительные курсы в университет. Но я была образцовым лаборантом, мне был доверен ключ от шкафчика, в котором хранились хирургические инструменты. Теперь каждый, кому предстояло спускаться в операционную, находящуюся в полуподвальном этаже, обращался ко мне за корнцангами, скальпелями, кусачками и пилами, страшными и красивыми орудиями. Там, внизу, в операционной, резали, кроме крыс, еще и кроликов, кошек и собак.

Я так подробно на этом останавливаюсь, потому что именно на этом месте мне впервые открылось подлинное проклятие профессионализма.

Лаборатория изучала строение и развитие мозга: морфологи, гистологи и врачи наблюдали в окуляры

Личный мир

примитивных микроскопов за растущими капиллярами мозга, выслеживали тайны новых проводящих путей взамен пораженных и дефектных. Это была старинная, едва ли не XIX века, методика. Тушь вводили в кровеносную систему, кровь постепенно замещалась ею и на приготовленных впоследствии препаратах можно было наблюдать эти отчетливые темные веточки, набитые зернистой темно-серой тушью. Наиболее эффективно методика работала в случае, когда наливку начинали на живом материале. Сердце еще билось, не успев разобраться, что вместо живой красной крови гонит черную мертвую жидкость, и лишь постепенно, изнемогая от кислородного голода, замедлялось и останавливалось.

Однако чаще наливку производили на уже умершем животном, предварительно подвергнутом разным интересным научным воздействиям. Наборы инструментов для мертвого и живого несколько различались, и всякий раз, когда кто-нибудь спускался в операционную, я выдавала нужный набор инструментов.

Миловидная, припадающая на одну ногу лаборантка Зоя с лотком, прикрытым пленкой, попросила у меня набор инструментов для наливки.

— Кого наливаешь? — спросила я.

— Плод человеческий, — ответила Зоя.

Я звякнула ключом, отпирая металлические драгоценности, вытащила и сосчитала всю эту старую, привезенную еще до революции хирургическую дребедень и, перебирая зажимы, между прочим спросила:

— Живой, мертвый?

— Мертвый, — спокойно ответила миловидная Зоя и стала неровно спускаться вниз по крутой лестнице.

Людмила Улицкая

Вот тут-то я села на стул и обмерла: меня ведь не спросили, могу ли я убить живого ребенка, но свое согласие я выразила механически, следуя профессиональной логике, и оказалась в той ловушке, в которую попали сотни добросовестных врачей, исследовавших возможности адаптации человеческого организма к холоду, на материале, так или иначе обреченном на уничтожение. Тогда речь шла о заключенных концлагерей. Доктор Менгеле!

Так в довольно юном возрасте я была поставлена перед весьма значительной проблемой, которая одним своим краем располагалась в пространстве материальном, вполне зримом, а другим уходила в иррациональное, словами трудно выразимое.

Как выяснилось впоследствии, это не я ставила эксперимент — на мне поставили эксперимент. Этого высшего экспериментатора можно назвать любым именем — бог, дьявол, долг, любая сильная идея — существо дела от этого не меняется.

Этот эпизод в почти неизменном виде вошел в мой роман «Казус Кукоцкого», именно от этой точки начались мои размышления в области научной и медицинской этики...

Вопрос «Можешь ли ты это сделать?» задают в какой-то день жизни каждому человеку, и он, из глубины своей души, решает, может ли он отрезать голову паршивому крысенку и хочет ли он вообще это делать. Таким образом, каждый сам определяет границы своих личных возможностей.

Сегодня я предьявляю свой собственный опыт, который говорит о том, что у живущего человека есть возможность остановиться, подумать и вернуться к исходной точке.

Личный мир

Однажды я сказала: «Да, могу». Потом, спустя какое-то время, сказала: «Нет, не хочу». И этот шанс есть у каждого, кто сегодня держит в руках ножницы, автомат, пробирку со смертоносным вирусом или еще какую-нибудь мерзость, и вовсе не для своего удовольствия, а во имя одной из великих идей, которые давно требуют проверки.

«Меня всегда интересовал частный человек...»

(из интервью)

— Вы писатель-ученый? Или ученый-писатель? Кем себя ощущаете в большей степени? Насколько наука и искусство помогают ответить на вопрос «кто я?»

— Должна признаться, что проблема самоидентификации в теперешнем отрезке жизни меня совершенно не занимает. Я очень люблю известный американский тест-анекдот: у человека спрашивают, «Кто вы?», и он отвечает, определяя себя через различные категории и группы людей, например я — турок, я — инженер, я — гомосексуалист, я — патриот, я — диабетик. Таким образом, человек не только отвечает на неопределенно заданный вопрос, к какой группе он действительно относится, но и определяет свою ценностную шкалу. Один процент людей отвечает на этот вопрос так, как я ответила в свое время, а именно: «Я — Люся Улицкая». Таким образом я определила себя в первую очередь как отдельную человеческую особь с определенным уникальным свойством (имя и фамилия).

Людмила Улицкая

Теперь о профессиональной ориентации. Я давно уже не ученый и, если быть откровенной, не успела ученым стать — я закончила кафедру генетики МГУ, получила стажировку в Институте общей генетики Академии наук, сдала кандидатские экзамены по специальности и по языку, работала по теме «Наследование алкоголь-дегидрогеназы», по окончании стажировки была изгнана вместе со всей лабораторией, которую закрыли по «самиздатскому» делу. Поступила в кое-какую заочную аспирантуру, где немного посостояла, съездила в долгую интереснейшую командировку в Туркмению, в Восточные Кара-Кумы, и на том завершила карьеру. Так что я не ученый, я всего лишь получила хорошее естественно-научное образование.

Учение было изумительно интересным, это был толчок со стороны мамы-биохимика, хотя я немного колебалась в сторону медицины. Мое писательство произошло, с одной стороны, на пустом месте, с другой — на месте, унавоженном моими предками. Прабабка писала стихи, бабушка — очерки в газету «Гудок» и еще кое-куда, дедушка, несмотря на многолетний лагерный срок, — автор трех работ в очень разных областях: от демографии до музыки. А папина книга «Мой друг автомобиль» о том, как надо починять карбюраторы и прочие организмы машины, лежа под ней на старой телогрейке, стоит где-то на полке. Так что генетика налицо.

Тяга к творчеству — коренное свойство биологического вида, к которому мы принадлежим. А в каком направлении совершается это творчество — в области науки или в области искусства, — не представляется мне важным. Счастье ученого, разглядевшего

Личный мир

в темноте природы новое явление, понявшего его механику, равно счастью художника, создавшего свой шедевр, а также ребенка, построившего замок на кромке воды. Всё это происходит из одного корня.

Конечно, именно как бывший ученый, как человек, научившийся с детства поражаться гениальности мира, в котором мы живем, я не могу отречься от этого мироощущения и в писательском деле. Что же касается определенного рационализма, свойственного ученым, я не думаю, что он каким-то образом определяет мое письмо. Я скорее отношу себя к людям, которые стремятся жить «по чувству». И, соответственно, «пупок», или как там назвать творческий орган, для меня чрезвычайно важен. По этой причине вопрос, который мне задан, — это скорее вопрос для моих критиков и читателей: чувствуют ли они за текстом присутствие человека с естественно-научным образованием? Для меня самой это очень важно, это в большой степени определяет мое отношение к человеку и миру.

— Утверждаете, что для Вас произведение состоялось, если в нем есть «личное открытие». В такой исследовательской позиции сказывается амбициозность ученого или потребность художника?

— После всего мною сказанного об эфемерности этого различия остается лишь заметить, что я не нахожу здесь существенной разности. И в том и другом случае это область «художества» в державинском смысле. Боюсь, что открытия в научных областях вызвали гораздо больше сопротивления и борьбы, чем в области художественной. Только в Новом времени произведения искусства стали способны «скандали-

Людмила Улицкая

зировать» общество — как импрессионизм в конце XIX или абстракционизм в начале XX века. Новации в искусстве, не связанные напрямую с техническим прогрессом, не имели столь глубоких последствий для жизни общества, как научные и технические прорывы. Но есть шкала, в которой искусство стоит выше, чем наука.

К тому же, замечу, самые дерзкие и неожиданные шаги в искусстве не приводят к таким катастрофическим для человечества результатам, как те, которые последовали за открытием явления радиоактивности или биоорганического синтеза.

— *Применимы ли научные методы в литературе? Как относитесь к определению Юрия Михайловича Лотмана, что «генетика сюжета — это символ»?*

— В области структурализма я человек малообразованный. Книги Лотмана, Гаспарова и еще нескольких «гуманитарных гениев» нашего времени, адресованные обычному читателю «среднего звена», я читаю с величайшим удовольствием, но теоретические исследования этих эрудитов не всегда мне понятны, а порой и просто скучны. Почему «генетика сюжета — это символ»? Этого я не понимаю. И символ чего — я не понимаю.

— *Что создает личность — генетика или социум? В своем развитии человек претерпел более существенные изменения как биологический или психологический вид?*

— Что создает личность — об этом книга Умберто Эко, одного из самых ярких современных мыслителей, ученых и писателей. Роман называется «Волшебное пламя царицы Лоаны». Он дает свой ответ на

Личный мир

этот вопрос, но он лежит не в плоскости «генетика или социум», а в несколько иной — «генетика или культура». Картина и печальная, и трогательная: если из человека вычтешь культурную составляющую, то ядро личности окажется гораздо меньшим, чем мы вообразаем.

Кроме того, я скажу вещь, которая, быть может, покажется вам странной. Генетика в том смысле, который вы вкладываете в этот вопрос, есть всего лишь бросание игральных костей, на которых написаны, в конечном счете, качества будущего человека. Но мне личность представляется не просто монтажом качеств, даже психических, а кристалликом или пузырьком иного состава. Ближе всего — монады Лейбница. Многие современные исследователи с этим не согласны. Что касается вашего выражения «психологический вид», оно представляется мне вполне неудачным. Я никогда не сталкивалась с таким понятием, как «психологический вид». Про биологический — более или менее понятно. Мне представляется — я разговаривала об этом и с антропологами, и некоторые со мной солидарны, — что *Homo sapiens* как вид переживает очень бурную эволюцию. Знаете, эволюционная биология знает такие случаи, когда вид в относительно неизменном виде существует многие миллионы лет, а потом с ним вдруг что-то начинает происходить, не объяснимое наукой, и он в течение относительно короткого времени выбрасывает из себя новую ветку, разделяется на два подвида, а потом они обособляются в новые виды.

Я не хочу сказать, что кошки произошли от собаки. Гораздо раньше, с иными предками этих современных видов, могло нечто такое произойти.

Людмила Улицкая

Человек, оставаясь по всем признакам животным, несомненно, обладает отличием или отличиями, связанными с его сознанием, — осознанием себя. Возможно, мы вступили как вид в такой «острый» период. Происходит гормональная перестройка, перестройка сознания, и эти процессы связаны с изменением планеты как местообитания, с одной стороны, а с другой — с модификацией цивилизации, что в свою очередь сопряжено и с изменением сознания. Сегодня об этом много думают специалисты. Совершенно очевидно, что человечество переживает в последнее время (сотню лет) беспрецедентный кризис. Об этом недавно написал книгу еще один великий ученый и мыслитель, английский астроном Мартин Рис.

— *Что более полно объясняет человека — наука (биология, химия, психология, история) или искусство?*

— Думаю, что наука. Если формулировать вопрос таким образом, то искусство становится тоже одним из объектов, которые будут исследоваться научными методами.

Беседовала Екатерина Кузнецова.

Журнал «Персона», № 6–7, 2008

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ

Ничто этого не предвещало, если честно говорить. Я выбрала профессию рано и осознанно: хотела стать врачом. Но к окончанию школы чуть сдвинулась в своих намерениях и начала поступать на био-

Личный мир

фак. Именно «начала», потому как поступила с третьего захода, уже имея двухлетний стаж по профессии — работала два года в Институте педиатрии, в отделе по изучению развития мозга. Мама моя несет ответственность за этот выбор, и я ей по гроб жизни благодарна. Она сама закончила биофак в последний предвоенный год и всю жизнь работала в медицинских учреждениях, сначала в том же Институте педиатрии, а последние двадцать лет в Институте радиологии и рентгенологии заведовала биохимической лабораторией.

Среди удач больших и малых эта — главная: прежде чем стать писателем, я получила естественно-научное образование, закончила биологический факультет МГУ по специальности «Генетика», успела до того, как выгнали, немного поработать в Институте общей генетики и на всю жизнь сохранила восторг перед научным знанием.

В каком-то смысле я и не меняла моей профессии: если в более ранние годы меня интересовала природа человека в биологическом смысле, то с годами объект моего интереса не изменился, но сменился инструментарий — не микроскоп, препараты и биохимия, а один только карандаш, эволюционировавший в течение моей жизни в компьютер. Но речь всё о том же — о природе человека.

Вторая удача состояла в том, что мне было около пятидесяти, когда началась моя литературная карьера. Все мои сверстники давно уже были в генералах, а я — рядовой необученный. И это дало мне замечательное чувство свободы: куда торопиться, меня все давно обогнали, и я могу играть в увлекательную игру складывания слов, героев, сюжетов, совершенно

Людмила Улицкая

ни на кого не оглядываясь. Другие — профессионалы, а я — волонтер! Не получится — найду себе еще какое-нибудь применение. Так до сих пор с этим чувством временности моего писательского занятия и живу. К нему прибавляется также с годами всё возрастающее чувство временности моего пребывания здесь вообще. Одно другому не мешает.

Главное качество, необходимое писателю, по моим понятиям, — графомания. То есть страстная любовь к письму. Качество необходимое, но не достаточное. Я, как научилась буквам, так и начала писать: записки, дневники, какие-то клочки фраз на промокашках, письма. Потом научилась писать в рифму. Большое открытие! Время от времени и по сей день что-нибудь нацарапаю, с ограниченным применением рифм. Стихи писать все-таки стыдно в наше время на русском языке. Перед лицом великих поэтов — как можно? Разве шутя, играючи, как Дмитрий Быков, или по секрету. Во времена любовных припадков я много написала уж-жасно пронзительных стихов. Это явление гормональное.

Любовь — работа духа. Всё ж тела
В работе этой не без соучастья.
Влагаешь руку в руку — что за счастье!
Для градусов душевного тепла
И жара тяжкого телесной страсти —
Одна шкала.

Спасибо Наташе Горбаневской, она меня притормозила, сказала: займись лучше чем-нибудь другим. Мне в те годы было шестнадцать лет. Я занялась другим. Но стихи потихоньку писала. Правда, больше не

Личный мир

показывала никому. Спустя много лет, влюбившись по уши, опять взялась за стихи. Очень острое состояние. Хорошо, что адресат был великодушный. Ну, отчасти ему даже нравилось, что меня так прошибает. Я и до сих пор иногда ему пишу какое-нибудь дорожно-путевое стихотворение. Но поскольку мы не так уж часто расстаемся, то, соответственно, я его особенно своими стихами не донимаю.

Признаюсь, ни один вид письма не доставляет такого острого наслаждения, как стихотворный.

В семьдесят девятом году, еще до всякого писательства, я угодила в «точку нуля». Профессию я к тому времени вполне утратила — генетика развивалась в бешеном темпе, объем знаний увеличивался в геометрической прогрессии, а я к этому времени девять лет не работала, растеряла и то, что когда-то знала; дети вышли из младенческого состояния; я развелась с мужем. И возникло одуряющее чувство независимости и полной свободы.

Я собралась работать — в биохимической лаборатории, делать анализы мочи и крови. Квалификация вполне позволяла. Но тут я получила совершенно шальное предложение: мне предложили роль завлита Камерного еврейского музыкального театра. Слово «роль» я использовала неслучайно. Как выяснилось впоследствии, в этом театре большая часть сотрудников играла роли — кто артистов, кто певцов, кто музыкантов. Настоящих профессионалов почти не было. Но это я позже поняла. Я недолго колебалась, дня два, некоторый авантюризм моего характера сработал, и я вышла на работу, с которой меня связывало только театральное прошлое моей бабушки Марии Петровны: ей тоже как-то подфартило, и она прора-

Людмила Улицкая

ботала несколько месяцев завлитом у Охлопкова. Это было во время войны.

Второе качество, полезное в еврейском театре, помимо легкомысленной и авантюрной безответственности, — подходящая национальность. Она-то в наличии была, но еврейского языка — никакого! Ни того ни другого! Для завлита театра, играющего на языке идиш, — по меньшей мере оригинально. Но я не была одинока — в театре почти никто и не знал языка идиш. Были два педагога, бывшие актеры ГОСЕТа, носители уходящего в историю языка. Я вздула остатки немецкого и принялась за изучение ивритского алфавита. Второй раз! Первый раз прадед обучал в пятилетнем возрасте. Чтобы закрыть эту постыдную тему, сразу скажу: было еще несколько попыток изучения «алеф-бейт», но скорость забывания намного превосходила скорость обучения. На мне, по всей видимости, закончился семейный потенциал еврейства.

В еврейском театре я проработала три года — с 1979-го по 1982-й. Главный итог этой занятой, шептунной и хаотической деятельности — ушла с твердым намерением никогда больше не ходить ни на какую службу. Решила стать надомником. А что именно я буду делать на дому — неизвестно. После театра я вошла во вкус литературной работы: вроде всё там получалось. Достижений, собственно, никаких. Написала несколько пьес. Одну, между прочим, в стихах. Мюзикл называется. Конечно, никто моих сочинений тогда не поставил. Смешно сказать, что одна из пьес того времени идет сейчас во многих театрах, называется «Мой внук Вениамин». Не стыдно.

Восьмидесятые годы я упражнялась в драматургии. Написала несколько пьес для детских театров, сцена-

Личный мир

риев мультипликационных фильмов и даже игровых. Решила, что пора поучиться чему-то новому. Сценарная работа казалась мне привлекательной. Но свой шанс я упустила еще в 79-м году. Сценарист Валерий Фрид набирал в тот год свою мастерскую на сценарных курсах. Я отнесла ему свой первый сценарий. Он его прочитал и сказал, что меня не возьмет. И добавил, что я всё умею и нечему мне учиться. Надо работать. Я и так уже работала в театре...

В конце восьмидесятых начала писать рассказы, и сложился сборник.

Первые мои книги — сборник рассказов «Бедные родственники» и повесть «Сонечка».

Если считать, что публикация первой книги и является рождением писателя, то местом моего рождения придется считать Францию, год 1993. Франция меня действительно приласкала: первая публикация книги, первая литературная награда — премия Медици в 1996 году, а потом еще два французских ордена. Не будучи особенно тщеславной, я с приятным чувством воображаю, как мои внуки будут вынимать из коробочек эти очень красивые ордена своей покойной бабушки... Радует меня это еще и по той причине, что прочерчивается какая-то красивая линия от предков к потомкам: и я в пятилетнем возрасте играла Георгиевским крестом моего прадеда!

История первой французской публикации неправдоподобна: начинающему автору было пятьдесят лет, на русском языке никаких книг не было. Издательство «Галлимар» в первый раз за свою историю издало книгу неизвестного автора, не имеющего в своей собственной стране ничего, кроме нескольких журнальных публикаций.

Людмила Улицкая

Контракт от французов я получила в 1991 году — советская власть как раз кончилась. Я даже не побывала советским писателем. Не довелось.

Так случилось, что первый сборник по-русски вышел уже после французского. Дома, в России, меня знать не знали, и первый тираж сборника «Бедные родственники» так и остался нераспроданным. А я и не рассчитывала на успех: мне тогда казалось — в глубине души я и сейчас не вполне рассталась с этой идеей, — что я пишу исключительно для своих друзей, в крайнем случае для друзей моих друзей, а их не так и много.

Первый литературный успех в России — присутствие моей повести «Сонечка» в шорт-листе Букеровской премии. «Сонечка» была опубликована в «Новом мире». Накануне церемонии, когда результаты еще не были оглашены, мне предложили написать речь на случай (возможного!) присуждения мне премии. Премии я не получила, и по этому поводу устроила вечеринку для друзей, на которой прочла эту заранее написанную речь. Привожу ее ниже.

С тех пор прошло много лет, и Букеровскую премию я получила в 2001 году за роман «Казус Кукоцкого», и еще много всяких премий, российских и иностранных, и написала много книг, и теперь, не испытывая никакой неловкости, говорю — да, я писатель. Я научилась выступать перед большими и маленькими залами, набитыми людьми, отвечать на вопросы, давать интервью и принимать участие в круглых столах. Я прекрасно могла бы обойтись без всего этого, но теперь я знаю, что это общение входит в профессию.

Многим людям кажется, что писатель знает больше, чем обыкновенный человек. В этом и заключается

ся профессиональный соблазн: некоторым писателям кажется, что они действительно знают больше, чем другие люди. Писательство — вредное производство, надо бы давать молоко «за вредность».

В нашей части света к этому добавляется еще один предрассудок: считается, что книга может влиять на общественное сознание, даже поменять жизнь. Это глубочайшее заблуждение. История великого историко-художественного произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», повествующего о репрессиях, осуществляемых по распоряжению советской власти специальными крательными организациями — ЧК-НКВД-КГБ и тому подобными, — горькое тому подтверждение. Созданная в 1958–1967 годах эпопея была опубликована на Западе, прожила целое двадцатилетие в «самиздатских» перепечатках в России и была издана на родине в 1990 году. Книга, проливающая свет на истязание народа в советский период, переворачивает душу и сознание. А дальше что? Не прошло и десяти лет с публикации «Архипелага Гулага», как страна получила нового президента — подполковника КГБ! Не с неба свалился! Напрашивается вывод: книга не была прочитана!

О каком влиянии книг на жизнь общества можно говорить? Книжки плохо читают, плохо понимают, быстро забывают, не извлекают никаких уроков из прочитанного. Да что говорить о Солженицыне? Был две тысячи лет тому назад случай еще более убедительный. Всё о том же — о тщете Слова.

Но люди всё пишут и пишут. Сочиняют тексты. И все они, разными буквами и знаками написанные, великие и неизвестные, на языках разных, прекрасных и корявых, создают единый текст бытия нашего ми-

Людмила Улицкая

ра, нашего вида, и одни это делают лучше, другие хуже, и качество частного сообщения не имеет никакого значения. Текст этот велик в своей совокупности...

Что касается меня: за мной надо присматривать, вовремя одергивать, потому что впадаю в пафос, и нет ничего более смешного в наше строгое время, уставшее от возвышенности и патетики, утерявшее доверие к любому идеализму.

Само по себе писательство — занятие не вредное, но весьма эгоцентричное. Зато оно само по себе вынуждает человека к обдумыванию, к формулированию всяких не очень определенных вещей, приучает к вниманию. Это занятие требует точности и честности — ложь, как ни странно, лучше видна на бумаге, чем в устной речи. Оно не любит болтовни: мне приходится саму себя сокращать, и я еще не научилась делать это достаточно строго. Признаюсь, если бы мне пришлось заново выбирать себе профессию, я бы снова выбрала биологию. Но поздно об этом говорить.

За последние двадцать лет мною было написано довольно много книг. В какой-то момент я заметила, что я всё время живу во времени, предшествующем настоящему: как будто возвращаюсь в свое прошлое и заново проживаю время своей молодости, отчасти упуская реальное. Семидесятые, восьмидесятые, граница девяностых. Но с другим опытом, знаниями, с другой оптикой. Это очень увлекательно. Я совершила множество мельчайших открытий, оставшихся почти незамеченными, и испытала много радости от удачного расположения слов в предложении. Многому научилась. Главное, наверное, — я научилась читать. Мне стала гораздо яснее изнан-

ка текста, логика повествования, тайна счастливого соседства слов и отчаяние невысказанности. Я стала еще осознаннее любить Пушкина и Толстого, Бунина и Набокова, заново полюбила Пастернака и Бродского и рисую себе райскую картину: всё, что мне хотелось написать, я уже написала, и сижу на террасе с прекрасной книгой, и читаю ее медленно, как гурман ест какое-то волшебное блюдо, а когда глаза устают, то смотрю вниз и чуть влево, и в про свете между двумя невысокими горками вижу парус рыбацкой лодки. Все-таки быть читателем гораздо приятнее, чем быть писателем.

РЕЧЬ ПО ПОВОДУ НЕПОЛУЧЕНИЯ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ (1993 год)

Невозможно написать заранее речь по случаю возможного присуждения Букеровской премии. Я, человек избалованный роскошью делать в своей жизни почти исключительно то, что мне хочется, и довольно удачно избегающий всего того, что мне не хочется, с удовольствием могу написать речь о неприсуждении мне упомянутой премии, поскольку вижу здесь для себя массу разнообразных преимуществ и скрытых возможностей.

Начну с того, что один американский психолог, фамилию которого я упустила, высказал мысль, что люди делятся не на две категории — побежденных и победителей, — как это кажется с первого взгляда, а на три: победителей, побежденных и воздержавшихся от борьбы. Я, безусловно, отношусь к этой последней

Людмила Улицкая

категории: я родилась наблюдателем и получаю удовольствие от игры, соревнования или борьбы, находясь на смотровой площадке. В этом смысле для меня попасть в пятерку финалистов — исключительная удача: не являясь победителем, я не являюсь также и проигравшим, то есть одновременно обладаю и включенностью в процесс, и гарантией, что позорного поражения уже избежала.

Отмечая приятный для меня факт, что я попала в список финалистов, и рискуя вызвать недовольство жюри, я должна признать, что могу легко представить себе в этом коротком списке пять других произведений из числа выдвинутых, и даже двенадцать.

Среди сорока названных писательских имен не оказалось гения, но не было и никаких свирепых бездарностей, каковых мы наблюдали в среде лауреатов Сталинской, Ленинской или Государственной премий. Типа Бабаевского! Пыльные шкафы минувшей советской литературы были такими набиты.

• Я приветствую, таким образом, моих коллег, которым на этой рулетке не подфартило.

Следующее — по поводу слова «коллеги». Дело в том, что в течение целого ряда лет я испытываю большое замешательство, когда мне приходится отвечать на вопрос о моей профессии. Пытаясь избежать самозванства и тонкого неприличия, которое мне чудится в слове «писатель», когда меня спрашивают о моей профессии, я обычно делаю неопределенный жест рукой и произношу что-то смятое вроде: «Ну так, пишем в свободное от домашнего хозяйства время».

Присуждение мне Букеровской премии лишило бы меня возможности промычать что-то неопределен-

Личный мир

ное, и само мычание немедленно обратилось бы в форму кокетства. Кто бы мне поверил тогда, что я себя никем не считаю, кроме частного лица, которому нравится производить текст?

Итак, неприсуждение премии дает мне чудесную степень свободы. И даже не одну. Что мне, частному человеку, помешает написать следующее произведение из рук вон плохо? Да ничего! Я как писатель никому ничего не должна. В качестве букеровского лауреата меня любой критик будет месить как хочет. А ведь это, наверное, неприятно. А я-то привыкла к другому: придет подруга Ира Николаева, которая человек святой, но в литературе ни уха ни рыла, прочтет любой мой текст, обольет слезами и скажет: «Ах, Люсенька, ну как же это ты здорово придумываешь, ну прямо как в жизни, и даже еще лучше!»

Есть еще один крайне неприятный момент: дело в том, что я еврейка. К этому факту моей биографии я совершенно притерпелась, и он не кажется мне сколько-нибудь интересным. Но я совершенно уверена, что существует некоторое количество людей, которых бы очень огорчило присуждение мне этой престижной премии в области русской литературы из-за этого совершенно не зависящего от меня обстоятельства, и тут бы мне пришлось пуститься в дискуссию такого прискорбного уровня, что и подумать скучно. А я так не люблю огорчать людей.

Должна признаться, что я очень дорожу своей личной свободой. Каким-то чудом я с начала восьмидесятых существую на литературные заработки, делая при этом исключительно то, что доставляет мне удовольствие, будь то пьеса для кукольного театра, киносценарий или статья в каталог художника.

Людмила Улицкая

Практически я не общаюсь ни с какими начальниками, ни литературными, ни государственными, а общаюсь только с теми людьми, которые мне нравятся.

А получи я премию, так ведь начнут звонить незнакомые люди, журналисты например, просить интервью, а я этого терпеть не могу. Я человек ненаходчивый, никакого разговорного блеска навести не умею, и остроумный ответ если и приходит ко мне на лестнице, то и то дня через три. И хотя я человек довольно мягкий, но ведь начну отказывать, и обо мне пойдет слух, что я заносчивая и важная. Хорошо ли это?

Еще один аспект: получи я Букеровскую премию, я оказалась бы перед необходимостью сделать всё то, что я откладывала под предлогом отсутствия денег, например, ремонт квартиры или покупка новой машины. А какая это головная боль! Старая машина стоит на улице и имеет такой вид, что любой не слепой вор угонит соседнюю. А новая? Она будет соблазнять воров, а я, того и гляди, потеряю сон.

А мой английский язык? Находясь во Франции или в Греции, я чувствую себя владеющей английским языком. А попади я в Англию как букеровский лауреат, я буду ужасно страдать, не понимая английской речи, не говоря уже о том, что, занимаясь всю жизнь каким-нибудь иностранным языком, я не выучила никакого, в особенности английского, который изучала не менее двадцати лет в общей сложности.

В заключение я могу сказать, что я очень благодарна учредителям русского Букера и уважаемому жюри, а также судьбе, которая разложила на этот раз мои

Личный мир

карты так, что я в пятьдесят лет стала молодым и, похоже, самым известным из всех неизвестных авторов и, что самое главное, кажется, к весне у меня выйдет первая книга прозы на русском языке.

«Я могу, как я...»

(из интервью)

— *Вы могли бы стать писателем, если бы Советский Союз продолжал существовать?*

— Трудно ответить на этот вопрос. Возможно, да. Дело в том, что я оказалась «внесоветским» писателем. Меня всегда интересовал частный человек, способности его выживания в социуме, а к политике я всегда относилась как к неизбежному злу. Могу сказать с полной уверенностью, что «советским» писателем я бы никогда не стала.

— *Кажется, что профессиональные знания в иной области, чем литература, всегда оказываются богатством для писателя. Вы сами росли в семье врачей, у Вас медицинское образование. Какое значение это имеет в Вашей писательской работе?*

— Думаю, что «другое» образование чрезвычайно важно для писателя. Более того, я вообще не понимаю, что такое литературное образование. У меня образование не медицинское, а естественно-научное. Это довольно близко. Московский университет, где я училась, кафедра генетики, которую я закончила, дали мне чрезвычайно много: когда жизнь изучаешь как объект, сознание расширяется. Объект, который

Людмила Улицкая

смотрит на объект. И при этом еще и чувствуешь свое глубочайшее родство с мышами, рыбами и душистым горошком. Проступает единый план строения мира. Генетика как никакая другая наука знает, в каком тесном родстве состоит всё живое. И это потрясающе! К этому могу добавить, что гуманитарного образования мне не хватает, и я это постоянно ощущаю. И, что печально, отдаю себе отчет в том, что множество важнейших элементов культуры от меня ускользают, и, более того, уже нет времени, чтобы узнавать...

— *Как Вы считаете, именно благодаря Вашему образованию Вы могли так естественно изображать эротику — уже в «Сонечке»?*

— Вы задали такой вопрос, отвечая на который мне придется очень далеко отойти от конкретности самого вопроса.

Я не думаю, что есть отдельная сфера интеллектуального и отдельная сфера физиологии. Эротика же принадлежит области физиологии не меньше, чем сфере интеллектуального. Человек — целостное существо, и само намерение установить в человеческом существе «верх» и «низ» — плод нашей кривой несовершенной цивилизации, в которой веками существовал этот водораздел. «Про это» стало областью запрещенного, и очень важная часть человеческого бытия оставалась в зоне умолчания.

Вопрос на самом деле для меня стоит совсем иначе: как «об этом» писать? Русский язык — очень целомудренный, в нем даже не выработано литературного словаря по любовной тематике: имеются либо медицинские термины, либо неупотребимые, грубые слова, существующие за пределами академического

Личный мир

словаря, либо эвфемизмы. А задача такая существует: как написать о тонких, очень интимных переживаниях, имея такую филологическую наличность...

Когда я начинала писать, я не теоретизировала. Я вообще принадлежу скорее не к писателям конструирующим, концептуальным, а к проживающим, опирающимся на эмоциональную жизнь. И даже начало интеллектуальное окрашивается эмоционально. Это не хорошо и не плохо — всего лишь вопрос внутренней организации.

Когда я писала «Сонечку», я была достаточно далека от тех культурно-антропологических вещей, которые меня всё больше со временем занимали. И эротика очень притягивала не в силу сложившегося в русской литературе, отчасти отмененного, запрета, а как мало разработанная тема. Я не имею амбиций эту тему закрыть, но мне хотелось найти «легальный» способ ее «проговорить», хотя бы отчасти, по мере возможностей. Я думаю, что я свои возможности исчерпала, написав роман «Искренне ваш Шурик». И вряд ли смогу достичь большего. Хотя и предшествующие романы — «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого» — рассматривают какие-то аспекты эротической жизни человека.

Физиология — всего лишь способ функционирования человеческого и животного тела, и реализация сексуальных способностей человека так же законна, как процесс пищеварения. Но у человека очень сложная высшая нервная деятельность, сложная социальная мотивация, огромное количество культурных запретов, которые не раз и навсегда установлены, а изменяются со временем, и эти изменения порой бывают очень травматичны. Но это область науки,

Людмила Улицкая

а не искусства. Я же, смею надеяться, остаюсь в области искусства, но пришла туда со всем тем, что узнала прежде, в моем биологическом прошлом.

— *У Вас есть все темы истории, более или менее запрещенные в советской литературе: эротика, сексуальные меньшинства, аборт, алкоголизм, инвалидность, болезни и, конечно, смерть. Видите ли Вы себя в каком-то смысле пионером?*

— Честно говоря, я об этом не думала: вокруг меня бушевала такая богатая жизнь, полная историй жизни людей. Так вот, эти истории меня просто захлестывали, происходила такая интересная жизнь, такие драмы, такие подвиги совершались и предательства! Мне и в голову не приходило ставить какие-то фильтры. А тем более если говорить о смерти. Без смерти нет жизни. Именно смерть придает всему смысл и ценность. И сколько бы мы ни закрывали глаза на это обстоятельство, сколько бы ни избегали этой темы, она неизбежно подойдет к каждому. Смерть всё время рядом, именно она придает напряженность радостным переживаниям, заставляет нас ценить в жизни любовь. Мы не знаем, какая тайна откроется перед человеком после смерти, я думаю, что у каждого она будет своя собственная, лично ему предназначенная, но если в посмертии существует любовь, то она должна быть чем-то совершенно иным, отличным от того, что мы называем любовью в пределах земной жизни. Я прошу прощения у атеистов, если разрушаю их концепции, но я думаю, что ни один из атеистов не будет разочарован, если за пределом земной жизни откроется новое пространство...

Есть еще один существенный момент: я чувствовала себя дилетантом, и это давало огромное чувство

Личный мир

свободы. Я никому не была ничем обязана, мне ничего не давали, не дарили. Я делала то, что мне нравилось, и тем способом, как я это могла. И на успех я не рассчитывала, и это тоже давало дополнительную степень свободы.

— *Западная критика сразу отнеслась к Вам очень благосклонно, а русская — довольно строго? Критики говорили о «дамской прозе», о «сентиментальных женских романах» и так далее. Критики говорили, как точен и красив Ваш русский язык, а тематика не была по вкусу...*

— Мне представляется, что различие в критических оценках моих книг на Западе и в России отражает скорее антиженское настроение в мужской части российского общества, чем объективные параметры. И связано это скорее не с характером моего творчества, а с характером нашего общества, в котором существует глубокий парадокс. Россия по своей традиции и истории — страна восточная в том смысле, что женщинам всегда отводилось второстепенное место в общественной жизни.

— *В сегодняшней культуре много замечательных женских имен, но, несомненно, большая часть художников, писателей, музыкантов — мужчины. Пожалуй, только в сфере собственно артистической — театр, кино — женщины работают на равных правах с мужчинами. Во всяком случае, мне не приходилось ни разу слышать высказывания — «Женщина, а какая хорошая актриса!»*

— Сегодня, мне кажется, именно степень участия женщин в общественной жизни страны и определяет уровень культуры. Разумеется, всё сказанное имеет

Людмила Улицкая

отношение только к странам европейским и к Америке, а не к исламскому миру, который живет по совершенно иным законам, и я не берусь судить, хороши они или плохи, поскольку миллионы людей вполне удовлетворены параметрами своей цивилизации.

В постоянном стремлении наших критиков разделить литературу на женскую и мужскую мне всегда чувствуется неосознанная дискриминация. Плохих книг, написанных мужчинами, никак не меньше, чем плохих книг, написанных женщинами. Часто, даже когда меня хвалят, присутствует этот уничижительный оттенок: Улицкая — хорошая писательница, почти как мужчина!

Как бывший генетик, я могу засвидетельствовать, что всё, что делают мужчины и женщины, они делают немного по-разному: разная физиология, разный гормональный фон, разная психика. Но мужчина и женщина призваны быть в этом мире партнерами, и я уверена, что более широкое участие женщин во всех областях жизни общества послужило бы смягчению жестокости, умиротворению агрессии, пересмотру социальных программ в пользу детей и беднейших слоев общества.

Я пишу так, как может писать именно женщина, — с женским взглядом на мир, с проблематикой, понятной женщине, — и не пытаюсь сделать свои книги более «мужскими». Среди моих читателей достаточно много мужчин. (Между прочим, статистика показывает, что среди читающих книги 70 процентов женщин!)

Стараюсь избегать поспешности, стараюсь быть честной и независимой. Независимой и от критики в том числе.

Личный мир

— В 2001 году Вы стали лауреатом Букеровской премии («Русский Букер») как первая женщина. Что это значило — может быть, значит для Вас?

— Присуждение мне Букеровской премии более всего изменило мое положение на рынке: повысился уровень продаж. Конечно, я была очень рада, получив премию. Но для меня гораздо более важным обстоятельством было то, что мои книги трижды попадали в шорт-лист. Именно это свидетельствует о качестве больше, чем однажды случившаяся победа. Дело в том, что при розыгрыше любой премии всегда существуют какие-то внелитературные соображения. Так, в этом году не получила премию Людмила Петрушевская за выдающийся роман, который вошел в шорт-лист. Удостоилась же премии книга, которая представляется мне совершенно несравнимой с романом Петрушевской ни по каким параметрам. Этот роман оказался, вероятно, слишком сложным даже для членов жюри. Думаю, что если бы сегодня было бы написано произведение, равное по масштабу «Процессу» Кафки или «Улиссу» Джойса, у них было бы немного шансов. Все литературные премии страдают излишним демократизмом. Да к тому же всегда, даже при самом строгом жюри, есть элемент лотереи.

Именно по этой причине я несколько не оболющаюсь относительно своих успехов. Премии далеко не всегда отражают истинное положение вещей в литературе.

— Как вам хочется, чтобы Вас называли — женский писатель, писательница или просто писатель?

— Я думаю, что надо принять законы языка, в котором мы существуем. Коли есть в русском языке сло-

Людмила Улицкая

во «писательница», пусть меня зовут так. Хотелось бы, чтобы эта разница была только грамматической.

Беседовала Кристина Роткирх.
«Одиннадцать бесед о современной русской прозе».
М.: Новое литературное обозрение, 2008.

* * *

— *Есть ли современные писатели, читая которых, Вы думали: «Ух как здорово, я так не смогу»?*

— Конечно. Я не смогу как Людмила Петрушевская, когда она писала «Номер Один, или В садах других возможностей», как Владимир Маканин, когда писал «Асан», как Марина Вишневецкая, когда писала «Буквы». Я могу, как я. Это совсем не мало.

Беседовал Лев Данилкин.
Журнал «Афиша», февраль 2011

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ БОГ БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ...

Что было б, если бы Господь Бог был женщиной? — такой вопрос задал мне журналист Лев Бруни. Другому человеку и отвечать не стала бы на эту глупость, но Лева принадлежит любимой дружеской семье... Отвечаю — исключительно по долгу дружбы.

Несмотря на то что многие вещи в мире мне не нравятся, единственное, чем я более или менее удовлетворена, — это Господом Богом. Главное Его достоинство — исключительная нейтральность: хочешь — верь, хочешь — не верь, хочешь — ломай копыя и режь неверных, хочешь — сиди в келье и твори молитву, а Он взирает невозмутимо равно на всех. И то сказать: расстояние до него столь велико, что разница между праведниками и грешниками вряд ли заметна из такой дали.

Но вообще ни один вопрос, стоящий в сослагательном наклонении, не волнует мне душу, поскольку кругом вполне достаточно вопросов, которые повели-

Людмила Улицкая

тельно требуют их немедленного разрешения. Я не говорю о смысловой неувязке, философском промахе или логическом абсурде, заключенном в вопросе: что было бы, если... Я даже не говорю о ложном послыле: ведь нигде не сказано, что Господь Бог — мужчина...

Однажды пятилетняя дочь моей подруги, которая Вольтера не читала ни тогда, ни после, спросила: мама, а у треугольников бог треугольник?

Написано, что Бог создал человека по образу и подобию Своему. Но не менее верно и обратное: человек создает бога по своему образу и подобию. А треугольники девочки Ляли создают в своем треугольничьем воображении идеальный, абсолютный треугольник.

Если идти путем честного рационализма, наше сознание есть произведение нежного серовато-розового органа, напоминающего своей поверхностью грецкий орех. Этот орган, мозг, много чего может. А чего он не может, этого мы не можем даже и вообразить, потому что пределы воображения тоже ограничены структурой этого во всех отношениях изумительного органа.

Есть очень многое, чего мы не знаем о нашем сознании и о нашей психике, во многом зависящей от сознания. Есть вещи, которые мы не можем объяснить, но можем зафиксировать, например, глубокая потребность веры в Бога, присущая человечеству, а также могучее желание найти в окружающем мире или своими руками сотворить объекты поклонения, олицетворяющие или символизирующие бога. Камень, дерево, река, птица или змея — всё идет в дело обожествления.

Поклонение Матери-Земле, женскому божеству, было, вероятно, самым мощным мировым культом, целой эпохой человеческого сознания, определенным

Личный мир

уровнем богопознания. Где бы археологи ни ковыряли землю, всюду находят этих женских идолов, от коვрявых архаических фигурок домашних алтарей, женских богинь плодородия, до прекрасных античных храмовых скульптур.

Это и есть то самое время, когда Господь Бог был женщиной. Религия цветущей материи, религия мяса, крови, спермы... В иудео-христианской культуре человечество пришло к осознанию Бога как духа. Это была величайшая революция сознания.

Остается теперь разобраться с половыми проблемами. Библейские тексты бездонны. Они сообщают: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их». И как известно, призвал их плодиться.

Пол — функционален. Он нужен там, где есть необходимость воспроизводить себя, то есть он есть те ворота, через которые идет бесконечный поток материи, стремящейся быть живой. Но что есть пол для Господа Бога? На этом месте приостановимся. Увы, нигде человеческий язык не опускается до такой немоши, а мысль не оказывается столь неповоротливой, как в этой (низменной или высокогорной?) области.

Бог сотворил по своему образу мужчину и женщину. Первым человеком был Адам, и лишь после того, как Ева была выведена из целостного состава первого человека, он называется мужчиной, она — женщиной. Не означает ли это, что Бог является носителем обоих этих потенциалов, не об этом ли говорит китайская космогония, в основу мира положившая два универсальных начала «инь» и «ян», в переводе на наш бедный и приблизительный язык обозначающиеся как мужское и женское начало.

Людмила Улицкая

Чтобы понять окружающий мир, сознание стремится его систематизировать, упорядочить, разложить по полочкам, предварительно эти полочки кое-как сколотив.

Третьего не дано — почти три тысячелетия тому назад объявили древние римляне, а в прошлом веке их поддержал знаменитый культуролог Леви-Стросс своими «бинарными оппозициями»: да—нет, черное—белое, горячее—холодное, живое—мертвое... Удобно. Но не всегда.

Не отвлеченное умозрение, а точные современные науки — ядерная физика и молекулярная биология — обнаружили, что иногда физическое явление описывается не одним законом, а двумя или даже тремя, что между «да» и «нет» есть еще большая шкала дополнительных возможностей, и между «М» и «Ж» тоже нет непреодолимой пропасти. В этом заключалась гениальная догадка андрофашиста Отто Вейнингера: пол не локализуется в первичных или вторичных половых признаках, он пронизывает организм полностью, каждую его клетку. О существовании X- и Y-хромосом он ничего не знал.

Между тем известны явления перехода из пола в пол, мнимые и подлинные, в древности обыкновенно имеющие сакральный смысл, а сегодня ставшие бытовым явлением. Многие тысячи людей в последние два десятилетия поменяли свой пол — хирургически, гормонально, психологически, а остальные миллиарды народонаселения, практически довольствующиеся данными от природы органами, постепенно привыкают к тому, что дядя Майкл может вдруг превратиться в тетушку Мегги, а соседский вертлявый мальчишка — в роскошную фотомодель с вулканическим бю-

Личный мир

стом. Случается и обратное. К этому человеческое сознание приспособляется на удивление быстро. А вот мысль о том, что Господь Бог не несет никаких антропоморфных признаков пола, усваивается гораздо труднее.

Бог в виде седобородого старца «Ветхого Днями» удовлетворяет миллионы христиан, и даже образ «Отечество», где господь Бог изображен в трех ипостасях — Старца, Младенца у него на коленях и плотной белой птицы, олицетворяющей Дух Святой, — тоже устраивает современного православного. Замечу мимоходом, что Дух (на арамейском языке «руах») — женского рода. На этом месте идея «мужественности» Господа Бога дает трещинку, которая становится особенно заметна при рассмотрении величайшего шедевра православной иконописи, «Троицы» Рублева. Изображена встреча Авраама с Господом Богом, явленным ему в виде трех Ангелов. Вероятно, здесь соединились усилия Господа Бога и великого художника: бесплотные существа получили зримый образ, и это образ существ, не имеющих никаких половых признаков. Они божественны, и в этом качестве отсутствует пол. И русский художник XIV века сумел выразить то, что у древних евреев было под запретом.

Откуда сегодня берется этот вопрос: если бы Господь Бог был женщиной? Кто задает его? Этот прекрасный, разоблачительный и невинный вопрос задают, скорее всего, недовольные положением вещей женщины...

Я не принадлежу ни к воинственной породе амазонок, ни к породе «деловых женщин», ни к лесбиянкам, ни к профессиональным «женщинам-вамп». Мне нравится быть женщиной, я не завидую мужчинам, не испытываю никакого недовольства, что меня не при-

Людмила Улицкая

звали в армию, я не испытываю обиды на Господа Бога из-за тягот беременности и родов, которых избежал мой муж. Идея равенства никогда не казалась мне привлекательной, и в неравенстве мужчины и женщины — биологическом, социальном и политическом — я не вижу главной трагедии нашего мира. Я даже не вижу особой логики в концепциях феминизма: с одной стороны, хочется равенства, с другой — особых льгот. Я думаю, что постепенно женщины получают и то, и другое, и даже уже получают: израильтянки, к примеру, уже призываются в армию наравне с мужчинами, в некоторых христианских конфессиях имеются женщины-пасторы, а на космических орбитах летают не только семенники, но и яичники... Не мужчина и не женщина есть Господь Бог, а Дух, который роднит людей и питает их любовь.

«Тусклое стекло» прекрасной и грубой материи застилает наш внутренний взор, и мы не можем видеть «лицом к лицу» Господа Бога, который не имеет ни бороды, ни усов, ни бюстгальтера, ни трусов, а который есть Дух Любви.

Если бы Господь Бог был женщиной, это значило бы, что усилия веры многих народов пошли прахом, что великие откровения напрасны, что все мартирологи отменены, и что апостол Павел, объявивший, что нет отныне «ни мужеского пола, ни женского», обманул все грядущие поколения, и только одна мертвящая работа оставлена человечеству — кружение «колеса сансары»: жизнь-размножение-смерть-жизнь-размножение-смерть... Без Воскресения, без Преображения, без Прорыва в иное измерение.

Мысль о том, что Господь Бог — мужчина, столь же неубедительна. Но об этом меня не спрашивали.

Личный мир

P.S. Лева Бруни умер. Последний год тяжело, очень тяжело болел. И всё, что было в его жизни, как у каждого из нас — косо-криво, кое-как, начерно, — успел он вычистить, исправить, расставить на свои места. Успел стать таким, каким был задуман. А это далеко не каждому удастся.

ПРОЗА, РОЗА, ОЗА, ЗА...

Не могу сказать, что этот вопрос кажется лично мне самым важным. Множество вещей в жизни вызывает у меня бóльшую заинтересованность, скорее заслуживает траты времени и сил на их исследование. Вероятно, по той причине, что моя принадлежность к женскому полу меня вполне устраивала, я никогда не завидовала тем, кто может мочиться к стене.

Собственно, сам женский вопрос возник относительно недавно, с тех пор как изобрели стиральные машины и памперсы, и у женщин освободилось немного времени, чтобы задуматься, почему их жизнь так невыгодно отличается от мужской?

Неравенство мужчин и женщин запрограммировано природой, и я не принадлежу к тем людям, которые решительно утверждают, что мужчины имеют большие преимущества перед женщинами. Деторождение — привилегия женщин, и хотя без участия мужчины оно невозможно, но счастье материнства женщина испытывает намного острее и ярче, чем мужчина способен переживать свое отцовство.

Есть и другие причины, почему женщины мне представляются существами более привлекательными, чем

мужчины. Из них главная та, что мужчины по природе своей в гораздо большей степени, чем женщины, стремятся к власти, к доминированию, к подавлению других. Отсюда и проистекает большая жестокость и меньшая нравственность мужчины. Для достижения своих целей мужчина способен на такие действия, которые далеко не для всякой женщины приемлемы. При этом я отдаю себе отчет в том, что любое заключение такого рода, основанное «на средних величинах», никогда не бывает абсолютным: встречаются высоконравственные и нежные душевно мужчины и жестокие, способные на бесчеловечные поступки женщины.

Но в среднем дело обстоит так, что женщина производит впечатление более нравственного существа.

Что же касается России, то тут уж определенно можно сказать, что Россия — страна прекрасных женщин. И очень несчастных. О причинах этого явления непременно поговорим позже.

С тех пор как меня назначили писателем, мне постоянно напоминают о моем поле, в обоих смыслах этого «двубортного» каламбура. Мое поле, как выяснилось, — женская проза. Я ничего не имею против. Всё, что делают люди, они, как правило, делают в глубоком соответствии с той внутренней программой, которая в них заложена. Вся деятельность человека окрашена наличием или отсутствием в нем Y-хромосомы. Но абсолютизировать это обстоятельство нельзя. И не только по той причине, что пол человека определяется не только Y-хромосомой, но еще и гормональной системой, и сигналами, получаемыми из мозга. Другое важное обстоятельство заключается в том, что индивидуальный разброс по некоторым показателям очень сильно превышает средние цифры. При проведении

Личный мир

антропометрических измерений детей было установлено, что сила кисти у десятилетних мальчиков равна 16,9 кг, а у девочек — 13,6. Но самым сильным ребенком в классе при этом может оказаться девочка (сила кисти 17,2 кг, а самым слабым — мальчик (11,9 кг).

Именно по этой причине появляется в мире поэт Марина Цветаева, обладающая поистине мужской мощью! От ее прикосновения все динамометры зашкаливают!

Это я не про себя. Возвращаюсь к женской прозе. Вне всякого сомнения, я пишу прозу женскую. Но в сегодняшнем контексте это определение имеет уничижительное значение: оно предполагает, что женская проза заведомо хуже мужской, настоящей. Между тем, принимая во внимание, что женская проза возникла не так уж давно в истории культуры, приблизительно с конца XIX века, а мужчины практикуют литературное занятие испокон веку, готова идти на любое пари, что мужчинами за истекший период написано в миллион раз больше чепухи, чем женщинами. Убеждена, что качество прозы — хорошее или плохое — зависит от уровня дарования, а не от пола пишущего.

Мы живем в стране, раскорячившейся между Западом и Востоком. Двусмысленность географии создала и двусмысленность национальной психики. Наши мужчины заражены самыми грубыми предрассудками относительно роли женщины и ее малоценности. А женщины, несмотря на тотальное к ним неуважение, достигли за истекший век огромных результатов и во многих отношениях опередили женщин западных.

Я предполагаю, что в процессе эволюции, которую никто не отменял, роли могут поменяться, и декоративную самку, блондинку с параметрами 90—60—90,

Людмила Улицкая

заменит декоративный самец, которого будут выписывать почасово или поночно деловые женщины, управляющие банками и корпорациями. Шутка, шутка, господа. Меня не привлекают ни те ни другие. Просто, глядя в телевизор, иногда бросаешь взгляд на «розы» мужского пола вроде Киркорова. Порода «женщин-цветов» заменяется породой «мужчин-цветов», и в этом даже можно усматривать движение к равноправию. Культ прекрасной дамы исчерпал себя, появляются новые культы.

Может быть, наиболее интригующая черта нового времени — возможность сосуществования прежде несовместимых идей и вещей. Экуменизм — производное от греческого слова «ойкумена» (населенный людьми мир) — первоначально не имел никакого отношения к объединению христианства. Последние три тысячелетия расширили ойкумену до возможного предела: не живут люди только там, где уж совсем неудобно. Биологический вид, возникший в Северной Африке, расселился по всей планете, изменил лицо земли, изменился сам, создал искусство и науку, но не смог разрешить частной и локальной проблемы — взаимоотношения полов. Пристальное рассмотрение этой проблемы только начинается...

ЛИЛИТ, МЕДЕЯ И НЕЧТО НОВОЕ

Вокруг имени Лилит существует целое облако разнообразных легенд, но все они сходятся в том, что Лилит — демоническое существо женского пола. Мы не будем рассматривать здесь круг интереснейших

Личный мир

преданий, связанных с Лилит. Для нас сейчас существенно лишь то, что Лилит рассматривается как демоническое начало, присущее женской природе. В антропоцентричной культуре, которой мы принадлежим, есть давняя традиция приписывать именно женщине специфические взаимодействия с темными силами. Именно через женщину, по иудео-христианским воззрениям, осуществляется по преимуществу это воздействие на человека-мужчину.

Миф об Адаме и Еве, соблазнение Адама через Еву сатаной — очень стойкий знак, укорененный в сознании современного человека. Наверное, правильнее было бы сказать: в подсознании.

В нашем культурном пространстве существовала одна концепция апостола Павла, широко известная, но категорически отвергнутая современным миром. Мне она представляется чрезвычайно ценной. Формулируется эта концепция в Послании к Галатам (3, 28–29): «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе...»

Это учение апостола Павла могло бы послужить поворотным моментом в жизни человечества: оно дает основания для отмены многих предрассудков, ограничений, непреодолимых границ, включая национальные, социальные, половые... К сожалению, этого не произошло — и произойти не могло: слова Павла были столь высоки, что он и сам не мог до них дотянуться. Во всяком случае, место, которое он определил женщине в соответствии с новым учением христианства (а точнее, павлианства), входило в противоречие с заявлением, сделанным в его же Послании к Галатам.

Людмила Улицкая

Это высказывание упраздняет многие установки древнего мира, в первую очередь саму идею особой, свыше обусловленной греховности женского пола. Вне зависимости от того, было ли это принято иудейским миром, концепция апостола если не снимает с нашей праматери ответственности за грехопадение, то по крайней мере реабилитирует женскую природу.

Всё то, о чем я только что сказала, вовсе не представляет для меня предмета изучения. Все эти слова были произнесены с единственной целью — выяснить для себя, как соотносятся эти фигуры: Лилит, языческое божество, олицетворяющее темное начало женской души, и Медея, античная героиня, полностью отдавшаяся во власть этой темной стихии (кстати, по варианту мифа она была волшебницей, служительницей культа Луны), с сегодняшними женщинами, о которых я много пишу. Это довольно естественно — писать о том, что хорошо знаешь.

Я не впустую упомянула в самом начале об апостоле Павле, великодушно уравнивавшем мужчину и женщину, впрочем, не определив в деталях, в чем именно они равны. В самом общем виде — они равны перед Господом.

Был совершен первый шаг в сторону равноправия полов. Если развивать эту идею, придется признать, что общепринятые главные характеристики, свойственные женщинам и мужчинам, возможно, нуждаются в пересмотре. Хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, уже сегодня мы отмечаем размывание этой, казалось бы, непреодолимой границы между полами. Гендерные исследования показывают, как неуклонно растет социальная роль женщин; генетики и биохимики совместно с врачами со-

Личный мир

вершают сложнейшие операции по смене биологического пола; психологи и эндокринологи, каждый с позиций своей профессии, отмечают феминизацию мужчин и маскулинизацию женщин.

А теперь обернемся к нашей российской жизни. В послереволюционные времена произошел (и происходит) некий демографический процесс, в результате которого лицо поколения меняется: женщин становится гораздо больше, чем мужчин. Так, в России в 2010 году проживало 65 млн мужчин и 76 млн женщин, и это при учете, что при нормальной рождаемости на 100 девочек приходится 106 мальчиков! Эти цифры обещают демографическую катастрофу. Такая картина имеет объяснение: с 1904 года, с русско-японской войны по сегодняшний день, в стране идет война — большая или маленькая, объявленная или необъявленная. На войнах убивают молодых мужчин. Молодые люди, вернувшиеся из Афганистана или из Чечни, глубоко отличаются от тех солдат, которые вернулись в сороковых победителями фашизма. Любая война деформирует человеческую душу, но особенно — эти «местные» войны против малых народов, мирного населения, против женщин и детей. Солдат, прошедший через такую войну, социально неадекватен. Чтобы стать нормальным мужем, отцом, любовником, чтобы вернуться к нормальной жизни, он должен пройти психологическую реабилитацию.

Второй фактор, изымающий из популяции мужчин, — тюрьмы. У нас жестокое законодательство, и около 900 тысяч мужчин репродуктивного возраста отсиживают свои лагерные сроки. Таким образом, и они изъяты из нормальной жизни. И, наконец, третье печальное обстоятельство — алкоголизм. Алкоголизм

Людмила Улицкая

тоже изымает из популяции мужчин детородного возраста, делая их непригодными ни к деторождению, ни к воспитанию детей, ни к содержанию семьи.

Чем менее состоятельны и менее дееспособны мужчины, тем большая тяжесть ложится на плечи женщин. Деграция мужчин сопровождается компенсаторным развитием женщин. Образовательный ценз женщин за последние сто лет фантастически поднялся: в начале XX века лишь единицы женщин получали высшее образование. В конце века их количество превысило количество дипломированных мужчин. Есть отрасли, традиционно «мужские», которые за последние сто лет стали «женскими», — медицина, педагогика.

Огромное большинство женщин совмещает работу с ведением домашнего хозяйства, что в условиях России — гораздо более сложная задача, чем, скажем, в Германии. Конечно, существуют и прекрасные мужья, способные ответственно относиться к семье и своей социальной функции, и здоровые, в старомодных понятиях, семьи. Но, к сожалению, хороших семей и хороших мужей значительно меньше, чем взрослых свободных женщин, желающих иметь полноценную семью.

Психика женщины в гораздо большей степени ориентирована на продолжение жизни, чем мужская. Мужчина создает мир, женщина — дом: так жило человечество веками. Но сможет ли оно так жить дальше?

Всё большее количество женщин оказываются в положении матерей-одиночек, и среди них всё больше тех, кто сознательно выбирает такое положение, и они вовсе не являются жертвами семейных обстоятельств.

Личный мир

Исчерпалась, полностью износилась мифология: где Лилит? Где Медея? Темная и таинственная аура растворилась — нет злой волшебницы, но нет и прекрасной Елены, награды победителю. Про специальную греховность женщины — забудем! Мы, люди, мужчины и женщины, должны совместно решать проблемы выживания нашего вида *Homo sapiens*, нашего местообитания — планеты Земля... Назревает, по моему глубокому ощущению, перераспределение функций, и в будущем человечестве, я надеюсь, на первый план выйдут качества, связанные не с полом непосредственно, а с другими параметрами: интеллект, чувство сострадания, взаимопомощи.

Общее направление человеческой истории позволяет предположить, что приоритеты «мужские» — завоевание пространства, утверждение власти — сменяются приоритетами «женскими» — продолжение рода и сохранение жизни потомства, и тогда может в корне измениться вся мировая политика и экономика.

Наблюдается огромный сдвиг в женском сознании. Поскольку мы находимся в самом начале переформатирования традиционных взаимоотношений между полами, трудно предсказать, как этот процесс будет развиваться.

Я сознательно не касаюсь совершенно новой проблемы — однополых браков. Гомосексуальные отношения и в среде животных, и в среде людей не составляют большой новости в XXI веке, но именно в последние десятилетия обсуждается тема однополых браков. Однополые партнеры требуют признания их отношений полноценным браком, и в некоторых странах такие законы уже приняты.

Людмила Улицкая

В биологической эволюции известны две формы развития: по возрастанию полового диморфизма, когда самки и самцы сильно отличаются ростом, физическими и биохимическими показателями (как у многих высших приматов), и по уменьшению этих различий, когда самцы и самки внешне мало отличаются друг от друга (как у воробьев). Возможно, что и наш вид, находящийся в процессе эволюции, выработает какие-то иные взаимоотношения полов. Возможно, что наблюдающееся явление — феминизация мужчин и маскулинизация женщин — указание на грядущие эволюционные перемены. Пока мы наблюдаем лишь самую внешнюю, одновременно и самую заметную упаковку этого явления: мода XX века создала унисекс, небывалое прежде направление в одежде, полностью игнорирующее половые различия.

Создается впечатление, что мужское сознание не вполне успеваешь меняться с такой же стремительностью, как меняется женское.

Разумеется, что всё сказанное имеет отношение исключительно к европейско-американской культуре и никак не касается исламского мира. Однако, несмотря на могучий консерватизм, даже в исламском мире мы наблюдаем как центростремительные, так и центробежные процессы.

Что же происходит с женщиной в меняющемся мире? Как измерять этот процесс?

За последние сто лет появилась на сцене образованная женщина. Не женщина-рабыня, не женщина — подарок, награда, объект борьбы, не женщина — исключительно производительница. Образованная женщина — существо иного порядка.

Личный мир

Женщина в культуре присутствовала всегда, но почти всегда анонимно. Имя Сафо — редкое исключение. Скловдовская-Кюри — уникальна. Даже как актрисы женщины появились очень поздно — это была мужская профессия. Женщины жили испокон веку в мужском мире, где им отводилось определенное место — гинекей.

Мир был и остается по преимуществу мужским. Идет мальчишеская игра в войну и в охоту, которая по необходимости прерывается на размножение. Острота сексуального наслаждения — нарядная обертка этого процесса.

Что же изменилось в сегодняшнем мире? Процесс воспроизводства отделился от сексуальной жизни благодаря контрацептивам. Люди выбирают время и место, когда им хочется завести ребенка, и они не подчиняются природе, а природу используют в нужный, произвольно назначенный момент. Женщина перестала бояться секса, потому что перестала бояться забеременеть. Изменилась сама природа отношений между мужчиной и женщиной.

Освободившись от страха, женщина, как в открытый космос, вышла в жизнь культуры, науки и политики.

Сегодня в науке и в культуре женщины занимают всё более заметное место. Женщина-физик, женщина-профессор математики — уже не редкость. Этот процесс коснулся и политики: появились крупные деятельницы — Кондолиза Райс и Ангела Меркель, Маргарет Тэтчер и Тарье Халонен. Число женщин — президентов и премьер-министров в XX веке не так уж легко пересчитать: десятки и десятки. Среди них довольно много политиков мужского склада — аг-

Людмила Улицкая

рессивных, авторитарных, по стилю правления мало отличающихся от мужчин. Но есть и более мягкие, менее агрессивные, проявляющие больше внимания к социальной сфере, чем к военным играм. Женщина — враг войны по своей природе, и это отражается в ее деятельности.

Кажется, современные ученые-эволюционисты еще не высказали гипотезы, что само феминистическое движение есть знак эволюции: социальные животные вида *Homo sapiens* развиваются в сторону уменьшения полового диморфизма. Сама по себе тема захватывающе интересна: связь эволюции и цивилизации!

Всё вышесказанное сегодня не имеет отношения к исламскому миру, который, соседствуя с нами, живет по иным принципам. Но и этот мир живой, развивающийся и, преодолев свои болезни, придет в конце концов к общечеловеческим нормам: признанию человеческой жизни высшей ценностью, признанию равноправия женщин, права на любой религиозный выбор, если он не угрожает жизни другого человека.

А теперь вернемся к Медее и Лилит. Подлинное равенство людей лежит за пределами половых различий — вот одна из главных, но плохо артикулированных идей нового времени. Если она будет принята, то нам придется распрощаться с одним из привычных мифов: магической связи женщин с темными силами, особой власти женщин над плененными мужчинами. Потеряв волнующий ореол зла, женщина потеряет и часть своей привлекательности. Для достижения равенства, вероятно, следует пройти процесс «демифологизации»!

Личный мир

Время движется с нарастающей скоростью: потребовалось три тысячелетия, чтобы пошатнулась фундаментальная идея об изначальной греховности женщины. Для утверждения идей равноправия мужчин и женщин потребовалось немногим более двух столетий, если считать рубежом Французскую революцию.

Возможные последствия столь желанного женщинами равноправия не вполне предсказуемы. Как всегда, очень важна демаркационная линия: если мужчины и женщины будут производить потомство старым способом, а не в инкубаторах, и женщины будут продолжать вынашивать и кормить детей, то за ними навеки сохранятся и преимущества материнства, и его неудобства. Если будут практиковаться новые технологические средства для производства потомства, есть шанс дожить до полного равноправия полов. Только нужно ли такое равноправие?

Равноправия биологического нет и быть не может. И никакого выхода из конфликта, заложенного в нас самой природой, похоже, нет.

Разве что наши потомки доживут до времен, когда не принадлежность к полу, а качества личности станут определяющим моментом, и именно победа «собственно человеческого» начала завершит многовековую, неуклюжую, полную драм и трагедий борьбу за равноправие женщин. Следующий этап борьбы за равноправие должен происходить в сознании людей, и в первую очередь в сознании мужчин, которые гораздо менее готовы к этому повороту, чем женщины.

БЫТЬ ВДВОЕМ, БЫТЬ ОДИНОЧКОЙ...

В XVI веке была написана одна из самых популярных в России народных книг. Называлась она «Домострой» и сыграла огромную роль в формировании русской ментальности и создании психологии пола. Книга эта — апология патриархального уклада, отводящая женщине то самое место, которое до некоторой степени соответствует знаменитым немецким «три К». Но пожестче: «Икона должна быть за занавеской, а плеть — на видном месте»...

В советское время «Домострой» не издавался, в послеперестроечные годы опять появился на прилавках книжных магазинов — не следует ли из этого, что в обществе возник свежий интерес к национальному возрождению?

Это весьма забавно, особенно если принять во внимание, что советская власть с первых же лет своего существования декларировала гражданское равноправие мужчин и женщин и достигла в конце концов довольно парадоксального результата: под лозунгом борьбы «за отмену кухонного рабства» освобожденной от патриархального гнета женщине стали совершенно доступны такие тяжелые физические работы, как строительство железных дорог. Однако сложившиеся и слежавшиеся веками психологические установки совершенно не подчинялись крикам руководителей. Эти две совершенно несовместимые установки и по сей день сосуществуют в сознании нашего общества, просматриваются и в структуре семейных отношений.

Как это реализуется на практике, удобнее всего продемонстрировать на моей семейной истории. Моя бабушка Елена в 1917 году закончила с золотой медалью

Личный мир

гимназию и хотела пойти учиться на Высшие женские курсы. Родители дали ей разрешение уехать из провинциального города в столицу при условии, что прежде она выйдет замуж. К счастью, брак по сватовству оказался и браком по любви: бабушке очень понравился элегантный студент-«белоподкладочник», заканчивающий юридический факультет университета. Бабушка поступила на курсы, но завершить образование ей помешала не революция 17-го года, а рождение моей матери. Дед, невзирая на общую разруху, обеспечивал семью, а бабушка воспитывала детей, обучая иностранным языкам и музыке. До тех пор пока деда не посадили в тюрьму. Тогда бабушка по необходимости встала на феминистический путь — пошла на службу и даже продвинулась в главные бухгалтеры. В ночное время она подрабатывала своими женскими талантами: нет, я совсем не то имею в виду — она шила на швейной машинке весьма затейливые предметы женского туалета, не подлежащие публичному обозрению. Она прилично зарабатывала и вела дом на том самом уровне, к которому привыкла: социальные катаклизмы не заставили ее отказаться от белой скатерти и крахмальных салфеток. Однако, когда дед вернулся из лагерей и снова принял бразды верховной семейной власти, началась очень тонкая игра в соблюдение определенных условий. Я была маленькая девочка, но прекрасно это улавливала. Дедушка ходил с кожаным портфелем, мог накричать на любого члена семьи, кроме бабушки, обожал дам самого вульгарного вида, и отнюдь не платонически, а бабушка по-прежнему была тиха и немногословна, говорила ровным голосом, по-прежнему вела домашнее хозяйство, кивала расшалившимся внукам на дверь — тише, дедушка отдыха-

Людмила Улицкая

ет! Она по-прежнему работала на двух работах, была независима и корректна по отношению к деду. Внешне всё выглядело вполне патриархально, но бабушкино чувство собственного достоинства было таково, что она всегда стояла выше предлагаемых обстоятельств. Прожили бабушка с дедом вместе больше шестидесяти лет в мире и согласии.

Моя мама получила высшее образование, вышла замуж после окончания университета. Отец был инженером. Брак их не был счастливым, и, я думаю, в большой степени из-за ложных изначальных установок: отец вел себя как глава семьи, требовал обслуживания, совершенно не занимался ни домашними делами, ни мной, ребенком. Распределение труда на мужской и женский всегда считалось у нас незыблемым законом. Моя мама безропотно и легко выполняла все предъявляемые требования. Свою диссертацию она писала именно в эти первые послевоенные годы, как и отец. Оба они имели научные степени, но мамина почему-то не учитывалась. Я прекрасно помню, как она неслась по длинному коридору с горячей сковородкой наперевес, папа хмурился: остыла еда! Он любил огненное питание!

Мама честно выполняла эту часть супружеских обязательств, но с первых же лет брака, насколько я могу судить, компенсировала свое внешнее подчинение какими-то веселыми, радостными отношениями с другими мужчинами. И я ей не судья. Однако в конце концов мама развелась с отцом и прожила оставшиеся ей тринадцать лет жизни в счастливой внебрачной любви. Отец же остро переживал развод, но вскоре женился. Ни второй, ни третий брак моего отца долго не продержались.

Личный мир

В поколении моей мамы женщины уже начали разводиться. В поколении бабушки развод означал только одно: муж оставил семью ради другой женщины.

Теперь мы подошли к щекотливой теме моей собственной биографии. Я была замужем три раза. Все мои мужья были достойными людьми (с небольшими оговорками), и при других обстоятельствах можно было бы и не разводиться, поскольку дело это хлопотное и нервотрепное. Однако должна признаться, что мой первый брак распался, несмотря на сильное чувство, из-за борьбы двух самолюбий, постоянного самоутверждения двух молодых амбициозных людей, не желающих идти на уступки. Мне казалось, что муж меня недостаточно уважает, и брак наш кончился в тот момент, когда встретился человек, поднявший меня своим восхищенным отношением на недостижимую высоту... Так продолжалось некоторое время. Однако закончилось, когда я родила двух детей и засела дома. Я страдала от потери профессии, а муж, когда-то так меня уважавший, стал видеть во мне исключительно домашнюю работницу, и не самого высокого класса. Упрекать его было не в чем — это была его семейная модель, именно таковы были отношения его образованного отца и малокультурной матери. А пирожки свекровь пекла определенно лучше, чем это делала я.

Но тут-то я и влюбилась. И поскольку «домостроевский уклад» ко мне не имел отношения, я очень быстро развелась и со вторым мужем. После чего я осталась с двумя довольно малыми сыновьями, и лишь когда они повзрослели, вышла замуж в третий раз, за того самого человека, из-за которого ушла от второго мужа. Некоторые завитушки моей биографии для

Людмила Улицкая

стройности картины опускаю. К тому же я еще жива, история не вполне закончена. Но с третьим мужем мы общаемся больше тридцати лет и за эти годы многому научились — я от него, он от меня. Оба знаем, что для сохранения брака нужно совершать ежедневные усилия, без которых брак легко умирает. Мы оба люди независимые и свободолюбивые, умеем и любим жить одинокой жизнью, но именно удовольствие взаимного общения удерживает нас вместе. Около двадцати лет тому назад наш брак был оформлен, возникли какие-то бытовые обстоятельства, к этому побудившие. Оба мы скорее придерживаемся той точки зрения, что хороший брак — это хорошо, а плохой — это то, чего быть не должно.

В разные периоды жизни значение брака различно — это как у животных! Пока надо растить детей, брак нужен: вдвоем гораздо лучше воспитывать детей. Но когда они вырастают и уходят, не всякий брак стоит того, чтобы его холить и лелеять.

Среди моих подруг довольно много незамужних. Значительная часть разведенных. Почти все выходявшие замуж делали это не по одному разу. И лишь две-три живут в единственном браке с мужчиной, прежде не состоявшим в браке. Это довольно большая редкость.

Институт брака если не разваливается, то сильно видоизменяется. Этот процесс идет повсеместно — в границах европейской культуры. Исламский мир не рассматриваем. Меня гораздо больше интересуют перемены, происходящие рядом — с нашими подругами, соседями, детьми.

Первая позиция такая: молодое поколение представляется мне в целом более счастливым, чем мы

Личный мир

и наши мамы. Это поколение — и мужчины, и женщины — желают получать от любви удовольствие и не хотят страдать. То, что в России составляло особый аромат бытия — интерес и любовь к страданию, — совершенно ими отвергнуто. Однако счастливых семейных пар, как и во времена наших бабушек-дедушек, не так уж много. Люди, став свободнее, не стали много счастливее. Поздние браки, поздние дети. Так в чем же проблема? В большой степени — в экономике. Но отчасти, мне кажется, — в языке. Антропологи знают, что у некоторых древних племен, помимо общего для всего племени языка, существуют еще и язык женский и язык мужской. Тайные языки. Это прекрасный образ... В некотором смысле мужчины и женщины всех народов говорят на разных языках. Но язык — это то, чему можно научиться. Наши знания друг о друге необходимо увеличивать.

Я убеждена в том, что чем выше культурный уровень человека, тем лучше он понимает окружающих. Тем более это относится к людям, принадлежащим разным полам. Любовь, разумеется, выше любого теоретического знания друг о друге: когда она возникает между мужчиной и женщиной, они счастливы, даже если не умеют складывать буквы. Но любовь — такой редкий и быстро увядающий цветок! Понимание, взаимное уважение, точная оценка собственных возможностей и возможностей партнера необходимы в особенности тогда, когда горячей любви уже нет, но есть семья, дети, взаимные обязательства. А путь этот требует большой внутренней работы, на которую не всякий человек согласен. А если не согласен, то ему (или ей) остается возможность одиночества. Для кого-то это приемлемо, а для кого-то — невыносимо.

Людмила Улицкая

Для многих людей, путем проб и ошибок, выясняется, что смена партнера не разрешает ситуации: всё равно плохо. Те из нас, кто не хочет приспособливаться к другому человеку, идти на компромисс, уступать в мелочах, встают на путь одиночества.

Любой союз можно рассматривать как поединок, борьбу не на жизнь, а на смерть. А можно подойти к этому иначе: считать победителем того, кто победил свои собственные недостатки, пренебрег своими удобствами или предрассудками во имя любимого человека. По моим наблюдениям, таким человеком, как правило, оказывается женщина. С другой стороны, именно женщина в силу разных причин к старости чаще остается одиночкой. Изменения структуры семьи таковы, что всё реже семьи существуют в расширенном виде — с бабушками и дедушками, то есть в том почти архаическом виде, который был вполне обычным еще пятьдесят лет тому назад.

Демография подбрасывает еще одно обстоятельство: в пожилом возрасте асимметрия в составе мужского и женского населения делается более заметной: средний возраст жизни женщины в нашей стране 73 года, а мужчины — неполных 59.

Сама по себе эта асимметрия указывает на еще одно различие между существованием в мире (в нашей стране, по меньшей мере) мужчин и женщин. У женщин более долгая жизнь, вернее сказать — более длинная старость. Зато у мужчин длиннее молодость! Пары, в которых мужчина много старше своей жены, — не такая уж редкость.

Это обстоятельство надо обдумать, принять к сведению и постараться подготовиться к нему, насколько это возможно. Как бы счастлив ни был брак, один

Личный мир

из супругов, как правило, уходит раньше. Сказочный финал — «они жили долго и умерли в один день» — совершается в сказках чаще, чем в жизни. Как это прискорбно, что, потратив столько сил на создание хороших брачных отношений, в конце жизни даже самых умных и терпеливых, достигших гармонии и счастливой совместности, часто ожидает одиночество. И это еще одна, может быть, последняя задача брака — научиться жить одному. Но это уже совсем другое искусство.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ ПОБЕДИТЕЛЯ

Выступление на вручении премии
Симоны де Бовуар в кафе “Les Deux Magots”
10.01.2011

Пользуясь привилегией писателя плести свои истории с любого места, я начну с того, что расскажу немного о том драгоценном человеческом звене, которое связывало меня с Симоной де Бовуар. Около тридцати лет тому назад я переехала в один из писательских домов в Москве, в районе метро «Аэропорт», и моей соседкой по лестничной клетке оказалась Ирина Эренбург, дочь писателя Ильи Эренбурга. Я давно знала ее в лицо, а теперь мы подружились. А она знала и Жан-Поля Сартра, и Симону де Бовуар, и Шагала, и Пикассо, и бог знает кого. Половину интеллектуальной Европы. Ирина родилась во Франции, жила в России, потом снова во Франции, потом снова в России. Францию она обожала, в России жила. Работала журналистом, по-

Людмила Улицкая

могала своему отцу, переводила. Во время войны потеряла любимого мужа — пропал без вести, и она долго надеялась на его возвращение. На исходе войны она удочерила еврейскую девочку, чудом выжившую после расстрела ее родителей. Воспитала ее, вырастила внучку Ирину, успела полюбить правнучек и передать им отчасти тот высокий класс, которым обладала по природе.

Ирина жила в кабинете Ильи Эренбурга. Нет, дом, конечно, был другой, но сам кабинет в полной неприкосновенности был перенесен сюда, на «Аэропорт», после смерти писателя. Забегая вперед, могу сказать, что и сегодня, тринадцать лет спустя после смерти Ирины, кабинет этот всё еще жив: те же книги, французские и русские, те же картины.

В этой квартире приютился кусок французской культуры, от начала XX века почти до его конца. Архив Ильи Эренбурга хранится в государственном архиве, но дух французской культуры остался здесь. Во всяком случае, пока была жива Ирина. У стран, как у людей, есть свои симпатии и антипатии: Россия не любила Германию и любила Францию, ее культуру, ее язык. И этой сердечной склонности не переменяла даже война 1812 года. Не могу не напомнить, что первая глава «Войны и мира» Толстого — сцена в салоне Анны Павловны Шерер — написана по-французски: русские дворяне патриотические разговоры вели на том языке, который лучше знали.

Исследователи написали массу книг о культурных влияниях, о взаимопроникновении в литературе, в музыке, в живописи, но для меня таким культурным русско-французским перекрестком был кабинет Ильи

Эренбурга, а его дочь Ирина была чудесным проводником.

Эренбург был знаком с Сартром еще до войны, и Сартр высоко ценил Эренбурга, называя его единственным человеком, от которого можно было узнать правду о стране, которой он некоторое время увлекался. Приезжая в Россию, Сартр посещал Эренбурга. По крайней мере в одной из поездок Сартра сопровождала Симона де Бовуар. Они были в гостях у Эренбурга, об этом сохранились воспоминания. Ирина никогда мне не рассказывала о том, как проходил этот прием. Я не знаю, чем кормили гостей и о чем разговаривали... Зато я видела множество других вечеров в ее доме, когда много позже меня стали приглашать.

Ирина была самой эмансипированной женщиной из всех, кого я знала, и свободной, и смелой, и независимой в суждениях. Ее рассказы были необыкновенно живы и интересны. На стене у меня висит фотография, где зафиксирован любопытный момент ее жизни: день ее шестнадцатилетия, она сидит за столиком уличного кафе в Париже с женой своего отца, Любовью Козинцевой. Эренбурга в кадре нет — возможно, он их снимает. В руке Ирины сигарета — первая легальная сигарета в ее жизни. Курить, как она мне говорила, начала в тринадцать лет, но в день шестнадцатилетия впервые обнародовала этот факт. Козинцева смотрит на нее с укоризной...

Последнюю свою сигарету она выкурила за пятнадцать минут до смерти. Я застала ее последние минуты.

Но вернемся все-таки к самой Симоне де Бовуар.

Почти у каждого человека, верующего или атеиста, есть символ веры. Большинство людей пользуются

Людмила Улицкая

готовыми, выбирая христианство, ислам, марксизм, фрейдизм, раздельное питание или фитнес. Симона де Бовуар строила свой символ веры в течение всей своей жизни. Мне было чрезвычайно интересно разбираться, из каких заимствованных кирпичиков — марксизм, экзистенциализм, феминизм — было выстроено ее «кредо» и что именно было плодом ее собственного творчества.

Симона ненавидела «реакцию, благонамеренных людей, религию». Что она имела в виду под «реакцией» — мне не вполне понятно. Если это некое противопоставление революции, то я бы долго думала, какое из двух зол хуже. Что касается «благонамеренных людей», боюсь, что я и сама отношусь к этой категории, к тому же убеждена, что ад вымощен не благими намерениями, а дурными. Уверена, что нереализованное добро все-таки лучше, чем нереализованное зло. И если человек нацелен на благо для себя и для других, то это лучше, чем когда он нацелен на борьбу за справедливость, при которой не остается камня на камне. Время социальных утопий, как мне кажется, ушло. А уж если говорить о религии, то опять мы с Симоной де Бовуар совершенно не сходимся, поскольку я много лет искала вертикаль, которая поднимает человека вверх, отрывая его от потока «существования», которым были так увлечены Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Я, таким образом, искала то самое, от чего Симона решительно отказалась.

Весь последний месяц я перечитывала книги Симоны де Бовуар. Начала со «Второго пола». Поразительное дело: эта книга сегодня показалась мне сплошным общим местом, набором известных истин,

Личный мир

словом, банальность на банальности. Это была первая мысль. Ей на смену пришла вторая — какая удивительная, редкая судьба книги, какое блестящее попадание в сердцевину проблемы: то, что всего пятьдесят лет назад звучало шокирующей новинкой, интеллектуальной революцией, сегодня стало общественным достоянием.

«Цель этой книги, — пишет Симона де Бовуар, — как можно скорее оказаться устаревшей». Это самое большее, на что может рассчитывать любой автор, который берется за такие острые проблемы. И это произошло.

Новое знакомство с Симоной де Бовуар оказалось необыкновенно плодотворным, хотя женская тема в ее творчестве не показалась мне самым интересным. Ее глубокие, хотя и не всегда ясные мысли использовали часто весьма недалекие деятельницы феминизма, и соотношение возникало приблизительно то же, что между Толстым и толстовством: Толстой — гений, а толстовство — наивно и провинциально. Симона де Бовуар тоже была гораздо глубже и умней концепции феминизма, и я не могу с ней не согласиться, когда она говорит, что «освобожденная женщина перестает пребывать (с мужчиной) в состоянии войны». Здесь я с ней солидарна.

Ее «Второй пол» стал библией феминизма, и надо сказать, что взгляды Симоны на брак как на институт устаревший и буржуазный, ее личный отказ от брака и деторождения не принес ей большого счастья. Так бывает всегда, когда человек руководствуется «несгибаемыми» принципами. Ее глубокая связь с Сартром была более чем браком: они были единомышленниками, любовниками в какой-то период

Людмила Улицкая

жизни, друзьями. Взаимная свобода была их общим девизом. Брак с молодой женщиной, в который вступил Сартр уже в преклонные годы, нанес Симоне тяжкий удар, от которого она никогда не оправилась. И череда разнообразных любовных связей не смягчила ей этого удара.

Она умерла в доме престарелых, в одиночестве и в забвении. Медсестра, которая за ней ухаживала последнее время, была поражена, узнав, что умерла «та самая» Симона де Бовуар. Ей и в голову не приходило, что эта одинокая старушка пережила великий успех, славу, мировое признание. Похороны Симоны были скромными, всего несколько человек пришли с ней проститься. Старость грустна по природе, даже когда человек окружен любящими детьми и внуками. Но одиночество и горечь Симоны — добровольный выбор человека, отрицавшего и брак, и семью.

СЕМЬЯ: ВОЛЬНЫЙ СОЮЗ

Идеал христианского брака высок до недостижимости. Лично мне ни разу в жизни не удалось встретить супругов, которые поженились бы девственниками и прожили в супружеской верности всю свою жизнь. Но ходят слухи, что изредка такие пары встречаются.

Мне так повезло, что мое раннее детство прошло в настоящей патриархальной семье. За стол в праздники садились: мой прадедушка, два его сына, их жены, их дети и я, представительница четвертого поколения. Прабабушку я тоже помню, но она умерла, ког-

Личный мир

да мне было всего два года, а вот с прадедом я очень дружила.

Но всё же была и отдельная ячейка — мама-папа и я. Что существенно — родители мои развелись после шестнадцати лет совместной жизни.

Я, нисколько не задумываясь над тем, что представляю собой участника большого социально-психологического переворота, три раза выходила замуж, в перерывах одна растила двух сыновей, то есть мы были образцом «неполной семьи». С разведенными мужьями мы поддерживали вполне человеческие отношения — от корректных до теплых, так что я прекрасно помню момент, когда представила друг другу двух женщин: знакомьтесь — вторая жена моего первого мужа и четвертая жена моего второго мужа.

Таким образом, я и есть тот персонаж, который имеет достаточный опыт, чтобы анализировать картину семейной жизни в меняющемся времени в меняющейся стране.

Мои рассуждения о семье не носят научного характера — сегодня на этом месте произросла целая наука, — это всего лишь попытка разобраться в глубоких, но глазу мало заметных переменах в отношении к браку, разводу и семье как «ячейке государства» — помните Энгельса?

Европейский и американский мир веками воспринимал образец «христианского» брака как единственно приемлемый. Это — освященный религиозным таинством союз перед Богом, в котором каждый из вступающих в брак берет на себя пожизненные обязательства. В принципе, церковный брак нерасторжим: «что Бог соединил, то человек да не разъединит».

Людмила Улицкая

Есть страны, где и по сей день существует только церковная форма брака: так, гражданский брак до сих пор не признается, например, в современной Греции, наследнице Византии, там и по сей день существует только церковный брак. Один мой друг, лет десять тому женившийся на гречанке, вынужден был доставать свидетельство о крещении, без которого брак в Греции заключить невозможно. Практически невозможно и получить церковный развод. Впрочем, в России при большом желании можно получить развод в Патриархии, но это дело хлопотное и непростое. Еще хуже до недавнего времени дело обстояло в католическом Риме. Бракоразводный процесс затягивался на десятилетия, и далеко не всегда удавалось освободиться от брачных уз.

В иудейском мире, от которого христиане унаследовали основополагающие десять заповедей и некоторые другие принципы поведения, развод существовал, существовал и обряд развода. Правда, для развода нужны были веские причины — бесплодный брак или супружеская измена. Документ о разводе называется «гет» и дает право на повторный брак. Это в консервативной среде и по сей день практикуется.

В идеале христианский брак представляет собой прекрасную школу для участников: строго распределенные обязанности, взаимное уважение супругов, почитание стариков и послушание родителям. В случаях не идеальных, а рядовых такого благолепия мы не наблюдаем. Во всей русской литературе я нашла один такой безукоризненный брак у Гоголя, в «Старосветских помещиках». Счастливые Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна! Зато сколько несчаст-

Личный мир

ных героинь у Островского, Достоевского, Толстого. И почти все несчастья — из-за браков!

Великий роман «Анна Каренина» в наши дни, скорее всего, и не разыгрался бы: зачем столько дров наломали? Развелся бы Алексей Каренин с Анной Аркадьевной, женился бы на другой, а Анна стала бы женой Вронского...

Но это литература. А ведь есть еще и история. Какая мрачная и тяжкая картина семейной жизни Толстого вырисовывается из параллельного прочтения дневников гения и его жены Софьи Андреевны! Тяжелый деспот, неверный муж, суровый отец — и всё это наш великий страдалец, так много рассуждавший о семье, о семейном счастье, о воспитании детей. Софья Андреевна не могла развестись со своим мужем, но разрыв, в сущности, состоялся.

А каковы были взаимоотношения с женщинами у нашего всеобщего любимца, Александра Сергеевича Пушкина? Некоторые исследователи любят изображать его столпом христианства. Для меня это сомнительно: он мне представляется скорее вольтерьянцем, диссидентом, но соблюдающим правила приличий, в которые входила в его времена и привычка посещать церковные службы. Он очень любил Наталью Николаевну, гордился ее юной красотой, но супружеская верность не рассматривалась им, по-видимому, как брачное ограничение для мужчины. И погиб он, в сущности, из-за мелкой светской сплетни, в которой была задета честь его жены... Но честь других жен в иные времена он не щадил... Умнейший и образованнейший человек своего времени нес в себе все предрассудки французского XVIII века, касающиеся женщин...

Людмила Улицкая

Возвращаемся к церковному браку, к самому последнему случаю развода в императорской семье. Одна из сестер Николая Второго, Ольга, была выдана замуж за аристократа, отвечавшего всем требованиям великосветского брака, кроме того, что он был гомосексуалистом. Брак был церковным, но по сути фиктивным, и более десяти лет несчастная женщина, полюбившая другого человека, более низкого происхождения, не могла получить развод и выйти замуж за любимого. Одним из последних указов последнего императора было разрешение на развод, и лишь после этого был заключен брачный союз, потомки которого и по сей день живут в Дании...

Советская власть отменила церковный брак, с 1917 года был принят брак гражданский. Однако разводов в первой половине XX века было сравнительно немного: то ли действовала своего рода инерция, то ли государство сдерживало бракоразводную активность. Правда, в первые годы советской власти браки часто вообще не регистрировали.

Картина начала меняться после войны, и сегодня, через пятьдесят лет, мы видим огромные перемены. Институт брака, такой, каким знали его наши бабушки и дедушки, рухнул. Разводятся и молодые люди, недавно вступившие в гражданский брак и даже обвенчавшиеся в церкви, разводятся люди среднего возраста. Вступают в новые браки, заводят новых детей. Этот процесс наблюдается во всем западном мире, не только в России; тому есть множество причин, из которых важнейшая — сексуальная революция, освободившая многих людей от традиционного христианского пуританства, открывшая иное отношение к сексу, десакрализовавшая его и низведшая на уровень

Личный мир

доступного удовольствия. Добрачные сексуальные отношения стали обычной практикой огромного большинства людей, и такие новые опасности, как распространение СПИДа, в сознании людей полностью уравниваются созданием стратегии «безопасного» секса. Но если секс можно «обезопасить», что же будем делать с семьей, которая трещит по всем швам?

Развод перестал быть частным событием в жизни отдельного человека, он стал сегодня социальной проблемой, особенно в малообеспеченных слоях общества.

Человек — и мужчина, и женщина — получил гораздо бóльшую свободу в личной жизни, но каким-то драматическим образом это уменьшает чувство ответственности у людей, решающих заводить детей. И наиболее ответственные не спешат заводить детей, а если и заводят, — от силы одного ребенка.

Таким образом, ответственные и просвещенные отказываются от божественного благословения «плодиться и размножаться» и оставляют эту заботу тем традиционным обществам, которые не зашли так далеко по пути прогресса.

Разрушение брака создает еще две тяжелые проблемы для общества — одиноких женщин и детей, рожденных вне брака, тех самых, которых прежде клеймили отвратительным словом «незаконнорожденные». Таким незаконнорожденным ребенком был Александр Иванович Герцен. Я думаю, что система взглядов и вся его политическая деятельность во многом была определена тайной его рождения. На долю детей, родившихся вне брака, всегда доставались особые испытания, как в семьях высокопоставленных, с большим достатком, так и среди бедных людей.

Людмила Улицкая

В романе «Холодный дом» Диккенса рассказывается о судьбе такого ребенка. Горечь, бедствия, одиночество сопровождают такое детство.

Сегодняшнее общество гораздо более либерально. Я знаю много молодых женщин, успешных профессионалов, которые решают завести ребенка, не состоя в браке. И сегодня это требует мужества, большой уверенности в себе, высокой ответственности, которую в этом случае берет на себя женщина.

В менее обеспеченных кругах всё обстоит гораздо сложнее: такие дети часто попадают в детские дома, и жизнь в сегодняшних заведениях подобного рода не сильно отличается от описаний Диккенса.

Мы радуемся выпавшей на нашу долю свободе: браки заключаются по любви, по взаимному выбору. В наше время крайне редко брачных партнеров выбирают родители. Отчасти об этом можно и пожалеть: взрослые лучше понимают в людях, и качества, незаметные влюбленному взгляду, могут быть оценены умудренными опытом родителями. Часто оказывается, что брак, заключенный на всю жизнь, распадается уже через несколько лет, и разошедшиеся бывшие супруги чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. В таких случаях, вероятно, преимущество будет на стороне тех, кто понимает брак как временный союз, существующий лишь до тех пор, пока существует любовь. Но и в том и в другом случае остаются дети, как правило, без отцовского внимания, а часто и без материальной поддержки.

Патриархальная семья умеет обходиться сама, без помощи государства, за счет своих внутренних ресурсов. Неполная, состоящая из матери и ребенка, — как правило, нуждается в государственной поддержке.

Личный мир

Несколько десятилетий тому назад в США были очень высокие пособия для матерей-одиночек, к тому же они суммировались при рождении каждого следующего ребенка. Таким образом, мать, имеющая четырех внебрачных детей, получала пособие, равное хорошей зарплате квалифицированного работника. Эта ситуация, как считают специалисты, привела к тому, что в наименее бедных и необразованных слоях населения, особенно у афроамериканцев и пуэрториканцев, женщины перестали выходить замуж, даже если имели постоянных партнеров и отцов своих детей. Это стало невыгодно! Сейчас, кстати, пособия сократили. Ради укрепления семьи!

Это, конечно, не наша проблема. Пособия у нас смехотворные...

Вот такая картина. Хорошая? Плохая? Вот такая: распад семьи, взаимное неприятие, несчастные дети, новые браки, новые разводы, новые драмы. По всей видимости, мы вошли в такие времена, когда сакрализированный брак изжил себя и незыблемые прежде правила заменяются новыми, еще не сформулированными. Брак перестал быть принципиально нерушимым. Его временность узаконена, но не выработаны еще в культуре формы достойных отношений между бывшими супругами, между детьми и ушедшими из семьи родителями, как правило, отцами, между полубратями и полусестрами. Сегодня послебрачные отношения бывших супругов оказываются более важными, чем сам брак: именно умение сохранять общий язык, новые формы послебрачных контактов, милосердие к ушедшим и оставленным, забота о детях, которые оказываются вовлеченными в конфликтные отношения родителей.

Людмила Улицкая

Обычно брак заключается по любви. Но он, как правило, оказывается длиннее по времени, чем любовное притяжение двух молодых людей. Сегодня, выходя замуж и женись, уже невозможно рассчитывать на нерушимость брака, и именно по этой причине моральные качества партнеров оказываются особенно важны. В наше время всё чаще встречается не пожизненный брак, где партнеры приговорены прожить совместную жизнь, а вольный союз, предполагающий возможность развода и последующего брака. Однако правила поведения еще не осмыслены, не выработаны. Это вопрос будущего.

Я не поклонник промискуитета. Традиционные семейные ценности прекрасны, но всё меньшее число людей готовы идти на большие жертвы, которые требует от человека пожизненный брак. Порой он превращается в пожизненный плен.

Всё больше в цивилизованном мире одиночек, которые не хотят связывать себя узами (слово-то какое!) брака, опасаясь не столько утраты свободы, сколько сложностей послебрачных отношений. Неуверенность в себе рождает неуверенность в окружающих. И всё это на фоне мира, который тоже утратил устойчивость и надежность.

Недавно я была на семейном празднике в доме друзей. За столом сидели бабушка-дедушка, папа-мама, четверо выросших детей и их новые маленькие дети, в мире, любви и в большом веселии. А два прадеда, родители поженившихся давным-давно детей, хозяин дома и его старинный друг, считали, сколько же у них правнуков, и оказалось, что из двенадцати — восемь общие!

Личный мир

Это моя знакомая горячо любимая семья, и я знаю, что всем им пришлось пережить и трудные семейные бури, и большие испытания, и в чем-то себя ограничить, а что-то — простить. А это значит, что христианский брак еще существует.

«Разрушение семьи — это разрушение мира» (из интервью)

— В большинстве Ваших произведений рассказываются истории семей. И «Искренне ваш Шурик» — тоже в определенном смысле семейная хроника. Почему Вас так это привлекает?

— Из учебника: «Семья — ячейка государства». И даже более того: семья — ячейка жизни. Происхождение человек ведет от семьи. Если семьи нет, — это тоже происхождение человека. Трагедия, которую он всю жизнь проживает. В обществе, где постоянно вбивалась в головы идея, что общественное выше личного, а Сталина следует любить больше родителей, произошла ужасная деформация сознания.

В современном обществе семья — тоже большой вопрос. Я знаю несколько очень богатых семей, где воспитанием детей занимаются наемные профессионалы — няни, гувернантки, — а у родителей нет времени почитать детям вслух, поиграть с ними, подурачиться, словом, вести совместную жизнь. Но еще больше в нашей стране семей социально неблагополучных. Слово «неблагополучные» в данном случае идет от политкорректности. Честно сказать,

Людмила Улицкая

много ужасных семей, где родители бьют детей, заставляют их принимать участие черт-те в чем, множество пьяниц и преступников, которые губят своих детей.

Семья — священная организация, питомник любви, защита и опора человека. Так, по крайней мере, это должно быть. Хороших семей очень мало. Это особый и редкий талант — вести семью, строить семейные отношения. Моя бабушка обладала этим дарованием. Когда она умерла, семья распалась.

В условиях сошедшего с ума общества, вроде нашего, семья остается почти единственным основанием для нравственного выживания.

Беседовал Юрий Володарский.
«Газета 24» (Киев), декабрь 2007

НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО ЭТОЙ ЛЮБВИ?

Выступление на литературном фестивале.

Лион, апрель 2008

Если бы надо было написать трактат о тараканах, эссе об ослах или статью о сталактитах, то разумнее всего стоило бы начать с их происхождения, описать ареал распространения, рассмотреть изучаемое явление с точки зрения его взаимосвязей с окружающей средой. И в заключение оценить его место в общей картине мира. Такому подходу — с незначительными вариациями в методологии — обучают в университетах, и он себя в какой-то мере оправдывает. Что же представляет собой любовь с точки зрения ра-

Личный мир

зума, приученного к известной дисциплине? «Рацио» делает автоматическую попытку исследовать любовь, любовь же с улыбкой взирает на разум с такой небесной высоты, с такого неизмеримого отдаления, что никакой самый изощренный разум не разгадает загадки: что есть разум в глазах любви?

Итак, еще одна попытка постичь разумом любовь, описать ее природу, происхождение, ее бытование в мире. Первое, что можно заметить: само существование в мире феномена любви есть достижение разума. Человек — носитель разума и одновременно инструмент познания любви. Оговоримся: всякий раз, когда произносится слово «любовь», большинство людей имеют в виду любовь эротическую, влекущую мужчин к женщинам, женщин к мужчинам. Она описывается как высшее счастье, ее жаждут, за ней гоняются, она часто составляет содержание жизни и ее венец. Она царствует в кино, в художественной литературе и даже, прости Господи, на телевидении. Она, эротическая любовь, вытесняет всякую иную, а между тем она лишь частный случай из множества разновидностей, и именно она свойственна всему животному миру — бабочкам, птичкам, рыбам и гадам.

Но мы вряд ли узнаем, как переживают любовь — если она простирает над ними те же самые крылья — наши меньшие братья, чешуйчатые, волосатые и полосатые. Их любовь — инстинкт. Им надо оставить потомство, и они спариваются, претерпевая жестокую конкуренцию, порой вступая в смертельные бои, или в творческие соревнования, или в иного рода демонстрации своих достоинств, чтобы достичь желанной самки, награды победителю. Этологи знают и про-

Людмила Улицкая

тивоположные случаи — борьбы за самцов, но такой поворот встречается очень редко.

У большинства самцов любовь заканчивается с концом брачного сезона, у самок она переносится на потомство, и кошка самозабвенно вылизывает котят, а пожилая дама, кошкина хозяйка, умиляется этому образцу любви. Одна такая старушка, любуясь этой картиной, воскликнула: «Вы посмотрите, ну просто Мадонна с младенцем!»

«Святая простота!» — сказал про подобную старушку с вязанкой хвороста Ян Гус, стоящий на костре.

Животные-младенцы вырастают, матери забывают своих детей. Про отцов вообще не будем говорить. Разве что о рыбке-корюшке, обитающей в холодной Балтике. Самец строит дом для будущего потомства, загоняет туда икрающую самку, оплодотворяет драгоценную икру, а когда опроставшаяся самка покидает супружеское гнездо, благородный отец еще несколько недель машет плавниками над своим будущим потомством, вентилируя воду. Его родительская любовь заканчивается в день, когда из икринок появляются малышки.

Любовь в животном мире, как показывают факты, — явление временное и даже сезонное. Ходят легенды о моногамных пеликанах и лебедях. Но обычно любовь заканчивается с периодом репродукции. Но достойна ли эта процедура называться любовью? И как быть с любовью человеческой? Она больше и сложнее, богаче и трагичней, во имя любви человек может убить себя — животное никогда до такой глупости не дойдет! Но что останется в остатке, если из огромной, сложной и парадоксальной человеческой любви вычесть эту примитивную жи-

Личный мир

вотную? Чтобы это понять, нужно усилие разума, этого изумительного аппарата, который сам себя контролирует, сам себя развивает и предоставлен к нашим услугам совершенно безвозмездно. Он, кстати, еще и совершенствуется в процессе эволюции. А любовь? Делается ли она совершеннее? Менее инстинктивной и более «духовной»? Она эволюционирует? Или эволюционируют лишь наши представления о ней?

Рассмотрим две основные гипотезы о происхождении любви. Первая — о ее Божественном происхождении. Напишем ее с заглавной буквы, потому что речь здесь идет о той Любви, которая есть Бог.

Моему сердцу очень дорога эта идея. Дивная красота предстает мысленному взору — звездное небо над нами: милый своими знакомыми очертаниями накренный ковш Большой Медведицы, пролитое молоко большого Небесного Пути, пара Рыб, скрывающих инициалы Христа, Телец, Дракон, распущенные волосы красавицы... Вся эта небесная колесница движется благодаря великому механизму Любви, одноименному Богу, и был он заведен, запущен и раскручен для того, чтобы на малой планете Земля возникла робкая жизнь, чтобы водоросли льнули друг к другу, а чтобы не было им скучно, туда же были запущены рыбы, а потом и птицы, и всякой твари по паре, по миллиону пар, и в конце концов Любовь, изнемогающая от безответности, создала себе Человека Разумного, чтобы он мог ответить любовью на любовь, и понять всё величие замысла, и оценить его, и слить свою ограниченную малую любовь с Великой Космической... (Критические замечания о некоторой дефектности этого проекта здесь не принимаются,

хотя они хорошо всем известны. Главное возражение: почему при таком гениальном замысле всё так паршиво получается?)

Рассмотрим вторую гипотезу — любовь как порождение человеческого разума, как плод его деятельности. То есть она есть отвлеченное понятие, в мире ее не существует, а имеет место идея любви (смотри Платона), а также множество разнообразных явлений, которые описываются как любовь. При анализе этого круга явлений человеческое сознание с древнейших времен проявило большое проворство. Там, где русский язык произвел одно-единственное понятие, древние греки усматривали множество разновидностей: упомянутый уже эрос — любовь чувственная, агапэ — любовь жертвенная, духовная, филиа — возвышенная любовь-дружба и, наконец, сторгэ — любовь-нежность, любовь-привязанность. Но есть еще и любовь-мания, болезненная одержимость, любовь-прагма, подконтрольная разуму, ничего общего со страстью не имеющая, наконец, любовь-лудус — взаимная игра, приносящая участникам мимолетное наслаждение.

Мир древних греков, густо населенный богами и духами, был пронизан и разнообразными любовными токами, рассмотренными внимательно еще Сократом, о чем нам сообщает сам греческий язык с тонкими различиями сортов любви.

Всякий язык по-своему интересен, даже если он не велик и не могуч. Он отражает сознание своих носителей, выбрасывает из себя лишнее, оставляет необходимое. В русском языке есть одно-единственное слово «любовь» — все прочие приходится одалживать у греков. Признаться, так оно и есть: с любовью у нас в отечестве плоховато. И в Европе не лучше. И в Аме-

Личный мир

рике не так уж блестяще. Про миры, сваренные из других ингредиентов, — арабский, африканский, китайский — судить не берусь. Но издали тоже ничего хорошего не наблюдается.

Речь здесь идет не о той любви, которая украшает мир потомством, а о той, ради которой это потомство производится.

В христианском мире изначально рассматривается два постулата, два основных направления действия любви — к Господу и к ближнему. В сущности, это две составляющих — вертикальная и горизонтальная... Вертикаль восставлена из человеческого сердца ввысь, к Творцу, от сердцевины души, то есть от совести, к звездному небу, синонимами которого выступает Абсолют, Господь Бог, Высший Разум. Это заявлял Кант, великий немецкий философ, а вовсе не какой-нибудь профессиональный богослов, с сирийской страстью, иудейской одержимостью или латинской логикой. Второй вид любви работает в горизонтальной плоскости — он направлен на ближних. Он труднейший. К тому же оба эти вида любви связаны неразрывно, ибо образуют некоторую систему координат.

Если можно представить себе любовь к ближнему, совершенно не связанную с любовью Божественной, то мы говорим о любви животной, располагающейся в области «дети—родители», «родня близкая — родня дальняя», — ничего плохого в этом нет. Но эта животная любовь уравнивает человека с его кошкой, которая испытывает, кроме страсти, и, судя по ее ночным воплям, весьма сильной, также и любовь к потомству — попробуйте вытащить из-под ее живота присосавшегося котенка.

Людмила Улицкая

Еще одна координата, которую мы вынуждены учитывать — время: время в понятии историческом и время в понятии человеческом, ограниченном одной-единственной жизнью. Любовь — подвижная модель, она изменяется во времени. Наши предки понимали под любовью не то, что понимаем мы, и даже наши современники имеют об этом предмете разные представления. Что еще более поразительно — даже в пределах одной жизни содержание этого понятия меняется. Любовь к маме, к кошке, к игрушке, к существу противоположного пола, к еде, к деньгам, к одежде, к спорту, к родине, к справедливости прорастают поочередно, сменяют одна другую, одна затухает, другая расцветает... Бог мой, и всё это любовь? И где-то среди этого салата — любовь к ближнему...

Любовь к ближнему, которую проповедовал своим соплеменникам и современникам провинциальный учитель Иисус из Галилеи, предлагала нечто отличное от кровной животной любви, которая достигает своей высшей точки на линии «дети—родители», уменьшается по мере ослабления родства и заканчивается на окраине деревни, города, на границе своего племени. Новый идеал любви к ближним — до отдачи своей жизни «за други своя». Русский язык дает некоторое смысловое усиление — в нем слова «друг» и «другой» однокоренные. Хорошая подсказка. Подчеркиваю — речь идет об отдаче жизни не за идеи, не за догматы, не за точку зрения, именно «за други своя». За людей, за отдельно взятых человек. И нигде, между прочим, не сказано «за народ». За исключением одного евангельского эпизода, когда иудейский первосвященник, не провидя колоссальных тектонических сдвигов в мировой истории от этих его

Личный мир

слов, произнес: «Лучше, если один человек умрет за народ...» Последствия широко известны.

Христианская история богата свидетелями, мучениками, исповедниками веры. Но я о других случаях. Последняя война показала нам прекрасные лица — они были христиане, иудеи, атеисты. Они отдавали свои жизни за других: за чужих, за малознакомых, даже за тех, кто им не очень нравился. Их было немало. Но всё равно они в убедительном меньшинстве. Некоторые имена хорошо известны. Но много и неупомянутых. Так, у моих внуков есть няня Нина, родом из Белоруссии. Ее мать Елена во время оккупации Белоруссии фашистами скрывала еврейскую женщину с ребенком. Время от времени к Елене приходила родная сестра и спрашивала: «Почему ты не выдашь этих людей? Если ты этого не сделаешь, я сама донесу!» Каждый раз Елена давала сестре полведра картошки или юбку, и та уходила удовлетворенная. Еврейская женщина с дочкой просидела в скрытом месте до конца войны, до освобождения, и все выжили. Что за любовь двигала Еленой? Мотивации, строго говоря, нет. Она подвергала риску жизнь свою и собственных детей, но отдать на смерть других не могла. И, признаться, история эта выглядела бы не так потрясающе, если бы скрывала она у себя в подвале возлюбленного, к которому бежала бы по ночам целоваться.

Впрочем, любовь, даже эротическая, никогда не имеет рациональной мотивации. Кто объяснит, за что Данте любил Беатриче? Почему его сердце выбрало из всех флорентийских красавиц эту тринадцатилетнюю? Этот выбор сердца — великая тайна. Но это по опыту знает каждый влюбленный, а некоторые даже доживают до такой минуты, когда сами себя спраши-

Людмила Улицкая

вают с недоумением: за что же я полюбил это ничтожное существо? Ну, это, понятное дело, Эрос виноват. А за что любить ближнего без привлечения Эроса? Вообще? Просто так? Ни за что?

Заповедь любви к ближнему содержит очень знаменательные слова: «Возлюби ближнего как самого себя». То есть предполагается, что в первую очередь человек должен научиться любить себя самого, а ближнего — не меньше. Себя любой человек любит без всякой мотивации. И вот в послевоенные годы случился огромный переворот в сознании — людей стали обучать сознательной любви к самим себе. Дело было поставлено на научную основу. Включилась физика, химия и биология, подтянулась медицина со всеми ее замечательными достижениями в стоматологии, косметологии и хирургии. Вперед вырвалась психология с убедительными обоснованиями. Придумали множество способов, как выразить человеку любовь к самому себе. Заработали заводы и фабрики, захлопотали коммивояжеры. Оказалось — золотое дно! Биохимия разрабатывает кремы и примочки, конструкторы создают проекты новых, еще более комфортных кроссовок, химики — новые антиаллергические материалы, модельеры — всё новые коллекции одежды. И вся эта огромная индустрия нежно нашептывает, постепенно повышая голос до крика: Люби себя! Балуй себя! Доставляй себе удовольствие! Ты этого достоин!

А как еще выразить любовь к самому себе?

С чего мы начинали? Где вертикаль? Где горизонталь? Всё сливается в единой точке — в любви к самому себе. Целая цивилизация развернулась и подталкивает человека к этой бесплодной, бесперспективной, в тупик загоняющей любви. Термин «нарциссизм» был

Личный мир

пущен в оборот известным миру венским доктором, большим знатоком античности. Древние греки и тут опередили современность.

Мифологический юноша по имени Нарцисс был влюблен в самого себя. Нарциссизмом по сей день называют эту влюбленность в себя самого. Умные люди всех времен и народов знали об этой смертельной болезни любви.

Любовь как будто сворачивается в одной-единственной точке, и всё ее многообразие, все оттенки исчезают: ни вертикали, ни горизонталь. Нет больше ни творчества, ни благодарности, ни счастливого восхищения миром. Растворяется даже любовь-инстинкт, даже любовь-эрос, толкающая людей в объятия, притупляется любовь к детям, родственникам, друзьям. Уже упоминаемый доктор Фрейд обозначил раннюю стадию развития ребенка как «аутоэротизм»: первичное эмоциональное постижение себя самого и окружающего мира. С взрослением это проходит, возникают побеги любовного чувства, направленные вне себя.

То, что происходит с Нарциссом, можно рассматривать как патологический случай обратного развития — не эволюция, а инволюция. Если это действительно так, мы стоим на пороге открытия. Оптимистическая идея вечного развития как движения в неопределенный «перед» дает как будто сбой. Но мы в наших рассуждениях сосредотачиваемся только на одном аспекте, трудно определимом, однако для человеческого существа определяющем само качество человечности, связанное со способностью «вырабатывать» любовь. Но куда ее направить, эту любовь?

«Любите самого себя, достопочтимый мой читатель!» — с сарказмом восклицал Пушкин. Сарказм

Людмила Улицкая

остался незамеченным, но сам призыв был услышан, и притом буквальным образом. Возник новый литературный герой. В англоязычном мире он был Чайльд Гарольдом, в русскоязычном — Евгением Онегиным. Оба они были умнейшими людьми своего времени, хотя и несомненными идеологами эгоизма. Оба неважно кончили. Но какова толпа их поклонников, не обладающих их несомненными достоинствами! «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — утверждал Пушкин. Но человек, который думает только о красе ногтей, дельным быть не может...

Собралась целая армия людей самых разных национальностей, культурного уровня, профессий, возрастов. Продавщица из гастронома и великая артистка, спортсмен, бизнесмен и водопроводчик, школьник и пенсионер — каждый по мере сил и возможностей старается ответить на льющийся в уши призыв: люби самого себя! Ты достоин всего самого лучшего! Ты этого достоин!

Эгоизм — понятие нейтральное. В нем реализуется столь необходимый человеку инстинкт самосохранения. Но где проходит граница между инстинктом самосохранения и угождением себе как жизненному принципу? Может быть, ответ на этот вопрос снова дает язык. «Эго» — слово переводное, из латинского. «Эгоизм» в сегодняшнем смысле определен французским Просвещением. На русский язык он переводится как «себялюбие». При кажущейся идентичности смысла, понятия все-таки различны. Эгоизм существует в рамках инстинкта самосохранения, и его верхняя граница, как мне представляется, находится там, где начинается нижняя у понятия «себялюбие». Но эта

Личный мир

лингвистическая разница, возможно, не так и важна. И без этих рассуждений нам известно, насколько мучительна граница между двумя человеческими эгоизмами, между двумя «себялюбиями». Как обращаться с тем, кто даже не угрожает моей жизни (здесь вступает в действие самооборона), а всего лишь препятствует моему удовольствию? Эгоизм не имеет предела. Его единственное ограничение — эгоизм другого. Война эгоизмов всем известна по семейным конфликтам, по ссорам людей, находящихся в тесном общем пространстве. Существуют два сценария: первый — уничтожение носителя враждебного эгоизма, второй — добровольное ограничение своего собственного.

Но если предоставить эгоизм самому себе, он замыкает человека в крепчайшую западню, в ловушку одиночества. Он либо превращается в монстра, маниакально и автоматически продолжая процесс потребления, но уже не получая от этого ни малейшего удовлетворения, либо заболевает. Это заболевание может называться как угодно — депрессия, одиночество, внутренний кризис, утрата мотивации к жизнедеятельности, просто смертельная скука. Любовь эротическая — самый легкий, но и самый ненадежный выход. Эта любовь ненадежна, потому что привязана ко времени. Брачный сезон, короткий или длинный, — вот ее срок. Редко, страшно редко эротической любви удастся преобразиться в более высокую ее разновидность, и из нее, как из куколки, появляется новое существо — крылатое и свободное от закона необходимости, всемирно-полового притяжения, — и взлететь из плоского мира, из тривиальной жизни, со страниц художественной литературы с ее вымыслами

Людмила Улицкая

и ложью в свободное пространство любви, не подчиняющейся инстинкту размножения.

Романы, где главенствует эротическая любовь, расцвели в XIX веке. В XX они обрели обязательный хэппи-энд. До этого времени все великие произведения о любви непременно кончались смертью одного из персонажей, как правило женского. И это неизбежно: если не поставить точку вовремя и дать долгую супружескую жизнь любовникам, кто же поручится, что Беатриче, приобретя с годами жизненный опыт, не станет изменять супругу с конюхом, из Джульетты не вылупится властная матрона, преследующая мужа ревностью и подозрениями, а Анна Каренина, вступив во второй брак, не станет наркоманкой ввиду угасания к ней сексуального интереса со стороны мужа, увлеченного исключительно лошадьми?

Никаких выводов и деклараций. Тихо-тихо, очень доверительно, рискуя вызвать негодование и протест, шепну в конце моего небольшого исследования: любви в мире очень мало. С ней обстоит в нашем мире очень плохо, хотя с любовными романами дело как раз обстоит очень хорошо: их прекрасно раскупают. А вот любовь всё более деформируется благодаря всё возрастающему эгоизму, возведенному в принцип, в закон, в основу существования. Любовь истощается и уплощается, она всё более сводится к сексу, который наиболее безличен из всех видов любви. Так и хочется прикрикнуть на это всепожирающее чудовище: кыш! на место!

Где проходит граница, когда волшебная влюбленность превращается в любовь собственническую, алчную и мрачную, когда наступает момент превращения волнующего притяжения в тяжелую похоть, жаж-

Личный мир

душую удовлетворения, но не встречного движения нежности и приятя, в какой момент Эрос открывается не как шаловливый и прихотливый божок, а как жесткий, циничный и кровожадный идол, искажающий человеческое поведение? О, сколько преступлений совершено по его наводке, подначке и попустительству! В тюрьмах сидят тысячи мужчин и женщин, зарезавших, зарубивших топором, застреливших и задушивших тех, кого «безумно» любили. А сколько миллионов семейных пар, переживших свою любовь, ссорятся, раздражаются и тихо ненавидят друг друга до гробовой доски?

Кто сказал, что в мире слишком много любви? В мире острый дефицит любви — бескорыстной, самоотверженной, свободной. Той, о которой произнес апостол Павел свои бессмертные слова: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...»

Пусть цветет Эрос, украшая нашу жизнь счастливыми мгновениями, давая пережить глубочайшую нежность и любовные восторги, самозабвение и остроту воссоединения, и благодаря эротической любви порой и самые жесткие и эгоистические люди становятся мягче и человечней. Иногда даже Эрос может стать проводником и пробудить в человеческой душе разновидности иной любви. Однако именно Эрос, приносящий влюбленным и любящим блаженство и наслаждения, дает своим приверженцам и самые

Людмила Улицкая

неисцелимые страдания. Когда кончается обольщение, которым Эрос так часто подвергает влюбленных, человек остается лицом к лицу уже не с приукрашенным фантазией, а с реальным человеком, начинается жестокое разочарование. И именно тут начинается работа другого рода любви, Божественной — агапэ, любви жертвенной, духовной, филиа — возвышенной любви-дружбы и, наконец, сторгэ — любви-нежности, любви-привязанности. Всего того, что составляет вертикаль, без которой человек превращается в животное. Иногда даже симпатичное, но чаще — безобразное.

МИР ВОКРУГ

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Мы здесь живем — в стране шаткой, валкой, горделивой и нищей. Чтобы ее разглядеть, надо далеко отъехать и смотреть на нее издали. Если смотришь с расстояния близкого — то грязь бездорожья, то смог, то пурга. Бомжи на перекрестках и «мерседесы» с мигалками. Взбесившееся, потерявшее стыд богатство и унижительная бедность. Убежать от этого невозможно: жизнь тянет в эту воронку, и оказываешься неожиданно для себя в разных несоединимых местах — на прекрасном концерте в консерватории, в хосписе, в детской колонии, на посольском приеме, в отделении милиции. Всюду жизнь, и всюду люди: чудовищные монстры и святые, прожженные твари и бессребреники, работяги и паразиты. Наши соотечественники.

НЕДОЗВОЛЕННОЕ ВЛОЖЕНИЕ

- «1. Трусы дет. 2 пары
2. Майки дет. 2 пары
3. Джинсы дет. 2 пары
4. Сандалии дет. 2 пары
5. Фломастеры 2 упак.
6. Игры для дет. 2 упак.»

Таков был список, по верху которого шла лиловая чернильная надпись «Недозволенные вложения». Бумажку эту мне вручила моя поруга Лена в 1986 году в Техасе, в пригороде Далласа, где жила она к тому времени около десяти лет. Я приехала к ней в гости на три дня из Нью-Йорка. Это была моя первая заокеанская поездка.

Вместе с бумажной квитанцией она передала мне и весь пакет с посылкой, которая вернулась к ней, совершив далекое и бессмысленное путешествие из Нового Света в Старый и обратно. Дети к тому времени выросли из трусов и маек.

Я сунула недозволенный пакет в чемодан вместе с целым ворохом мелких детских радостей: солдатиков, стрелялок, заколок, пластмассовых мелочей, назначение которых ясно только детям.

Техас показался мне удручающе унылым и провинциальным. Издали его большие города выглядели как куча цветных кубиков, брошенных исчезнувшими с лица земли детьми великанов, а изнутри представляли собой гибрид духовки с холодильником. Заходя в помещение, сразу замерзаешь; выходя на улицу, плависься от жара.

Мир вокруг

Еще одна очаровательная особенность Техаса — нарушение привычных пропорций. Как будто попадаешь в масштаб 1:1,5, называемый художниками «полторы природы». Огромные мужчины и женщины, высокие стулья и стойки баров, ровно мне по подбородок, сеттеры величиной с догов, персики с арбуз... И простодушие, и патриотизм, и густота волос, и блеск лысины, и размер порций — всё в этом масштабе.

Когда я в техасской компании робко пошутила — мол, я здесь по обмену: Рейган в Москву, а я — к вам, они смеялись до конца приема, часа три, вспоминая снова и снова мою сногшибательную шутку. Словом, Техас.

А потом я вернулась в Нью-Йорк, а оттуда поехала в Новую Англию и еще куда-то и в своих путешествиях забыла и про Техас, и про посылку, которая терпеливо ждала третьего перелета через океан.

Перед отъездом приятель принес мне огромный армейский мешок ростом почти с меня, и я два часа набивала его несусветной чепухой. Это были подарки нашим детям. Сейчас трудно себе представить, сколько счастья было утрачено в этом мешке: машинки, динозаврики, наклейки...

В те годы через железный занавес даже этот убогий товар с трудом протискивался, и я не догадывалась, какая бомба замедленного действия содержится в этом мешке.

Перевес был чудовищным, один этот мешок весил почти сорок килограммов, но русские путешественники были еще в диковинку, и меня пропустили без штрафа. Зато в Шереметьево, выстояв двухчасовую очередь перед таможенником, я испытала острое ощущение.

Людмила Улицкая

Передо мной шмонали старушку. Возвращалась она из Огайо в Минск. Гостила у родственников. Уже сутки она была в пути, и всё еще далеко от дома. Паричок съехал набок, очки то и дело падали с влажного носа, руки тряслись, и до инфаркта, судя по ее виду, оставалось несколько минут.

Хладнокровный таможенник брезгливо вынимал из ее чемоданов одну за другой поношенные вещички и монотонно задавал один и тот же вопрос:

— Сколько стоит?

Помнится, в те благословенные времена товару можно было ввезти не больше чем на 250 долларов.

В руках таможенник держал обтрепанную отечественную детскую шубейку:

— Сколько стоит?

Старушка тряслась как осиновый лист:

— Понимаете, в этой шубке уехала Раечка, а сейчас Фимочка вырос, и ему уже как раз... и взяла ее обратно, ему уже четыре годика, понимаете...

— Один доллар, — строго произнес таможенник. Он вел запись ее помоечного барахла.

И длилось это сорок минут: четыре фибровых чемодана с железными углами, тряпка за тряпкой.

Я страдала от отвращения и жалости к старушке, от ярости и ненависти к таможеннику, от унижения и беспомощности. Зато когда подошла моя очередь, я была в отличной форме: готова. Я знала, что я сейчас сделаю — я вытряхну утрамбованный мешок, и всё мое жалкое хрунье раскатится по углам, и я скажу ему: «Дарю!» И гордо пройду мимо, оставив желающих подбирать всю эту сладкую мелочовку...

Мешок мой поехал в трубу, таможенник впялился в телевизор. Вот тут и произошло непредвиденное:

ремень от мешка за что-то зацепился и транспортер запыхтел, закряхтел и остановился... Я влезла вслед за мешком, рванула, пихнула, и он поехал... И тут мы встретились с таможенником глазами. Он посмотрел на меня с интересом. Сукин сын, с интересом! И тогда я сказала то, чего и не думала! И даже не вспомню, что именно! Я сказала те самые слова и в том самом порядке, в котором надо было. Громко, медленно и отчетливо. Воспроизвести не смогу.

Когда я закончила длинное и виртуозное построение, которое в обычных типографиях воспроизводится многоточием, он вынул у меня из руки бумажку и шлепнул по ней печаткой. Я всё еще стояла и собиралась вытряхивать из мешка мелкие потроха, еще не понимая, что победила.

— Что вы стоите? Проходите, — сказал таможенник.

Слова оказались волшебными — он меня не досматривал!

И я пошла, волоча за собой мешок за полуоторванную лямку. Передо мной шкандыбала старушка из Минска.

Теперь близко к финалу. Брат меня встретил. Дома мешок распаковали. Дети были счастливы. И мои, и множество детей моих подруг. Всем всего хватило.

Сын Алеша, тогда лет двенадцати, раскрыл американскую посылку, в которой «Трусы дет. 2 пары» и т.д. Его интересовали игры. Одна была скрэбл, а вторая называлась «RISK» — вариант «войнушки». Нанесенная на картонку карта мира. Но какая-то не такая. Странная. Советского Союза нет. Вместо него совсем другая география: синяя Украина с выходом к Северному Ледовитому океану, с протяженными граница-

Людмила Улицкая

ми со Скандинавией, Северной Европой, Афганистаном и Уралом. Зато бледно-зеленый Урал граничит с коричневым Афганистаном, желтым Среднеазиатским и темнозеленой Сибирью. Сибирь примыкает к лиловому Якутску, серенькому Иркутску и оранжевому Монголо-Китаю. Имеется также отдельное государство Камчатка. Вот оно, недозволенное вложение, политический фантазм, географическая шизофрения.

Тюрьма. Расстрел. И вообще конец света! И он пришел. Действительно пришел конец света. Один кончился, другой начался. Не в первый раз. Уже бывало. Великая Ассирия и Великая Армения. Великая Британия и Великая Германия.

Хотя, конечно, жаль, что на той карте не осталось места для России. Хотя бы не великой, но просто — России.

ШЕСТЕРО ВНУКОВ ЕЛЕНЫ МИТРОФАНОВНЫ

Бежишь по подземному переходу, суешь, не поднимая глаз, мятую бумажку в протянутую руку — и дальше. Не заглядывая в лицо, торопливо, сохраняя то расстояние, которое позволяет выживать и подающим, и принимающим.

Нищие несимпатичны. От них плохо пахнет. Иногда они пьяные или, хуже того, наглые. И эти сомнительные матери с подозрительно крепко спящими младенцами. И безногие солдаты — а солдаты ли они? И еще, говорят, орудует какая-то цыганская мафия, так что вся эта армия вообще не нищие, а просто си-

Мир вокруг

дящие на зарплате служащие широко раскинутой сети... Социальные проблемы большого города — Нью-Йорка, Рима, Рио-де-Жанейро...

А Елена Митрофановна сидит в переходе на площади Революции, в Москве. Она иностранка, из Крыма, из пыльного города Белгородска недалеко от Симферополя. В Москве живет семь лет. Когда приехала, было двое внуков, а сейчас их шестеро. Младшему — семь месяцев, старшему двенадцать лет. Недавно выгнали с квартиры. Вторую неделю ночует с детьми на Павелецком вокзале. Платишь десятку — впускают.

Здесь я с ними и познакомилась. Бабушка и внуки. Очень хорошие дети, славные, чисто одетые, воспитанные. Домашние дети, слушаются бабушку, помогают друг другу, тетрадки и книжечки раскладывают на вокзальном кресле. Симпатичная семья. Черно-белая кошка опасливо выглядывает из набитой тряпьем сумки...

Мой приятель Данила Похитонов шел мимо, глазом зацепился. Теперь вот притащил термос с чаем. И меня. Посмотреть и подумать, что можно для них сделать. Дети пьют чай, а я смотрю и думаю.

Елена Митрофановна обвязывает носовым платком треснувшую крышечку детской бутылки, приговаривает:

— Раньше к детской кухне были прикреплены, так удобно было. Молочное давали... — Ребенок сосет разведенное чаем детское питание и похныкивает — не привык еще, новая еда для него.

— Пора уже от соски отучать, — бормочет бабушка.

Елена Митрофановна хорошая бабушка — преданная, самоотверженная. И она права — пора приучать

Кирюшу к ложке. А также к столу, стулу. К кроватке. К дому. Только где всё это взять?

Вопросов, вообще говоря, больше, чем ответов. А где мама этих детей? И, простите за бестактность, папа? И зачем уехали из Белгородска? И не хотите ли вернуться назад?

Про дочь Елена Митрофановна ни говорит ни одного дурного слова: дочь хорошая, не пьет, не курит. Поехала сейчас друга навестить и не знает, что их с квартиры согнали... Мы промолчали. Чего попусту языком махать?

Трехлетний Женя простужен. Данила принес лекарство.

— Нет, нет, — уверяет бабушка. — Он здоров, температуры нет.

Больше всего она боится расстаться с детьми, потерять их. А я тяну разговор в свою сторону: есть детский дом при Департаменте народного образования. Там распределяют детей по семьям, дают в хорошие руки, без усыновления, платят в такую семью социальное пособие, и растет чужой ребенок вместе со своими. Патронатный детский дом называется.

— Что вы, что вы, — пугается Елена Митрофановна, — пока жива, я своих детей не отдам.

Как тут возражать? И я бы своих внуков не отдала, если бы они у меня были. К тому же, честно говоря, ее детей никто в детдом не приглашает: детки-то иностранные, украинские, а у нас, как известно, и своих много.

И вот я сижу на Павелецком вокзале, я — советчик мастер-класса, и испытываю растерянность, какой еще в жизни не испытывала: с какого бока взяться за эту горячую кастрюлю без ручек... Эти русские дети

иностранцы, к тому же не беженцы, и беженского статуса им не дадут, квартиру им снять крайне трудно — кто захочет пускать нищую с шестью детьми? В деревне, если заселить их в пустующий дом моей подруги, они не выживут: не сможет одним огородом прокормить шестерых детей немощная старуха, и в деревне не подают, напротив, последнее бельишко с веревки стащут. Да и не хочет она в деревню. Она человек городской, всю жизнь в депо проработала. Прокормиться подаянием можно только в большом городе. Дети одеты хорошо, в церкви из гуманитарной помощи дали им одежду. Но жилья по гуманитарной помощи не дадут...

Эти птицы небесные живут сегодня. О завтрашнем дне думать — слишком большая роскошь. Мы им дали денег на гостиницу. Чтоб помылись, выпались. Но оказалось, что ночевали они снова на вокзале. Такие деньги — за одну ночь? Не смогла Елена Митрофановна с ними расстаться, она ведь мечтает, что не сегодня-завтра найдет квартиру, снимет что-нибудь...

— Я устала, мне бы отдохнуть. И зуб болит, — говорит она.

Можно в скорую стоматологическую, там бесплатно. Нет, не может от детей отлучиться...

Полгода тому назад я познакомилась с замечательной француженкой, Катрин Леру. Она чиновник в мэрии, мать трех сыновей, хозяйка красивого дома в пригороде Парижа. Программа, которой она занимается, называется «Дети на улице». Катрин возглавляет отдел, который занимается уличными детьми. Заодно и нашим подбрасывают.

— Сначала мы помогали деньгами, — рассказывала она, — а потом обнаружили, что деньги разворовывают, до детей почти ничего не доходит. Теперь мы

Людмила Улицкая

пошли по другому пути: нашли в России людей, способных вести работу, аналогичную нашей работе во Франции, и помогаем им организовать структуру, проводим семинары.

Вот передо мной папка с документами: как общаться с уличными детьми, с детьми-наркоманами, с детьми-преступниками...

Дети Елены Митрофановны — не наркоманы и не преступники. Они обыкновенные дети, и, пока жива бабушка, она их, может быть, и сохранит. Что будет с ними дальше?

Меня, откровенно говоря, не интересуют глобальные проблемы. Глобальными пусть занимается правительство. Меня интересуют эти шестеро. Им очень трудно помочь, потому что надо делать не то, что я считаю правильным и нужным, а то, что считает правильным и нужным их бабушка. А их хорошо бы раздать по нормальным семьям. Без усыновления, на патронатное воспитание. Но это практически невозможно. Не разрешает, между прочим, и закон. Мать должна от них официально отказаться. Спасибо, разрешают им добрые милиционеры переночевать на вокзале за входную плату в десять рублей. Да, есть еще и мама, про которую я и не говорю. У меня есть кое-какие догадки относительно мамы. Бог с ней.

В любом случае детям нужна крыша над головой. Сначала снять. В принципе, может, комнату им купить? Звоню моему другу, знатоку в юридических делах. Он говорит — да, в принципе можно. Правда, оформление такой сделки для иностранца стоит шестнадцать с половиной миллионов рублей. Да и сама комната — не меньше десяти тысяч долларов. Прописать их не пропишут, но собственниками они бу-

Мир вокруг

дут. И выгнать не имеют права. К тому же последние четверо детей родились в Москве. Со временем их можно будет и прописать... Обещает помочь.

Я не могу ничего придумать. Могу только встать рядом с Еленой Митрофановной и ее детьми и просить: подайте...

Стыдно жить в нашей великой стране. Стыдно богатым, стыдно бедным. Даже тем, кто не богат, но просто сыт и имеет крышу над головой, и то стыдно. Всем.

ТУГОЕ ПЕЛЕНАНИЕ

(2000 год)

В 1997 году я провела несколько месяцев во французской Фландрии, на границе с Бельгией. Для Франции это довольно бедные места. Я жила в европейском доме творчества, в усадьбе писательницы Маргерит Юрсенар. Такая возможность предоставилась благодаря французской премии. А условием пребывания было написание произведения. Этим я и занималась, а в свободное время смотрела в окошко. Моя комната на втором этаже выходила в чудесный парк: там дивной дугой выстроились семь старых яблонь, а за ними разворачивался пейзаж, знакомый из голландской живописи. И вот однажды из окошка наблюдаю картину, напоминающую брейгелевский сюжет: идет между деревьями группа странных людей — хромых, кривых и головастых, с синими мешками в руках. А с ними — несколько вполне с виду нормальных, которые этих инвалидов опекают, под ручки поддерживают, помогают падалицу в мешки засовы-

Людмила Улицкая

вать... И как только хорошая погода, под моим окном начинается эта фантазмагория. Выясняется: неподалеку интернат для дефективных детей. Не для богатых. Социальное учреждение содержится на деньги налогоплательщиков. Старшая группа — семь инвалидов и пять человек обслуживающего персонала — гуляют в закрытом саду виллы Юрсенар и собирают яблоки. Не для еды (кажется, во всей деревне только я да семейство ежей ели эту падалицу), а для развлечения. Потом они яблоки кроликам отдавали. Инвалидам нравится возиться с животными...

Я человек сентиментальный, у меня слезная железа большая и рыхлая, чуть что — реагирует. А я видела у нас подобные дома для инвалидов детства — эти маленькие представительства ада. Видела голых детей, лежащих на голой клеенке и привязанных к кроватям. Как тут не заплакать? Тогда я отчетливо поняла, что честь и достоинство государства и общества нужно оценивать именно в этой точке: что они делают для своих детей-инвалидов, для беспризорников, для малолетних правонарушителей.

Недавно мне позвонила подруга, психолог, и предложила поехать с бригадой правозащитников в детскую колонию в Курск. Я знаю, как взрывают жизнь такие поездки. У меня недописанная книга. Осталось всего ничего — страниц тридцать. Но я согласилась. Потому что та жизнь, которая за окном, не менее важна, чем та, которая завелась в моих бумажках.

Эта поездка заняла три ночи и два дня. Приехала я измученная и больная. Чтобы вернуться к своей собственной жизни, надо было всё увиденное записать...

Мир вокруг

Что я оттуда привезла? В моей сумке лежит список из шестнадцати имен — сироты, отбывающие заключение в курской колонии. Они никогда не получают посылок с воли. Еще я привезла с собой острое ощущение, что мой личный приватный мир построен на тончайшей пленке, под которой царит настоящий ад: ад тюрем, войн, больниц, детских домов и домов престарелых... Я знала это и прежде, но сознание эгоистически старается отбросить всё, что мешает комфорту. А жизнь напоминает...

Итак, поездка в Курск. Русский провинциальный город. Что там? Курские соловьи. Свекор в войну потерял ногу под Курском... Один из моих дядьев, офицер, уже после войны служил где-то здесь. Я, маленькая девочка, помню, что домашние слали ему продуктовые посылки, обшитые белым полотном, а на них лиловыми чернилами написано КУРСК, в/ч № ...

В клюшниковском энциклопедическом словаре 1878 года написано, что город основан в X веке, лежит при впадении Куры в Тускору. 40 000 жителей и 100 фабрик, две гимназии и обсерватория, театр и кредитный банк.

Едем мы в Курск бригадой: правозащитники, юристы, психологи и писатели — Сергей Каледин и я. В городе проводится Неделя малолетнего узника. Как бывает Неделя индийского кино.

С поверхности задача выглядит так: ознакомительное посещение воспитательной колонии для малолетних (14–18 лет) и проведение круглого стола. В фойе кинотеатра развернута выставка «Человек и тюрьма», очень страшная выставка, про которую совершенно невозможно сказать, что она хорошая. Такой фотоматериал и такие сведения, которые лучше

Людмила Улицкая

не знать — так удобнее для жизни каждого обыкновенного человека.

Главная задача всей акции — привлечь внимание людей к ужасающему положению, которое организаторам этой поездки известно во всех деталях, а нам с Калединым — лишь в самом общем виде. Мы с Калединым, кажется, самые старые здесь. Вся эта бригада, кроме Мариши и Наташи, моих подруг, которые и завлекли меня в это мероприятие, мне незнакома. И все сразу нравятся. Есть в них нечто неуловимо-общее, что сформулировать я могу теперь, когда эта поездка уже закончена: давнее чувство стыда жить, собственной личной вины при столкновении с нечеловеческим, адским, космически несправедливым миром.

На стенде их выставки прочла высказывание неизвестного мне писателя: «Эту страну надо лишить родительских прав». Лучше не скажешь. Это она, Родина-мать с известного плаката военных лет, с негнущимся указательным пальцем и взглядом, как дырка дула, спрашивающая: «А что ты сделал для победы?», превратилась в восточное женское божество, пожирающее свой приплод. К этому я буду мысленно возвращаться два дня и три ночи...

Курск некрасив, бедняга, хотя и стоит на чудесных горках, всё обещающих речку в низине. Но никакой Куры и никакой Тускоры... На месте разрушенного в войну губернского деревянного города построен сталинского стиля центр, с колоннами и фронтонами, некоторое количество новостроек, перемежающихся милыми деревянными остатками довоенных строений. Выглядят эти деревянные домики элегически.

Мир вокруг

Устроились в гостинице и сели в автобус — ехать в обещанную колонию. Оказалось, что, кроме московской группы, в автобусе сидит еще человек десять курских, всё тот же набор — правозащитники, юристы, психологи. Всего около тридцати человек, что очень плохо. По разным причинам. Недовольны куряне, недовольны и москвичи. Здесь оказалась зарыта довольно вонючая собака, о чем мы догадываемся несколько позже. Дело в том, что курские правозащитники, как и мы, не были прежде в этой детской колонии — им не давали разрешения. Только благодаря приезду москвичей они смогли наконец попасть туда. Но пока мы этого не знаем, а только понимаем, что группа слишком велика для какой бы то ни было работы...

Перед длинной дорогой — колония, куда мы направляемся, находится в двух часах езды, на границе области, в 12 км от Украины — завезли нас в УИН. Я и слова этого прежде не знала. Это бывший ГУЛАГ, его областное начальство. Ввели нас всех в кабинет начальника. Лицо западного киноактера, вроде Питера О'Тула, — красив, мужественен. Глаза жесткие, враждебные, само собой. Он заведомый мой враг. Мои деды в общей сложности лет тридцать в ГУЛАГе отсидели. Он — носитель зла. А я — разумеется, добра... Такой расклад. Он сообщает, что нас слишком много, что времени на посещение колонии он дает один час. У Степы Живова, нашего оператора, вытягивается лицо — зря аппаратуру тащил? Мы что-то пытаемся возражать. Полковник отвечает твердым отказом.

Поехали. Погода экскурсионная, словно на заказ: Мороз и солнце! День чудесный! Белизна, холмы,

Людмила Улицкая

пригорки, черноземные, в упадок пришедшие поля укрыты снежным покровом.

Колония не оказалась ни городом, ни деревней. Тюремное поселение среди чистого поля. Когда-то здесь было ПТУ закрытого типа, тоже разновидность колонии. Напоминает огромный пионерский лагерь времен моего детства. Щиты с назиданиями. Дорожки. Стадион.

Бродят какие-то смутные мысли о времени, о неравномерности его течения. В Москве наступил 2000-й год, в Курске всё еще тянутся семидесятые. Здесь, в этой колонии, — пятидесятые. По неуловимому качеству атмосферы. А потом мы вошли в актовЫй зал, где сидели двести пятьдесят малолетних правонарушителей, бритоголовых, в черных бушлатах, и это уже был запах тридцатых... Что-то, напоминающее кадры из фильма «Путевка в жизнь».

В 1934 году был издан указ, по которому расстрельный возраст опускался до двенадцати лет... Это — в порядке отступления. Мы живем в гуманные времена!

Здесь, в актовом зале, происходит следующее: сначала выступил священник, из местных. Он был прекрасный старик, похожий на какого-то русского святого, с крестьянской внешностью и совсем не московской горячей речью. Серому ратиновому пальто, из-под которого болтался подол грубой рясы, никак не меньше сорока лет. А истертая кожаная ушанка наверняка пережила войну. Нестяжатель. Неворующий. Радостная редкость среди сегодняшних разевшихся ризоносцев. И говорил он хорошо, про всё хорошее и понятное, про любовь к родителям например. Он напирал на пятую заповедь, а я смотрела на этих бритоголовых и мысленно прикидывала, сколько среди

Мир вокруг

них детдомовцев, сирот при живых родителях, нелюбимых, брошенных, забытых. Какое несметное дарование любви должно быть в каждом из этих детей, чтобы не возненавидеть родителей, их избивающих, предающих...

Потом раздали им московские гостинцы. Гвоздь программы — пакет с ручкой, конвертом, куском мыла, парой мандаринов... Еще было несколько ящиков собранных для них книг — да будут ли читать? Еще вопрос.

Потом один отряд повели на обед, а нас — смотреть на кормление. В столовке пахло человеческой едой, не баландой. Первое, второе, булочка поверх стакана. И главное — котлетка. Маленькая, размером с мандарин, котлетка. Скорее всего, показательная. Ну и то хорошо. Если она ради нашего приезда к ним попала, одно это оправдывает наше путешествие.

Бегом, бегом. Нас торопят. Нам дали всего час, а посмотреть хочется санчасть, и ДИЗО, и школу, и спальни... Мы всюду заглянули. С гордостью показали нам УИНовцы свое подсобное хозяйство: 160 гектаров земли, стадо коров, несколько лошадей. В коровнике телята трехдневные, недельные, свиноматки с поросятами. Рассказывают: у нас летом по полтора литра молока на заключенного. К бюджету — своя пятидесятипроцентная надбавка. Свой хлеб.

Они гордились, что половину питания колония производит самостоятельно.

Всё было в отменном порядке. В санчасти больные болели, в ДИЗО штрафные стояли строем, готовые к разговору. Разговор был короткий:

— За что сидишь? — За развратные действия.

— А ты? — Я кипятыльник изобрел.

Людмила Улицкая

— А ты? — Да вроде подрался.

Эта зона — «красная». Это значит, что хозяева в зоне — администрация, в отличие от «черных» зон, где царят блатные. Это также означает, что самые слабые и младшие в «красных» зонах отчасти защищены. Их регулярно осматривают и расследуют каждый синяк. Педагоги и воспитатели стараются, по мере возможностей, предотвращать тот беспредел, которому подвергают в «черных» зонах «опущенных»... Это, кстати, одна из многих причин, почему нужны тюремные психологи, особенно в колониях для малолетних. Законы зоны таковы, что администрация всегда опирается на какой-то контингент из числа заключенных. В «черных» зонах — на блатных, облеченных неограниченной властью над прочими заключенными, в «красных» — на активистов-осведомителей...

С точки зрения моих друзей, имеющих лагерный опыт в средне-советские времена, одно стоит другого. Но статистика заставляет человека со стороны считать, что «красная» зона все-таки лучше для выживания. Хотя дисциплина здесь бывает более жесткой, но рецидивов, повторных посадок после отсидки в «красных» на порядок меньше.

Наше путешествие закончилось. Позади за проходной остался плакат «120 лет уголовно-исправительной системы». Непонятно: в том смысле, что «да здравствует», или в том смысле, что она всех переживет.

Мы провели в зоне выпрошенные нами 75 минут и оставили внутри мальчишек, которым еще сидеть и сидеть. Дружелюбных охранников и замкнутых пацанов.

Юристы и психологи так и не побеседовали ни с одним из заключенных. Не получилось. Попроси-

ли устроить эту встречу завтра. Опять отказано. Зато поговорили с персоналом. Позже проанализировали наше общение с охраной и пришли к выводу, что положение у них тоже незавидное. Они, УИНовцы, боятся всяких инспекционных поездок, как государственных, так и общественных. Они не умеют накормить пятью хлебами четыре тысячи человек. Но они завели хозяйство и к бюджетным деньгам, выделенным на прокорм колонии из расчета 69 копеек на заключенного в день, добавляют столько же. Ребята работают по хозяйству. Но работает и персонал. Весь сенокос, большая часть полевых работ лежит на персонале. Они, как и заключенные, нуждаются в работе с психологом. Скорее кажется удивительным, что говорит нам об этом именно начальник местного УИНа. Он побывал в Англии для ознакомления с организацией аналогичных учреждений, и этот опыт, судя по всему, произвел на него незабываемое впечатление.

У охранников, как и у заключенных, есть проблемы с медицинским обслуживанием: специальных медицинских учреждений для них нет, в то время как армия и МВД их имеют. Охранники, как и заключенные, — в своем роде люди низкого сорта. Общество относится к ним с недоверием и презрением. У них плохие условия труда — низкие заработки и проблемы с жильем. У них тяжелая работа, которая редко приносит удовлетворение. Но приехали мы сюда не охрану жалеть, а посмотреть заключенных... Однако, признаюсь, мое классовое чувство вражды к касте охраняющих несколько поубавилось. Оказалось, что они тоже заинтересованы в том, чтобы меньше сажали и лучше содержали заключенных.

Людмила Улицкая

Несомненно, кто-то должен быть ответственным за чрезмерную жестокость исправительной системы, но, возможно, основная причина находится вне УИНа системы: порочное законодательство, порочная система расследования и порочное судопроизводство. Сюда, в тюрьмы, государство сбрасывает отходы. И нет никакой структуры, которая заботилась бы о том, чтобы отходов было меньше, чтобы люди, попавшие однажды в тюрьму, имели возможность выйти оттуда не искалеченными физически и морально.

Кто-то из отечественных философов, кажется Бердяев, сказал, что психологические особенности русских закладываются в младенчестве от тугого пеленания. Что дети, воспитанные в таких тряпочных оковах, никогда не смогут расправиться, и привычка к рабству есть следствие этого обстоятельства. Разумеется, это всего лишь метафора, но в ней что-то есть. И то рабское состояние, в котором пребывал и пребывает в большой степени наш народ, кроме подавленности, предполагает и некоторую привычку к насилию. Нас воспитывали жестко: дисциплинарная школа, у многих — строгие родители, над всеми — властная рука пахана, которого обязаны были любить всеобщно и громогласно. Так выросло поколение моих родителей — ровесников Октября, так растили нас, а мы — своих детей. Насилие было основой воспитания. Как семейного, так и государственного. Насилие не только само по себе есть преступление, оно еще и рождает новые преступления и новых преступников. В нашей ворующей стране почти 70 процентов малолетних заключенных сидят за кражи. Большая часть краж совершается голодными, заброшенными, педагогически запущенными детьми.

Украденный старый велосипед, взломанный ларек, из которого взяты десять бутылок пива и два килограмма печенья, три хомячка из зоомагазина... и срок. И, как правило, потерянный для общества человек. В Курской области около пятисот малолетних заключенных — столько же, сколько во всей Франции...

У нас надо много украсть — завод, банк, миллион чего-нибудь, — и тогда вор оказывается для закона недосыгаем. А три хомячка как раз под силу карающему закону, и он обрушивается всей своей мощью на четырнадцатилетнего пацана, которого, как правило, и так судьба обидела, дав в родители алкоголиков или вообще оставив без родителей...

В этих разговорах прошел остаток вечера и часть ночи. Люди эти, наши спутники, ни о чем другом говорить не могут. И мы с Калединым опухаем от рассказов про Вася и Сереж, от детских писем, которые нам показывают, от судеб, от цифр. Самой страшной цифрой оказалась цифра 19. Но это уже завтра.

Круглый стол был действительно круглым. В середине, как в Совете Европы, поставили искусственный розовый цветок. Вокруг цветка — здешние чиновники, УИНовцы, курские и московские правозащитники, митрополит Курский Ювеналий. Людмила Карнозова, юрист из Института государства и права, открыла мероприятие. Стилистика большей части выступлений была старосоветская — мучительно-знакомые штампы и обороты речи. Говорят чиновники, заместитель губернатора, прокурор, местный правозащитник... Ни одного живого слова...

Наконец слово дают красивой, довольно молодой женщине, капитану милиции. Она начальник детско-

Людмила Улицкая

го приемника, куда свозят бездомных детей, попавших в милицию с поездов... Она тоже говорит что-то казенное, но посередине речи сбивается, краснеет, едва не плачет:

— Помогите! У меня сейчас сидят двадцать голодных детей. Мы не можем развезти их по домам, на это нужно 33 000 рублей, у нас нет денег. У нас на питание 19 рублей на человека.

— В день?

— Нет, в месяц...

В московской гостинице для животных, куда можно поместить на короткое время любимую кошку или собаку, питание в день обходится от 90 до 120 рублей.

Круглый стол еще продолжал свою работу, а мы, собрав в перерыве деньги, поехали на милицейском УАЗике в продмаг, купили сахара, масла, тушенки, сгущенки...

— Может, сыру? — предложила я.

— Какого еще сыру? — изумилась курская общественница, и я поняла, что сказала какую-то глупость.

Через десять минут мы были в детприемнике.

Здание разваливается. Второй этаж в аварийном состоянии. Двадцать маленьких беглецов сидят в небольшой комнате перед телевизором. Умница Степа Живов купил тридцать шоколадок, так что было что раздать прямо в руки — не сахарный же песок в руки сыпать. Кстати, это начальница просила купить сахарный песок, а не сахар-рафинад. Потому что кусковой сахар дети отнимают друг у друга, а из сладкого чая сахар не вытащишь.

Дети в основном двенадцати-четырнадцати лет, большинство мальчишки. Но есть и помоложе. Один,

тощий головастик с гидроцефалией, лет восьми. Смышленный, миловидный.

Как правило, дети бегут из семей алкоголиков, от родителей, которые их избивают. Психологи сюда не заглядывают. Да и кто может помочь этим детям, если они не нужны собственным родителям? Те родители, которым сообщают о поимке их детей, часто не находят возможности — денег, времени, любви, — чтобы за детьми приехать. Некоторые дети сидят тут по четыре месяца. А место это совершенно не приспособлено для постоянного пребывания детей. Три небольшие спальни, с решетками, с замками, — туда детей запирают на ночь. А ну как опять сбегут?

— Эпидемия гриппа идет, а у меня ни одной таблетки нет. А городская больница моих детей не принимает, — едва не плачет начальница. — Пришлите, если можно, хоть лекарства от гриппа.

Койки в одной из спален стоят вплотную, без прохода между ними. Для тумбочек места нет. Другая спальня оборудована в бойлерной, рядом с горячими трубами.

— Для отправки таких детей в детский дом нужно, чтобы родители от них официально отказались, а этот процесс требует времени, которым не располагают алкоголики, — рассказывает начальник детприемника. — Положение совершенно безвыходное.

В нашей стране два миллиона беспризорников — детей, убежавших из детдомов, интернатов, от родителей. Убегают не куда-то (конкретной цели нет), а откуда — из невыносимых условий несвободы. Многие из беглецов, скорее всего, попадут в колонии,

Людмила Улицкая

где сейчас примерно 40 тысяч заключенных детей. Говорят, подготовлен проект амнистии для 10 тысяч малолетних преступников и приблизительно для такого же количества заключенных женщин с детьми и беременных. Если Госдума его примет, то на свободу будут выпущены подростки и женщины, остро нуждающиеся в помощи общества, церкви, благотворительных организаций и обыкновенных людей, как мы с вами.

Поздно вечером мы уехали из Курска. Нам мало что удалось сделать. Почти ничего. Но мы приедем еще. Наши психологи и юристы дойдут до мальчишек из воспитательной колонии. И посылки наши тоже дойдут. Мы ничего не можем изменить. Будем бросать свой медный грош в этот бездонный котел. Брошу я. Бросишь ты. Бросит он — но мир не изменится от этого ни на грош. Но мы, может, мы сами немного изменимся. И тогда изменится наше людоедское государство.

Нет денег. Нет денег. Нет денег, — таков рефрен.

Их нет и не будет. Наше государство занято другими, более важными вопросами — как снова стать великим и могучим? Как показать всем «кузькину мать»? Как заставить себя уважать?

Одна пуля стоит 50 центов. Месячное содержание ребенка в детприемнике стоит 70 центов. Одна автоматная очередь — скудное пропитание для всех детей курского детприемника на месяц. Один БТР сжирает бюджет целой колонии...

Война в Чечне, которую правительство скромно называет антитеррористической операцией, идет в первую очередь против собственного народа, против

Мир вокруг

самых бедных и обездоленных, против сирот, против пенсионеров, обитателей больниц, домов престарелых и домов ребенка. И война эта высокоэффективна, потому что каждый выпущенный снаряд, пролетевший мимо террориста, не разрушивший чеченский дом, всё равно попадает в цель. И цель — огромная, бессловесная, темная и бесконечно несчастная: свой собственный народ.

P.S. СПРАВКА (12 лет спустя)

ГУИН — Главное управление исполнения наказаний — существовало до 2004 года. На основании указов Президента Российской Федерации в 2004 году при реформе органов исполнительной власти создана Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН России).

В настоящее время Локнинская воспитательная колония УФСИН России по Курской области, о которой выше шла речь, перепрофилирована. Теперь она стала исправительным учреждением для осужденных женщин. Причина такого шага — в дефиците мест отбывания наказания для осужденных женщин. Для лиц, осужденных в несовершеннолетнем возрасте, Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы России до 2020 года предполагает:

— сокращение числа воспитательных колоний в два раза (до 33);

— разработку принципиально новой модели воспитательного центра для лиц, осужденных в несовершеннолетнем возрасте;

— проведение эксперимента по апробации новой модели исправительного учреждения.

За прошедшие годы существенно снизилась численность осужденных, содержащихся в воспитательных колониях

Людмила Улицкая

(дек. 1999 г. — 21 тыс. 957 человек; дек. 2010 г. — 4 тыс.). На 1 октября 2011 года число воспитательных колоний сократилось с 62 до 47, а их наполняемость уменьшилась за 9 месяцев этого года на 936 человек, достигнув небывало низкого уровня — всего немногим более 3 тысяч.

За прошедшие 12 лет произошли некоторые позитивные изменения в законодательстве.

В марте 2009 года Верховный Суд РФ принял решение изменить практику почти поголовного заключения под стражу подозреваемых до суда и ограничить число арестов в стране. Приняты также решения по гуманизации отдельных видов наказаний, ответственность за преступления небольшой тяжести декриминализируется, преступления средней тяжести (в первую очередь это касается несовершеннолетних правонарушителей) переносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в значительной степени модернизируются институты ресоциализации осужденных.

В результате принятых мер количество воспитанников в каждой ныне существующей воспитательной колонии по сравнению с 2000 годом сократилось практически в пять раз — с 500 до 100 человек и менее. Предполагается преобразование колоний в воспитательные центры и отказ от отрядного содержания осужденных и методов воспитания, основанных преимущественно на коллективной ответственности воспитанников. В настоящее время 5 воспитательных колоний преобразованы в воспитательные центры на экспериментальной основе: Можайская ВК (МО), Алексинская ВК (Тульская о.), Канская ВК (Красноярский край), Белореченская ВК (Краснодарский край) и Брянская ВК. Планируемая предельная наполняемость ВЦ — 200 человек, содержание в комнатах по 3–4 человека.

САВЕЛОВСКАЯ — МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ

Сначала в вагон вошла рослая старуха в белом платке, в бывшем приличном пальто с песцом, от долгой службы превратившимся в кролика, с двухлитровой эмалированной кружкой с широкой прорезью на крышке и крестом.

— Братья и сестры! — строго сказала она. — Помогите на восстановление храма Бориса и Глеба за Дегуниным...

Мне нравятся эти святые — молодые, один вообще отрок, на лошадях их изображают, и убили их по приказу брата полуродного. Глеба, беднягу, вообще повар зарезал...

— Братья и сестры! Вас всех с праздничком, сегодня у нас «Державная», Божьей Матери икона, завтра субботний день, поминовение усопшими...

Так и говорит — не поминовение усопших, а поминовение усопшими. Великий и могучий, сколько подарков одни падежные окончания нам дарят.. Не мы их, а они нас, выходит дело, поминают. Что ж, и в этом есть смысл...

Вагонный народ встрепнулся и как начал подавать — и две челночницы с товаром на колесиках, и интеллигентная дама с Труменом Капоте в руках, и амбал в камуфляже. Ну просто через одного открывают кошельки, лезут в карманы... Удивительное дело, Бориса и Глеба вспомнили!

Старуха с кружкой принимает, кланяется донаторам почтительно, но с достоинством: благослови вас, Господи...

А с другой стороны вагона движется ей навстречу конкурент. Да какой! Верхние резцы недавно поменя-

Людмила Улицкая

лись, но еще не совсем отросли. Значит, около семи. В тренировочных костюмах, один поверх другого, в войлочных домашних тапочках, с красным, слабо повязанным на поясе бумажным платком. Маленький стриженный мусульманин.

Идет походкой болтающейся, и вдруг — падает на колени перед холеным кавказским молодцем: ему бы в «мерседесе» ехать, что он в метро делает? Мальчишка обхватывает здоровенную ногу цапкими ручками, бормочет что-то. Что — не слышу! Но вижу — под подбородком у мальчишки грубый шрам, свежий, с рваными краями. Без медицины зарос. С забора упал, в доме завалило, осколком чесануло?

Кавказец сунул бумажку, мальчишка ловко поцеловал руку. Никакого подобострастия — морда веселая, хитрая. Актер. Клоун.

Идет дальше — никто не подает. Борис с Глебом ему хлеб отбили. Теперь слышу, что он говорит: кус, кус, кус... Пальцами перед ртом шевелит, как на дудке играет.

Я у самой двери, он стоит рядом, в руках пачка денег. Считает. Сверху красная пятерка, дальше зеленые наши рублики, несколько двухсоток... Ловит мой взгляд: кус, кус...

— Смотри, как у тебя много, — говорю я, — а у меня сегодня мало...

Он смеется. Понимает по-русски. Головка его маленькая, с плоским затылком, под ноль стрижена. Но уже пооброс. Погладила его по макушке. А он вдруг прижался головой, замер. Детеныш маленький...

Поезд остановился. Двери разошлись. Ему выходить.

— Иди работай, малыш. — И мы подмигнули друг другу и поехали по своим делам: я — старую тетку на-

Мир вокруг

вешать, а он — на промысел. Мне потом еще в аптеку, в издательство, потом еду какую-нибудь сварить. А он, веселый мальчишка, из вагона в вагон, насобирает денег, купит себе шоколадных яиц и пепси-колы, остальное отдаст матери или старшему брату. И так изо дня в день еще год-другой.

А потом подрастет немного, станет игрушкой жирных продавцов зелени и баклажанов на Ленинградском рынке, тех, кому даже московские проститутки не дают своего товара. Или пойдет в «малолетку», или сгниет, сгниет как осенняя трава. А если повезет и вырастет сильным, станет наемным убийцей и за двести баксов острым ножом чикнет в подъезде, от уха к уху, под подбородком...

У меня совершенно нет принципов. Я не говорю: надо подавать, не надо подавать... Ему-то ничем не помочь. А он был сегодня такой веселый, бесстрашный, умненький.

БУТОВО. ПОЛИГОН

Два ряда колючей проволоки идут по верху ограды, два — по низу. Это военный полигон. Таких много. Этот — в нескольких километрах от окружной. Особенность его — маленькая дверца, в рост ребенка, прорубленная в глухой ограде. «Вход на территорию в субботу и в воскресенье от... до...».

Вошли. Бетонированная дорожка, вдоль которой шесть садовых скамей и пять рослых плевательниц, ведет к камню. На камне надпись — памяти расстрелянных здесь в 1937–1953 годах жертв политических

Людмила Улицкая

репрессий. Их около двадцати тысяч. Камень поставлен за счет того самого ведомства.

Поодаль, метрах в двадцати, деревянный крест — Голгофа. Его поставил здесь скульптор Дмитрий Шаховской. В 1937 году его отец, священник Михаил Шик, был арестован. Приговор был — 10 лет без права переписки. Когда приговор стал известен семье, о. Михаил Шик был уже расстрелян. В этой земле двадцать тысяч человек, которых сперва лишили жизни, а потом и права переписки.

Адский нескончаемый абсурд советской жизни: вокруг зарешеченного полигона — скудные дачки тех, кто его когда-то обслуживал, их потомков. В день, когда воздвигали здесь крест, здешние жители смешались в толпе с детьми тех, кто был здесь расстрелян. Это и есть русский народ. Начали панихидой, а кончили военным салютом — соответствующее ведомство пальнуло на этот раз холостыми. Толпа, она же народ, вздрогнула. Тогда было холодно: поздняя осень, ранняя весна — не помню.

А теперь, в июне, небо теплое и простодушное, травы молодые и сильные, а среди них, влево от Голгофы, идет выкошенная в два рядка дорожка, и ведет она мимо заброшенного яблоневого сада к поляне, посреди которой, как сон, — маленький деревянный храм, еще не достроенный, но уже сияющий. В восьми расстрельных рвах возле церкви лежат митрополиты, архиереи, священники высокообразованные и простые деревенские батюшки, диаконы, монахи, миряне, новомученики и исповедники... В этих рвах можно было бы похоронить и укору в адрес Православной церкви, что слишком она гибкая, слишком пластичная, кадит сильным мира сего, ли-

Мир вокруг

жет власти руку. Те, которые здесь лежат, — ее оправдание, ее сила и слава.

Сегодня здесь работают несколько человек: Дима с Кузей настилают пол в алтаре, Андрей опиливает доски, Иван протесывает бревна. Постукивает топор, урчит электропила. Осы начали строить свое жилье в верхнем углу, в притворе храма, но бросили. Так и висит серый бумажный грибок их неоконченного строительства. А храм к осени закончат.

Приехали геодезисты, ходят с теодолитом, что-то измеряют. Не все захоронения еще обнаружены. Возле церкви, вдоль ограды, восемь рвов, а участок-то большой, не все могилы еще нашли.

Хорошо верующему человеку, для него любое место — Божье. А это — заповедник для неверующих: побродить среди цветущих лип, медленно осыпающих блекло-зеленый цвет, повисающий в густом нечищеном подлеске, осторожно ступая на замшелые крыши каких-то неведомых строений, провалившихся в землю. Нечто странное происходит здесь со временем, теряющем в этом огороженном пространстве свои обыкновенные черты: храм старинного вида, но совсем новенький, провод электрический не на столбах, а на трех жердях, как бельевая веревка. И нет мусорных залежей, обозначающих календарное время с великой точностью — картонками греческого сока, жестянками датского пива, унылой пластмассой и яркими этикетками. Радио не орет, молчит магнитофон. Только птицы посвистывают. В такие дни ранним утром появляются поденки, прозрачные насекомые, жизнь которых — один день с утра до вечера. Один день, расширившийся до всей жизни, до самой вечности...

Людмила Улицкая

А потом ты делаешь несколько шагов, и ты уже во-вне. С одной стороны к зоне примыкает новострой, с другой — ведомственный поселок, обедневший и захиревший от безделья. А потом дачи, сараи, сортиры. Всё скученное, скрюченное, убогое. Нет здесь вилл и прочных заборов с электроникой. Одна только «Осторожно, злая собака» висит. Всё шаткое, доживающее свой век.

Деревенское кладбище одним боком плавно переходит в свалку, другой стороной спускается к пруду. Протвположный берег прекрасен своими старыми ивами, ветхими мостками. Наш мир хорош исключительно для близоруких: того, что я вижу под ногами на этом берегу, лучше бы не видеть. Вода цвета мокрого хаки, берег в коросте отбросов, а двое парней и девчонка ведут неторопливую беседу, в которой я не могу уловить ни одного слова, пригодного для печати. Две чайки летают над прудом — с высоты птичьего полета они видят всё: плесень предместья, полигон Бутово, недостроенную церковь, деревенское кладбище и меня.

«Я никогда не была внутренним эмигрантом...»
(из интервью)

— *Вы писали в своих книгах об эмиграции и эмигрантах. Как Вы считаете, настала ли пора снова об этом думать? Стоит ли молодым людям уезжать из страны сейчас? Что Вы думаете о нынешней эмиграции, какая она?*

— Немного развернем вопрос, он достаточно многослойный. Эмиграция существовала с древних времен, тогда она иначе называлась. В сознании постсоветских людей остался некоторый атавизм: всякий отъезд с *родины* — либо преступление, либо бегство с поля боя (еще один миф, который интересно разобрать!). Есть такая точка зрения, что эмигрирующий совершает дурной поступок по отношению к отчизне. Тем не менее всегда некоторая часть людей хотела найти работу (счастье, хороший климат, иной политический режим) за рубежом. А в советские времена эмиграция рассматривалась в основном как бегство от власти — исключением были, пожалуй, еврей-сионисты, которые стремились в Землю обетованную, а не из России, или Польши, или Венгрии.

При такой постановке вопроса думать об эмиграции никому не возбраняется ни в какие времена (в странах, откуда выпускают, где не стреляют в людей при переходе границы!). Этот вопрос каждый решает самостоятельно: наш двор полон сегодня таджикскими и киргизскими рабочими, они приехали за своим трудным куском хлеба. Им, безусловно, стоило уезжать из дому, там совершенно нет работы, а что касается наших молодых людей — каждый решает сам. В Италии среди обслуживающего персонала я во множестве встречала русских и украинцев, как правило, выше официанта они не поднимаются; в США, напротив, многие выходцы из России заняли хорошие позиции, но главным образом это касается ребят, получивших образование уже на Западе.

Стоит ли уезжать? Кому-то стоит, кому-то нет. Молодому человеку вообще очень полезно поездить и посмотреть, как устроен мир, как живут в других стра-

Людмила Улицкая

нах. Но один секрет мне известен, и я могу им поделиться: кто умеет хорошо и с увлечением работать на родине, у того больше шансов устроиться и за границей. А кого преследуют невезение, неудачи, происки конкурентов здесь, тому и за границей будет плохо.

В нашей стране жить интересно, хотя местами очень противно. Я знаю множество людей, которые прекрасно, осмысленно и с большой пользой работают здесь. Правда, эти люди работают у себя дома с тем же чувством, с каким работал Альберт Швейцер в Африке: из сострадания. Это лучшие люди нашей страны. Иногда они устают и уезжают в более человеческие условия.

Само понятие эмиграции — умирающее: мы, золотой миллиард, всё ближе к такому уровню свободы, когда человек сам выбирает, где ему жить и где работать — при условии, что он может это своими руками выстроить.

Эмиграция как таковая очень разная: есть мои старые друзья-ученые, которые очень хорошо работают на Западе, очень эффективно, и они правильно сделали, что уехали из лабораторий, где нельзя было ни реактивов, ни стекла раздобыть, а для поездки на научную конференцию надо было собирать подписи у парткома, месткома и прочих. Их внуки уже не знают языка, стали американцами. Как стали французами почти все потомки белой эмиграции во Франции... Всё это — нормальные демографические процессы, в них нет никакого нравственного измерения, которое слегка просвечивает в ваших вопросах.

Есть категория людей, которые уезжают, потом возвращаются обратно, и это тоже возможный способ жизни.

Мир вокруг

— *Есть понятие «внутренней эмиграции». При СССР бегство от реальности принимало разные формы: кто-то что-то коллекционировал, кто-то увлекался йогой, духовными практиками, пел песни на слетах КСП. Какие формы внутренняя эмиграция может принять сейчас?*

— Нет-нет. Ваши вопросы не совпадают с моими ответами, если так можно выразиться! И духовные практики, и песни КСП, и самое экзотическое чтение также были реальностью. Маргинальной реальностью. Она и сейчас существует.

Власть, и не только наша, туповата и утилитарна — видите, как я корректна, более резких слов не произношу, хотя власть того заслуживает! Социальное бытие гораздо шире того, что власть может собой «покрыть». Мы все вынуждены с властью считаться, выполнять ее законы — например, улицу переходить на зеленый свет. А что я думаю, чем я живу — на это власти в высшей степени плевать. Ей важно собирать свой оброк. Большой или маленький — это уж на сколько совести хватит.

О себе могу сказать: ни в какие времена власть и ее идеология не руководили моими мыслями и чувствами. И в этом смысле нет никакой внутренней эмиграции.

В советские времена с тебя требовали отчета о твоих мыслях и чувствах, диктовали, как тебе думать. Но не обязательно было об этом докладывать. А в теперешние времена властям совершенно безразлично, что думает любой из нас: главное, чтобы налоги платили и не интересовались, как они наши деньги тратят.

Беседовал Альберт Розенфельд.
Журнал «Медведь», январь 2012

Людмила Улицкая

* * *

— *Вы сами когда-нибудь задумывались об эмиграции? Почему остались?*

— Задумывалась во времена массового отъезда в середине семидесятых. Но у моего тогдашнего мужа были такие семейные обстоятельства, что эмиграция была невозможна из-за его родителей. Мы же не людоеды. И, кроме всего прочего, мы взвешивали «за» и «против», а это значит, что здесь слишком многое держало. Те, кто решал уезжать, бросив всё, уже не рассчитывали. Они бежали.

— *Воспитывая Ваших детей, Вы не обсуждали с ними возможность эмиграции?*

— Дети уехали в 90–91 году в США, где тогда работал по контракту их отец. Старший получил хорошее образование, прожил в общей сложности за границей десять лет, сейчас живет в Москве. Младший сын прожил девять лет в Америке, но шанс получить образование не использовал и вернулся, повысив свой музыкальный уровень и овладев языком. Сейчас работает синхронным переводчиком в Москве.

— *Когда Ваши дети уехали за рубеж, Вы не советовали им там остаться? Они не жалеют, что вернулись?*

— Старший сын в моих советах не нуждался, он стал профессионалом и сам дает советы. Выбирает себе работу там, где ему интереснее. Чувствует себя свободным человеком и может жить там, где ему больше нравится. Живет в Москве. Младшего сына я привезла домой, когда стало окончательно ясно, что он

Мир вокруг

не справляется с западной жизнью. Тоже живет в Москве. Оба вполне довольны жизнью, насколько я могу судить.

— *Что нужно сделать, чтобы разговоры об отъезде велись не так активно, не только с политической точки зрения, но с социальной и чисто человеческой?*

— А кому эти разговоры мешают? Пусть люди говорят, что думают. Кто-то действительно уезжает, кто-то потом возвращается, кто-то сидит на месте. Я не думаю, что в желании поменять место жительства есть криминал. Это право каждого человека выбирать себе страну для места жительства и работы. Другое дело, что это право не так уж легко реализовать. Политической точки здесь нет никакой — сейчас в эмиграцию уезжают только евреи на историческую родину, да и то очень редко. Все желающие уехали раньше. Еще уезжает много богатых людей (вне зависимости от того, каким путем их богатство получено), чтобы жить в хорошем климате и в хороших условиях. Это всегда было так, и до революции, пока железный занавес не опустился. Социальная точка зрения такова: люди едут туда, где есть работа. И так во всем мире происходит.

— *Могли бы Вы сформулировать новую национальную идею для России?*

— Что за мания с этой национальной идеей? Почему все страны живут без национальной идеи, а у нас государство вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности по отношению к народу — обеспечивать пристойный уровень жизни, социальные служ-

Людмила Улицкая

бы, защищать стариков, инвалидов, сирот, — разводит скучную демагогию о какой-то национальной идее?

Весь этот треск о национальной идее — только от нежелания и неспособности государства отвечать на вопросы, почему наш народ так бедно и плохо живет, имея богатейшие недра, огромные сельскохозяйственные площади и много профессиональных людей.

Журнал *Time Out* (Санкт-Петербург), апрель 2011

ДУБРОВКА (октябрь 2002) — БЕСЛАН (сентябрь 2004)

Минута молчания... Выдержав ее, мы обязаны говорить, обсуждать, предлагать — искать способ, как жить дальше. И здесь важнее всего услышать не только то, что легко понять и осмыслить, но и то, что понять и осмыслить трудно. В войне, при всей ее мерзости, есть своя честность — враждующие армии ведут бой, сильнейший побеждает. Сегодняшнее противостояние «незаконно» с военной точки зрения: нелегальная армия, или, по крайней мере, не признаваемая формальным противником, воюет со всем миром, кто под руку попадет: с военными, гражданскими, женщинами, детьми. К черту конвенции, Красный Крест, к черту гуманитарные ценности: нападают на больницы, театры, школы. В результате срabатывает закон: действие равно противодействию — регулярная армия ведет себя по принципам бандформирований, травит гражданское население газом, наваливается на террористов с такой мощью,

что десятки ни в чем не повинных участников массовой резни становятся ее жертвами.

Бедные наши головы лопаются от неспособности вместить происходящее: это предел возможного. Мусульманские женщины, те самые покорные, в головных платках, обитательницы женской половины, нежные красавицы с подведенными сурьмой глазами или матроны с кучей детей, платков своих не снимая, обвешиваются гранатами, надевают пояса шахидок и взрывают живых людей, не щадя ни своей, ни чьей-то чужой жизни. Мусульманские мужчины, издавна установившие законы шариата, определившие положение женщины в мужском мире на все времена, совершили невиданный и революционный прорыв: они не только разрешили своим женщинам покинуть спальню и детскую, но обязали к участию в самой чудовищной войне, где противниками оказываются не вооруженные мужчины, а женщины и дети.

В результате захвата заложников на Дубровке и последующего их освобождения с использованием газа, относящегося к военным отравляющим веществам, погибло 130 (официально) или 174 (неофициально). 119 из погибших (официально) скончались в больнице. Какой именно газ был использован для «выкуривания», не сообщили, однако, по заявлению главврача Москвы господина Сельцовского, «в чистом виде от приема таких средств не погибают». Остается по сей день невыясненным, по какой причине погибли 119 человек, вывезенные из зала Дома культуры.

Эффективность этой двойной операции — по захвату Дубровки и по ее освобождению — складывается из двух составляющих: погибшие от рук банди-

Людмила Улицкая

тов и погибшие от рук освободителей. Последних значительно больше.

Спустя чуть более двух лет произошел еще один захват заложников — в Беслане, в 2004 году. Первого сентября, когда о захвате уже было известно, на Новой сцене Большого театра происходило вручение литературных наград. Лучшие книги этого года, их авторы и издатели, получали награды. Первым словом, которое произнес вручающий премию писатель и драматург Эдвард Радзинский, было слово «Беслан». Труппа Большого театра в интервалах между награждениями демонстрировала наш знаменитый балет. На улице шел дождь, потом он перестал, и начался жаркий не по сезону осенний вечер... Жизнь, запланированная позавчера, сегодня теряла какой бы то ни было смысл...

Когда об этом говорили, в Москве, возле метро «Рижская» прогремел взрыв. Погиб один из издательских сотрудников, который вышел из машины у «Рижской», чтобы купить цветы жене в день ее рождения.

Мы очень медленно осознаем происходящее: терроризм в том виде, который мы знали понаслышке, — взрыв школьного автобуса в Иерусалиме, взрыв бомбы в университетском кафе или на дискотеке в Тель-Авиве, — казался местным явлением весьма далекого Ближнего Востока. Локальный конфликт на окраине мира, где палестинцы борются за свои права, взрывая что под руку попадет... Что-то взрывают малоизвестные нам баски и вечно взрывные ирландцы. У нас свои собственные нарушения прав и свои домашние заботы.

Рухнули нью-йоркские «Близнецы». В ужасе мы прилипли в те часы к телевизору: мы уже как будто

Мир вокруг

видели все эти кадры в фильмах-утопиях о конце нашего мира, режиссеры их придумали, операторы сняли, техники выполнили прекрасные спецэффекты. Что это — забежавшее вперед воображение? Кадры кинохроники — красивая арабская женщина в очках, с виду школьная учительница, ликует по поводу лучшего в мире теракта — обошли весь мир.

Это было объявление войны. Исламские фундаменталисты объявили, что наш мир им не нравится. Откровенно говоря, нам самим наш мир тоже не очень нравится, многие усматривают в нем маленькие изъяны и большие пороки, и мы сами критикуем его справа и слева, сверху и снизу.

Итак, наш — не исламский, а более или менее христианский — мир, возмущившись злодеянием, все-таки стал искать оправдательный материал для исламистов: и впрямь, американская политика... того... туповата... топорна... высокомерна... надо бы понежнее и пополиткорректней... как бы кого не обидеть... Оно и правда: и слоны, и ослы очень уж неловко ведут себя в восточной посудной лавке — черепки разлетаются. Но позвольте уж нашему кривому, косому и хромотому миру самому себя исправлять. Без окрика исламских фундаменталистов, что они нас накажут за то, что мы не так веруем. Не в того Бога!

Да как хотим, так и веруем! Более того: не хотим, так и вовсе не веруем ни в какого Бога. И уж в того, который заставляет бедных мусульманских женщин надевать пояса шахидок, не уверуем никогда.

Но Запад Западом, а у нас есть и свой собственный сюжет: война в Чечне, властями спровоцированная, бездарно затянутая, не остановленная в тот момент, когда это было еще возможно, открыла исламистам

Людмила Улицкая

замечательную площадку для действий. Двести пятьдесят тысяч погибших, двести пятьдесят тысяч вдов и матерей, потерявших своих детей — с обеих сторон, двести пятьдесят тысяч — кто сосчитает? — сирот. Из них сегодня вербуются армия ненависти — с обеих сторон. Справедливости в мире нет и никогда не было! Нет и никакой симметрии в делах зла. Уведенный федералами и пропавший без вести чеченский подросток отзывается появлением трех боевиков: это его братья пошли за него мстить. Такова логика горца. Она вырабатывалась столетиями, и генерал Ермолов, завоеватель Кавказа, мог бы это подтвердить.

Что происходит на Кавказе? Что происходит в Москве? Что произошло на Дубровке? Что произошло в Беслане? Сообщения, как обычно, противоречивы, хаотичны и неполны. Есть вещи, которые жители нашей страны узнают позже, а есть и такие, которые не узнают никогда. Например, кто отдал распоряжение травить газом террористов на Дубровке, а заодно и находящихся внутри заложников? Что именно произошло в день 1 сентября, когда около 600 школьников с родителями и младшими братьями-сестрами, с астрами-гладиолусами пришли к зданию школы... Кто организовывал освобождение школы в Беслане, в результате которого погибло 334 заложника, среди которых 186 детей? И 10 спецназовцев, и 2 эмчээсовца, и один милиционер...

Поражали хаос и неразбериха, путаница и несостыковка в действиях властей высших и низших, шок, растерянность. К сожалению, уже можно сказать — как всегда.

Вопрос о том, как неуклюжа и лжива сегодняшняя власть, отходит на задний план. Да, и наша россий-

Мир вокруг

ская политика, и любая европейская — итальянская, французская, немецкая — очень несовершенна. Количество совершаемых ошибок недопустимо. Увы, миром правят в основном корыстные честолюбцы, а не праведники. Немногие порядочные люди, с твердыми нравственными правилами и непомятой совестью, по разным причинам всё более отодвигаются от политики. А уж нашей вынужденной и навязанной войной точно руководят не самые умные, не самые нравственные, не самые просвещенные, но люди, достигшие высокого положения с помощью больших интриг и больших денег.

Но сегодня эта война идет на нашей улице, хотя большинство из нас смотрит ее по телевизору.

Мы все знаем, что каждую минуту в мире сколько-то человек рождается, а сколько-то умирает, и это не мешает людям любить, радоваться жизни и наслаждаться красотой природы, искусством. Но теперь к этому списку происходящего в боковом зрении следует добавить детей-заложников, женщин, надевающих на себя пояса шахидок, и старцев с прекрасными и благородными лицами, объявивших жесточайшую религиозную войну всем неверным — нам с вами. И в первых рядах всех войск, наших и враждебных — простой парень из той породы, которую Фолкнер называл «несчастный сукин сын».

НЕИЗБЕЖНОЕ СОСЕДСТВО

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

Лет десять тому назад меня пригласили участвовать в работе Европейского культурного парламента. Проходила встреча в городе Брюгге, съехались туда независимые художники из разных европейских стран. Из Москвы, кроме меня, был еще архитектор Евгений Асс. Он англоман, разговаривает по-английски как лорд и помогал мне, когда я впадала в полное отчаяние от непонимания разных интересных речей. Разговор, по существу, шел о том, что может независимый художник сделать для поддержания тех гуманитарных ценностей, которые катастрофически выходят из моды. Потом меня еще много раз приглашали на эти встречи, но больше я не ездила. Но поездка в Брюгге была не бесплодна. Там мне пришло в голову, что неплохо бы сделать серию книг для подростков по культурной антропологии. Именно так: для воспитания толерантности надо знать культуру соседей. Тогда еще политика мультикультурализма не

зашла в тупик, и многим казалось, что если хорошо объяснить детям с малых лет, то они поймут, что другие люди, несмотря на различия во внешнем облике и культурных привычках, по сути своей мало чем отличаются от нас. Эта простая идея, если ее преподнести не закостеневшему в предрассудках подростку, способствует взаимопониманию. Может, иллюзия? Не знаю.

Словом, именно тогда я придумала серию под названием «Другой, другие, о других», которая уже почти вся написана и напечатана в издательстве «Эксмо». Две последние книги — про общение и про агрессию — уже написаны, но еще не отданы в руки художнику, и осталась только одна, последняя, — о праздниках. Сейчас есть 14 книг: о еде, одежде, рождении и смерти, о воспитании, путешествиях, деньгах, тюрьмах, профессиях, о правах человека и пр. Реакции были разные — от восторженных до возмущенных. Особенно большое раздражение вызвала книга Веры Тименчик «Семья у нас и у других», про различные формы семейных отношений в разных культурах. Имеются в книге одиннадцать строк о том, что бывают браки однополые. Могу просто объяснить, зачем эта фраза там поставлена (вовсе не для популяризации однополых браков!) — сегодня такие семьи уже существуют, нравится это нам или не нравится, и часто в таких семьях бывают дети (от прежних браков, или усыновленные, или сделанные «в пробирке»). И эти дети ходят в школу, где подвергаются насмешкам и унижениям. И единственное, что мы можем сделать для их защиты, — сообщить остальным детям, что в мире иногда так бывает, что у детей нет привычных мамы и папы, а есть две мамы или два па-

Людмила Улицкая

пы... и не надо их за это обижать. Поднялась большая буча, и я, затеяв всю эту историю, в высшей степени ласково и политкорректно, спрятав поглубже свое раздражение против яростных гомофобов, пыталась довести до умов оппонентов, что надо быть терпимее к людям с иными взглядами и установками.

Простая, известная уже тысячелетия идея (она же называется первым, или золотым, правилом этики) — на делай другому того, чего ты не хочешь для себя, — с трудом приживается на просторах нашей родины.

Культуртрегером я быть не собиралась. Мне гораздо милей тихое сидение в своем углу с книжечкой. Но так получилось, что последнее десятилетие я всё больше выступаю по всяким околополитическим вещам. Потому что политика располагается по соседству с культурой и, к сожалению, между ними нет колючей проволоки. Потому что политика желает влиять на культуру, подминать под себя, заставлять служить, а культура отбивается, потому что у нее есть собственные задачи, гораздо более интересные, с моей точки зрения.

В общем, я оказалась вовлеченной в этот разговор, и ниже собраны всякие мои реплики, касающиеся тем, расположенных на границе политики и культуры. Поскольку я всегда заявляла своим друзьям, что больше всего меня интересует «граница» чего угодно, вот и приходится время от времени публиковать высказывания по «пограничным» вопросам. Так в поле зрения попадают и уличные сцены, и суд над Ходорковским, и многое другое — вроде выборов президента или истории первого московского хосписа.

УБИТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Из дискуссии с противником толерантности

Действительно, настало время с ней расправиться. Не потому, что она хороша или плоха, а потому, что она стала предметом раздора. На дворе стоит кризис, а на самом деле не один, а сто разных кризисов. Каждый умный профессионал может засвидетельствовать кризис в своей области: в медицине, в педагогике, в фармакологии, даже в философии и в теологии. Кризис переживает и наше сознание, которое привыкло оперировать понятиями, а понятия эти повсеместно сошли с ума и перестали обозначать то, что они обозначали недавно, сто или тысячу лет тому назад.

Совершенно ясно, что такие понятия, как «правые», «левые», «демократы», «консерваторы», «прогресс», требуют пересмотра, потому что каждый, кому не лень, придает им собственный смысл, и в результате он совершенно размывается. Особая беда произошла со словом «толерантность». Огромное количество людей считает, что толерантность — это компромисс со злом (я уже и не говорю, что и само «зло» в каждом времени, месте и в каждой социальной группе имеет свои собственные рога и копыта, совершенно не похожие на те, которые видят соседи), потакание злу, сговор с ним и, в конечном счете, толерантность есть пропаганда зла.

Существует глупейшее и популярное высказывание, что, дескать, в споре рождается истина. В споре рождается раздражение и даже ненависть, а из этой сомнительной материи ничего хорошего возникнуть не может.

Людмила Улицкая

Лучшее, что может произойти, — оппоненты уточнят для себя позиции.

Для удобства разговора на эту скользкую тему я предлагаю перестать пользоваться понятием «толерантность» (обозначим как «Т»), которое, в сущности, не устраивает обе стороны: противников «Т», потому что для них она лишь воплощение зла, а сторонников — сочетанием букв, которое очень мешают в работе.

Попробуем очертить это самое понятие, не определяя его через самое себя, а пользуясь исключительно соседствующими понятиями и идеями. Может быть, таким образом удастся нащупать общую платформу для последователей и противников толерантности, в данном случае противников из среды православного священства.

Итак, первая и необходимая составляющая — принцип неосуждения. Он знаком христианам, можно сказать, от них и пришел, и это не вызывает никаких сомнений: «Не судите, да не судимы будете». Не буду приводить адрес цитаты, чтобы меня не сочли начетчиком.

Строго говоря, это вполне достаточный принцип для общения с окружающими, которых мы, в силу нашей немощи, не можем назвать ближними по той причине, что они не так выглядят, не так едят, не так молятся — или вообще не молятся, — по-другому веселятся, и танцуют, и поют, некоторые из них имеют несколько жен, а еще более некоторые имеют склонность любить представителей своего пола, а не противоположного.

Мы не готовы их выслушать, не готовы предоставить им те права, которые имеем сами, — жить в соответствии со своими принципами и склонностями.

Мир вокруг

— А может, они захотят убивать всех подряд? — спросят мои оппоненты. — Может, среди их привычек будет расположение к насилию, к педофилии, к вампиризму, в конце концов?

— А на это есть закон, — отвечу я, — государственный закон, принятый большинством и обязательный к выполнению. Кто его нарушил — того в тюрьму.

Второй необходимый принцип — милосердие, или сострадание. В арсенале основных противников «Т» есть, среди десяти заповедей блаженств, одна такая: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Не возражаете?

Итак, есть закон, наказывающий преступников, и здесь пресловутое «Т» ни при чем, и еще есть милосердие, которое зовет некоторых людей идти служить в тюрьмы и больницы, в детские дома и приюты и, в частности, к умирающим от СПИДа, которых многие очень не любят, считая, что они получили заслуженное наказание в виде болезни за свои грехи — не буду их лишней раз перечислять. Тем более что не одни злые грешники болеют СПИДом, а также маленькие детки, которые, как известно, не отвечают за грехи родителей, и жертвы простого медицинского мероприятия — переливания крови, при котором им влили зараженную кровь недобросовестные врачи и медсестры. Именно здесь, на общей площадке добровольного социального служения, могут мирно встретиться сторонники и противники «Т».

Наконец, третье: про любовь, которая превышает всего и которой не хватает ни тем, ни другим. А если бы ее хватало, то они совместно делали бы одно и то же дело и разделялись бы не по принципу сторонников и противников толерантности, а по иному

Людмила Улицкая

принципу: людей, которые готовы служить ближнему, и людей, которые еще не доросли до этого радостного состояния. Я таких прекрасных людей знаю и в том, и в другом лагере.

Всё вышесказанное наводит меня на мысль: не лучше ли вам, противникам толерантности, и нам, ее сторонникам, объединить свои усилия в тех областях, где мы сходимся, — помогать тем, кто нуждается в помощи, не делая различия между «эллином и иудеем», между грешным и праведным, и не выносить суждения (уточним: осуждения) тем, кто придерживается иных взглядов.

**«Мне очень нравится,
что люди разные...»**
(из интервью)

— В Европе уже говорят о том, что политика мультикультурализма провалилась. В России «дружба народов», провозглашаемая в СССР, обернулась страхом и недоверием к приезжим, к эмигрантам, «чужим». Огромное количество людей так или иначе симпатизируют крайне националистическим идеям. Национальность действительно является преградой на пути к взаимопониманию между людьми или она — всего лишь повод для выплескивания агрессии?

— Я училась в Московском университете в начале шестидесятых годов, весь советский маразм — все фальшивые истории партии, политэкономии, научный атеизм, комсомольские собрания и сельскохозяйственные повинности — проходила.

Мир вокруг

Но атмосфера была человечески очень хорошая. Действительно, на нашем курсе учились люди разных национальностей — индонезийка, венесуэлка, кубинцы, даже негр из Сомали, очаровательный и утонченный юноша. Вьетнамцы были. И, разумеется из республик Союза: кореянка из Средней Азии, узбечка, латыш, чеченец, абхазец, армянка были на нашем курсе. Не было ни тени национализма, расизма. Конечно, не все со всеми дружили. Ясное дело, что друзей себе выбираем мы исходя из каких-то иных побуждений, не национальных. Про себя могу сказать: мне вообще человек очень интересен, и национальные особенности тоже интересны. Они определенно есть. Ну, это такое у меня устройство. Когда я очутилась в нью-йоркском метро в 1986-м, которое полно было разноцветных людей, в немыслимых одеждах, улыбающиеся все — я была совершенно счастлива. Мне очень нравится, что люди разные. Другим — нет. Испытывают постыдную и отвратительную ненависть к «другим». Начали мы выпускать детскую серию «Другой, другие, о других». Именно на эту тему: люди разные, и это интересно. А не страшно! Последние две темы — агрессия и праздники.

По мне, национальность — это повод для того, чтобы радоваться красоте и разнообразию творения.

Беседовала Анна Рулевская.

Журнал «Ереван», № 7–8, 2011

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У ДРУГИХ

СТЭНФОРД. В ГОСТЯХ (2006–2009)

Слово «благотворительность» мне не нравится. То ли дело «каритас» или «шаритэ». Звучит красиво, кругло, недлинно. А наша «благотворительность» — слово длинное, нескладное. К тому же, ясное дело, благотворитель — богач, а по законам классового сознания богач — лицо отвратительное.

В советские времена бедность и богатство были нравственно заряженными понятиями. Всем было ясно, что богач — непременно злодей, а бедняк — хороший человек. В общем, богатого следует ограбить и всё отдать бедному. На том стояли. Бедному, сколько ни дай, не помочь. Он всё норовит опять стать бедным. Поэтому уж лучше не давать. Всем поровну — идея, может, и хорошая, но нереализуемая. Даже если бы и удалось всё общественное достояние раздать поровну, на завтра один бы пропил, другой проиграл, третий отдал бы в рост. И в кратчайшие сроки воз-

никло бы новое неравенство. И тут приходит в голову мысль: а может, бедные не хотят быть богатыми?

На восемьдесят лет в России о благотворительности забыли с большим удовольствием: государство всё взяло на себя, а обществу было предложено молчать и аплодировать. В крайнем случае не вмешиваться. Какая уж тут благотворительность?

В последнее десятилетие в России снова появилась благотворительность — сначала в виде подарков от частного человека в детский дом, в библиотеку, в больницу. Потом начали возникать фонды, попечительские советы, похожие на западные структуры. Но, только попав в этом году в Стэнфордский университет, я поняла, какой может быть благотворительность в стране, где она существует не одно столетие и является почетным и престижным делом богатых людей.

К этому времени я уже состояла членом попечительских советов одной больницы, одного лицея, одного детского дома и одного хосписа. Подписывала положенные письма, ходила время от времени на собрания и давала свои неолигархические, вполне умеренные деньги.

Это была, кроме всего прочего, семейная традиция: у меня были замечательные прадед, бабушка и мама, и я с детства видела, как они легко отдают деньги, вещи и время. Правда, не чужим людям, а нуждающимся родственникам и друзьям, в крайнем случае соседям. Это была традиция «церковной десятины», но тогда я еще об этом не знала.

Очутившись в Стэнфорде, я увидела, какой бывает благотворительность «для чужих». Мне рассказали историю университета и человека, который его заду-

Людмила Улицкая

мал и построил на свои деньги, от первого камня до церкви. Это великая американская история.

Леланд Стэнфорд родился в 1826 году в Нью-Йорке в англиканской семье. Из девяти братьев он был самый удачливый, стал юристом и быстро-быстро разбогател. Но пожар погубил его дом и адвокатскую контору, и всё его богатство сгорело в самом прямом смысле слова. К 1848 году, когда разразилась в Калифорнии «золотая лихорадка», он как раз потерял свое первое состояние и отправился вслед за братьями строить новую жизнь в Калифорнию. Условия были ужасные: жили братья в халупе с земляным полом, вели полуголодное существование и адски работали. Торговали мылом и крупой, порохом и дешевым маслом, словом, тем товаром, который нужен был золотоискателям. Расплачивались покупатели довольно часто песком. Золотым. Первые заработанные деньги Леланд вкладывает в развитие железной дороги, которая соединяет Восток и Запад. Он был одним из первых венчурных капиталистов. Вкладывал в будущее.

Это было время, когда в Америку хлынул первый поток китайских эмигрантов, и тысячи китайцев строили железную дорогу в ужасных условиях, получая грошовые заработки и погибая на этой «стройке века» тысячами.

Сам же Стэнфорд в те годы «поднялся», стал одним из самых богатых людей в Калифорнии и очень умело распорядился и железнодорожным бизнесом, и банковскими операциями. Стал заниматься политикой, был избран губернатором Калифорнии и основателем консервативной партии, из которой потом выросла современная республиканская партия.

Мир вокруг

Он пользовался своим положением губернатора, брал государственные займы и был замешан в разных финансовых махинациях, привлекался к суду, но умел выходить сухим из воды.

Стэнфорд женился, построил роскошный дом в Сан-Франциско. После многих лет бесплодного брака родился поздний ребенок — Леланд Стэнфорд-младший.

Мальчик был замечательный: он получал лучшее по тем временам образование, увлекался изобразительным искусством и уже лет в двенадцать начал собирать коллекцию. Всей семьей они ездили в Европу, часто в Северную Италию, покупали прекрасное европейское искусство и вывозили в Калифорнию.

В этот период Стэнфорд построил дачу в дне езды от Сан-Франциско, в местах, которые назывались *Red Wood* — Красный лес. Это был огромный лес секвой, который сохранился и по сей день. Стэнфорд скупил в округе Редвуда больше восьми тысяч акров земли, развел огромное хозяйство, прекрасный конный завод. Его лошади поставили девятнадцать мировых рекордов. Стэнфорд интересовался наукой — разведение лошадей было поставлено на научную основу. Его вообще интересовала наука. Все, к чему только ни прикасался Стэнфорд, начинало цвести и плодоносить.

А потом произошло несчастье, которое изменило всю жизнь семьи Стэнфордов: его сын, не дожив до шестнадцати лет, умер от тифа во время одной из поездок по Италии, в прекрасном городе Флоренции. Болезнь началась внезапно и длилась всего три дня. Спасти мальчика не смогли.

От горя Стэнфорд потерял дар речи, но когда речь к нему вернулась, он сказал жене: «Теперь все дети Калифорнии будут нашими детьми».

Людмила Улицкая

В том же году Стэнфорд объехал все крупные американские университеты. Он изучил, как они устроены, как финансируются, как идет образовательный процесс. Он хотел сделать лучше. Посчитал, как полагается капиталисту, деньги и прикинул: нужно 5 миллионов долларов. Сумма по тем временам гигантская даже для Стэнфорда. Он посоветовался с женой. Она сказала «да».

Так губернатор, жесткий человек с сомнительной репутацией, начал «вторую жизнь». Он заказал архитектурный проект — католические мотивы на индейской почве, и началась грандиозная стройка. Строительство продолжается и сейчас, и именно по тем принципам, которые заложил Стэнфорд. Он любил всё самое лучшее — и по сей день новые корпуса строят самые известные и талантливые архитекторы.

Застройка идет по определенному модулю — квадратно-гнездовым способом, как я бы это определила. Принцип Стэнфорда — соединение практики и культуры, бизнеса и политики. Последний по времени квадрат, совсем недавно построенный, — это медико-технологический корпус, возведенный между медицинским и технологическим. Его проектировал Норман Фостер, один из ведущих современных архитекторов. Границы территории представляют собой одновременно и границы наук. Подход формальный, но, как оказалось, прекрасно себя оправдал.

Именно на этом пересечении границ образовалась спустя сто лет после смерти основателя Силиконовая долина, здесь родились Yahoo, Google, одна из лучших современных генетических школ.

Принцип «всего самого лучшего» распространялся и на подбор профессорско-преподавательского состава. С самого основания университета «перекупали» лучших ученых и давали им такие деньги, что отказаться было невозможно. Между прочим, эта традиция сохраняется уже больше ста лет.

Первый университетский выпуск был в 1892 году — об этом свидетельствует утопленная в одной из галерей медная плита. Рядами такие же плиты с датами — вплоть до нынешнего года.

Первые двадцать лет обучение было бесплатным. Сейчас, надо признать, это один из самых дорогих университетов Америки. Первоклассные лаборатории, первоклассные профессора — вот что делает Стэнфордский университет одним из самых престижных учебных заведений страны. В соседнем университете города Беркли на одного профессора приходится 16,4 студента, а в Стэнфорде на одного профессора — 3,5 студента.

Территория университета огромна. Скульптуры любимого Стэнфордом Родена украшают скверы и перекрестки университетского городка. Есть и более современная скульптура: Мур, Липшиц. Есть и музей с огромным собранием картин: в первых залах — семейные картины той счастливой поры, когда был жив еще Леланд Стэнфорд-младший. Симпатичный мальчик, смерть которого изменила жизнь западного побережья Америки.

История Стэнфорда, человека и университета, — великая американская история. Традиция благотворительности продолжает здесь существовать — куда ни повернешься, всюду висят таблички: дар мистера и миссис таких-то.

Людмила Улицкая

Среди дарителей — выпускники Стэнфордского университета, просто богатые люди, которые считают наиболее достойным способом увековечить свою память, выписывая чеки на нужды университета. Это национальная традиция. Всем известно имя Карнеги — потому что знают о существовании Карнеги-холла. Но есть в Америке Чикагский университет, построенный на деньги Рокфеллера в 1892 году, и еще много чего, что финансировал Джон Пирпонт Рокфеллер, его сын и внуки. Между прочим, когда Рокфеллер-старший умер, то на благотворительность он положил полмиллиарда, а сумма, переданная по завещанию сыну, была меньшей.

В отличие от нашей страны, где революция прервала этот процесс превращения «дикого капитализма» в капитализм цивилизованный, в Америке традиция благотворительности росла и крепла, охватывая все сферы жизни. Образование, здравоохранение, культура, фундаментальные науки получают постоянно огромные вливания от частных фондов. Самым щедрым благотворителем в сегодняшней Америке считается Билл Гейтс.

Полтора месяца я работала в Гуверовском архиве Стэнфордского университета. У меня были свои интересы, связанные с российской историей семидесятых годов, а в свободное время я присматривалась к американской благотворительности и пыталась понять, почему у них получается то, что совсем не получается у нас, а именно: создать такое общество, такие структуры, которые сами о себе заботятся, сами себя финансируют и являются не конкурентами государства (какое это государство рвется тратить деньги на общественные нужды — надо его заставить это делать!), а партнерами государства.

Честно говоря, секрета я не открыла. Я не знаю, почему богатые, не очень богатые люди, а также люди более чем среднего достатка считают необходимым отдавать личные деньги для общественного блага.

Существует множество вариантов ответа на этот вопрос:

1. Там, на растленном Западе, государство хитро провоцирует богатых людей жертвовать деньги на благотворительность (читай: общественные нужды), потому что дает им налоговые льготы в разных формах, поощряя тем самым меценатство всякого рода.

2. Америка — протестантская страна. Протестантизм — религия труда и религия сдержанности. Всяческая роскошь не поощряется общественным мнением. Вот они от ханжеского стыда не покупают себе золотых унитазов, а строят общественные уборные.

3. Американцы уже миновали этап «жесточкого капитализма» и теперь стали сентиментальны и готовы платить своим нищим и больным, а мы, россияне, всё еще находимся на той стадии, где главная цель богатого человека — купить яхту, остров, драгоценности и вообще всё, что можно купить за деньги. Надо немного подождать, и наши богачи тоже опомнятся, повзрослеют и поймут, что самая большая роскошь — содержать детский дом, больницу или университет. Сколько ждать — никто не знает.

4. В Америке давно уже существует гражданское общество, которое контролирует государство в большей мере, чем где бы то ни было в мире. Это гражданское общество порой принимает на себя решение острых социальных проблем. Существует большое число частных госпиталей, школ, учебных заведений, которые оплачиваются частными спонсорами и большими компаниями.

Людмила Улицкая

Впрочем, для нас не так уж важно, почему у них так хорошо получается, а у нас пока не очень. У них тоже есть проблемы, которые они не могут решить.

На рубеже XX века Россия созрела для благотворительности, и до революции частными людьми было очень многое сделано для блага общества. Несколько городских больниц и по сей день прекрасно работают, несмотря на то что они устарели во всех отношениях.

Сегодня в России опять появились серьезные благотворители. Некоторая часть людей и организаций, которые вкладывают большие деньги в культуру, вынуждены это делать по прямому распоряжению начальства. Им приказывают — они соглашаются. Очень часто частные деньги идут на покрытие тех расходов, которые обязано производить государство, но не хочет. Эта благотворительность вынужденная, но все-таки она существует.

Есть и такие донаторы, которые тратят деньги без указки сверху — по той единственной причине, что видят острые социальные болезни и пытаются их «подлечить» своими средствами.

Главное — что появились люди, готовые вкладывать личные деньги для решения общественных проблем. Их много. Наиболее интенсивная деятельность связана с лечением детей. Существуют фонды, изыскивающие огромные деньги на оборудование медицинских учреждений, на дорогостоящие лекарства детям с онко- и кардиозаболеваниями, детям, нуждающимся в пересадке органов. Существуют фонды для помощи детям с синдромом Дауна, с диабетом и другие. Это наиболее популярные фонды: на больного ребенка дать деньги легче, чем на умирающего старика; на детский дом — проще, чем на хоспис. А в стра-

не есть хосписы, которые нуждаются в финансировании, потому что государственное финансирование недостаточно, выражаясь мягко. Еще труднее добыть деньги для помощи бомжам, для обитателей колоний, для инвалидов и пенсионеров.

Но фонды тем не менее растут, делают огромную работу. Всё большее число людей, даже не пережив такого несчастья, как Леланд Стэнфорд, начинают понимать, что помочь больному и нищему, инвалиду и заключенному — это шанс изменить мир к лучшему, хотя бы в отдельно взятой точке.

Большие деньги дают их владельцам многие преимущества перед теми, кто не имеет лишней копейки. Они дают свободу (есть такой предрассудок), дают возможность прекрасных путешествий в разные страны (до тех пор, пока не утрачивается «охота к перемене мест»), дают привилегию на высокое «качество жизни» (пока не обнаруживается, что воздух, вода и пища теряют качество во всем мире) и прочие мнимые и реальные радости.

Но есть вещи, которые не покупаются за деньги: никто не может избежать болезней и смерти, несчастья и одиночества. Когда приходит это понимание, меняется отношение к деньгам. Они не есть вечная ценность. Сегодняшний кризис, который только начинается — и ни один специалист не может предсказать всех последствий происходящего, — изменит очень многое в жизни нашего и будущих поколений.

Первое последствие — крушение ложной идеи всевластия денег.

В начале XIX века, около двухсот лет тому назад, молодой врач Федор Гааз, приехавший в Россию из Германии, сделал прекрасную карьеру: разбогател,

Людмила Улицкая

купил в Москве пять домов, деревню и фабрику в Подмосковье. А потом его назначили инспектором тюремных больниц, и это совершенно изменило его жизнь. Он увидел каторжников, прикованных к железному пруту, в тяжелых кандалах проходящих по Владимирскому тракту до самой Сибири, и в нем произошел переворот. Двадцать лет добивался облегчения их участи, добился отмены «прута», сделал более легкие кандалы и лечил, лечил, лечил. И кормил, и помогал спасти детей каторжников, которые шли за родителями в Сибирь.

Он истратил свое состояние, и хоронили его на средства полицейского управления, потому что у него не было ни копейки. Вся Москва хоронила его — толпы шли за гробом. Наряды полиции, посланные для предотвращения беспорядков, шли вместе со всеми, обнажив головы.

По сей день на его могиле на Немецком кладбище в Лефортово всегда лежат цветы. Часто восковые или бумажные, которые покупают безденежные старушки. Доктор Гааз стал народным святым. И вспомнила я его из-за одной фразы, которую он постоянно повторял: «Спешите делать добро!»

Даже самая длинная человеческая жизнь коротка по сравнению с жизнью большой черепахи или дуба. Но человек может сделать то, что не может и не умеет ни одна живая тварь, — спасти другого человека. И может просто немного помочь: накормить голодного, облегчить страдания больного. Это так хорошо. Попробуйте, и вы почувствуете, как ваша жизнь наполняется новым смыслом, которого так часто не хватает в нашей суетливой, тяжелой и зачастую удручающей жизни.

ДОРОГОЙ МИСТЕР КУПЕР БИЧ

«**П**риглашаем вас присоединиться к нам 15 июля, в субботу, в 10 часов утра на лужайке возле замка в парке Форт Трайан, чтобы почтить память нашего дорогого Купера Бича» — приблизительно это было написано в объявлении, вывешенном в витрине не то химчистки, не то туристического агенства на улице Пейнхорст, что напрямиком вела к парку. Далее по тексту:

«Три года тому назад наш дорогой Купер Бич подвергся бандитскому нападению, был тяжело ранен, долго болел и медленно умирал. Тихий свидетель нашего столетия, он умер в возрасте ста девяти лет. Всю свою долгую жизнь он давал нам тень, целительную силу и красоту».

В центре объявления была цветная фотография раскидистого дерева посреди лужайки. Большое хорошее дерево. Но ничего особенного. Просто дерево. Это и был Купер Бич — Cooper Beach, вяз меднолистный... Его недавно срубили.

Хотя утром в субботу лил проливной дождь мы с моей нью-йоркской подругой Наташей поперлись: уж очень мне хотелось посмотреть на этот диковинный народ, сначала истребивший индейцев, потом линчующий негров, а ныне обратившийся в новую веру...

До парка было десять минут пешего хода. Не такой большой, как знаменитый Центральный, Форт Трайан Парк раскинулся в скалах над Гудзоном, на месте последних боев и последних побед в Войне за независимость. Земли эти были приобретены кровожадным эксплуататором американского народа Дж.Д.Рокфеллером и подарены городу. Впервые я попала в этот парк

Людмила Улицкая

в 1986 году. Тогда возле входа было разбито несколько газонов, а дальше вдоль неметеных дорожек — следы неведомых зверей, оставивших после себя жестянки из-под колы, пластмассовые бутылки и целлофановые обертки, весь этот неэкологичный сор, не умеющий мягко растворяться в земле и становиться ею...

За эти годы парк изменился, газоны расширились, на скалистых откосах высажены цветы и кустарники, подобранные по науке и по красоте, так что с ранней весны до поздней осени кто-нибудь цветет и пахнет, не мешая соседям. Стоят новые лавочки, на некоторых надписи, вроде «Миссис Грин завещала установить на данном месте данную лавочку, чтобы приходящие могли наслаждаться красотой природы...»

Вот мы и шли туда — наслаждаться. В этот раз мы шли вдвоем. Впервые, кажется, без Бренди. Впрочем, в дождь он бы и не пошел. Теперь же не пойдет и в хорошую погоду — он умер месяц назад, риджбек, львиная африканская борзая. Мощная охотничья собака с лирообразным завитком на рыжей спине. Хотя он в жизни ни разу не поохотился, он был настоящий джентльмен, сочетающий доброжелательность с чувством собственного достоинства. Он ритуально задирает мощную лапу возле каждого дерева, торчащего из земляного квадрата, вырубленного в сером асфальте по дороге к парку, и отмечал свое царственное присутствие краткоструйным вниманием...

— Кстати, ты заметила это? — Наташа указала на довольно высокие ограды, окружавшие теперь каждое дерево на улице. Внутри ограды, у стволов, были высажены цветы, которых прежде здесь не было.

— Так закончилась в нашем районе великая война между защитникам флоры и любителями фауны. Бы-

ла многолетняя свара: местные жители постоянно жаловались на собачников, что их питомцы заливают мочой деревья, и они вянут. И тогда собаководы, сложившись, заказали эти ограды и посадили цветы. Ограды такие высокие, что ни одна собака струей до ствола не дотянет, разве что человек со шлангом...

Дождь то затихал, то усиливался. Зато ветер дул без перерыва, выворачивая зонтик. Трудно было предположить, что намеченная панихида состоится. Но мы были в пути, уже промокли, и больше рисковать было нечем. Однако на лужайке, где еще вчера был пень, а теперь и пень уже выкорчевали, мы обнаружили десяток женщин, среди которых затесался один довольно молодой мужчина. Стояли кружком, в плащах и куртках. В руках одной из женщин был пакет, из которого она что-то сыпала на землю. Мы подошли и поздоровались.

— Это древний индейский обычай, — широкозубо улыбнулась американка, — перед началом каждого ритуального действия индейцы насыпали на земле круг из кукурузной муки или табака...

Потом она стала рассказывать о глубокой связи истребленных жителей этих мест с природой, об утрате современным человеком этой животворной связи и необходимости ее восстановления.

— Мы призываем Дух дерева, — провозгласила она и обратила глаза к небу. — Пусть Дух этого дерева не оставит нас и вселится в это новое юное существо.

Длинной рукой она указала, куда именно следует вселяться духу срубленного дерева.

Все обернулись — новый вяз, уже взятый в проволочную изгородь, был накануне высажен в пяти метрах от могилы усопшего, так что новое плотское жилище уже ожидало одухотворения.

Людмила Улицкая

Мешочек с кукурузной мукой передали в руки другой женщине, она высыпала на землю горсть и тоже сказала небольшую речь. Она говорила о забытом былом равенстве человека, дерева и животного. О насилии над животным миром и об освобождении животных на фермах. Женщина подняла руки к небу, тощая курточка распахнулась, и сверкнула красная надпись на белой майке — «Свобода животным на фермах!». Запахло Оруэллом...

Следующая женщина прочла небольшую очень симпатичную поэму о дереве. Она не сама ее написала, прочитала по детской книжке.

Дождь то усиливался, то затихал. Пакет шел по кругу. Окружность на земле, нарисованная мукой, мокла и делалась всё шире. Большая толстуха с мягким смоленским лицом — каких только американцев не бывает! — говорила о варварстве современных людей, которые губят деревья, о безумии цивилизации и необходимости стать лицом к лицу с природой...

Я просто чуть слезами не растеклась от умиления. Дело в том, что незадолго до отъезда мы с мужем поехали в Ботанический сад — иногда случается, что приспичит вдруг на деревья посмотреть. От метро ВДНХ дорожка вела к Ботаническому саду через — придется сказать — лес, кучку детдомовских каких-то деревьев, выросших не на земле, а на коросте мусора. Деревья эти скорее умирали, чем жили, влачили мучительное существование, и при их виде вовсе не приходила в голову мысль, что существует некий Дух дерева... Здесь явственно существовал только Дух помойки. Дух большой, вселенской помойки и маленький душок тлена. Большого тлена не было, поскольку мусор, из которого произрастали несчастные деревья, был по большей части нетленным: пласт-

Мир вокруг

массово-полиуретановым, нерастворимым, неуничтожимым. Он был вечным и бессмертным, как наш великий народ, вдохновенный создатель грандиозной помойки. Мы пролезли в дыру в ограде и оказались в Ботаническом саду. Что можно о нем сказать? Если бы Форт Трайан Парк обладал воображением, именно так он представлял бы себе ад...

Тут очередь дошла до мужчины, и он заговорил:

— Я ученый и циник, — сказал он. — Большую часть времени я провожу в странах третьего мира, стоящих на предыдущей ступени цивилизации, и я утверждаю, что идилических отношений между первобытным человечеством и природой не было и нет. Истребление лесов началось с развитием поджогового земледелия, и именно оно истребило 90 процентов лесов. Только современная цивилизация в состоянии поддерживать природу, сохранение природы требует огромных капиталовложений, и если они не будут производиться, то вашим духам деревьев некуда будет голову приклонить...

Сверкнула незримая молния. Дождь замер. Мы с Наташей тоже. Скрестились две враждебные силы. Это была одна из тех идеологических схваток, в которых стороны никогда не могут найти общего решения. Поразительным было другое: обе партии воевали за жизнь этого дерева и миллионов других. И чем больше эти люди будут воевать между собой, взывая штрафы с тех, кто загрязняет воду и воздух или призывая на каждый куст божье благословение, тем больше они преуспеют, и пусть каждая из партий считает, что именно благодаря ее усилиям живы леса, они будут шуметь, дышать, жить и давать жизнь всем нам. Только очень обидно сознавать, что пока эти ребята водят хороводы вокруг дорогого мистера Купера Бича, наши безымянные деревья в Тимирязев-

Людмила Улицкая

ке и на ВДНХ, на Садовом кольце в центре Москвы и на далеких окраинах огромной страны горят и сохнут, гниют и погибают от химической грязи, а мы, беспечные и неумные, делаем вид, что не знаем о том, что человек не имеет своего собственного органа для усвоения солнечной энергии, не способен к фотосинтезу, и только деревья, кустарники, травы, словом, вся зелень мира способна делать то, без чего жизнь человечества невозможна. Такая простая вещь...

Снова полил дождь. Корректно доругивались враждующие стороны. Лето в этом году в Нью-Йорке на редкость нежное: никакой бешеной жары, время от времени умеренные дожди, полезные всякой зелени... И нью-йоркские парки в конце июля свежи, как в начале мая. А мне пора домой, в Москву. В заплеванный Ботанический сад, в бедную Тимирязевку. А про Миусский, дорогой моему сердцу Миусский сквер можно вообще забыть...

«Мир стал очень маленьким...»

(из интервью)

— ...Мне представляется, что Вы занимаетесь такими проблемами, которые не просто русские проблемы, а можно сказать, общечеловеческие. Насколько Вы считаете себя русским писателем?

— Дело в том, что это мой единственный язык. Это единственный язык, на котором я могу выражать свои мысли. Я его страшно люблю. Мне его очень легко любить, потому что другого я не знаю. Поэтому я, конечно, русский писатель. Другое дело, что мы сегодня все вместе подошли к такому рубежу, когда на националь-

Мир вокруг

ную проблематику надо как-то очень пристально посмотреть, и какими-то новыми глазами. Потому что мир стал очень маленьким. Мы жили в огромных странах, которые были всем космосом и всем миром и содержали в себе всё. Были соседи, которые немножко мешали нам существовать в огромном пространстве. Но как-то управлялись с пограничными конфликтами, ругались в рекреациях. Сегодня мир крохотный. И если новое сознание не прорежется, не пробудится в человеке, то очень много шансов, что просто начнется очень жестокое взаимоистребление. И мы видим предпосылки к этому. И что самое ужасное — накоплены огромные потенциалы военные. Поэтому здесь вопрос крайне спешный: успеет ли человечество поменять свое сознание или сначала все-таки само себя истребит? Но единственный, конечно, шанс выживания — это полная перемена сознания, в котором эти-то самые национальные мотивы как раз требуют особо важного, особо внимательного пересмотра. Национальное пришло в конфликт с универсальным.

Культура бывает только национальной, она через национальное выражается, без языка ее не может быть. Я про литературу, конечно, говорю, не про музыку. Но тем не менее как найти новую форму интеллектуальной жизни, чтобы этот конфликт постоянный, всегдашний, мировой как-то избежать, чтобы его как-то смягчить и растворить? Я сторонник глобализации — не потому, что она мне нравится, а потому, что она неизбежна, и этот процесс, который идет, надо его регулировать, надо с ним работать. Против него ничего не поделаешь: все хотят ходить в самой удобной обуви, все хотят есть пищу, которая сегодня популярна, сегодня в моде, разработанную то в Японии, то в Индии, может быть, даже и полез-

Людмила Улицкая

ную — но не в этом дело. А где здесь равнодействующая, где найти этот баланс между «быть как все» и «сохранять идентичность»? Если наша унификация приведет к тому, что мы перестанем друг другу грызть глотку, то я согласна сдать в этнографический музей все национальные бомбошки: кимоно, лапти.

Если человечество научится жить в мире, но вынуждено будет заплатить за это ценой национальной оригинальности, я — за. Я думаю, что это крайний, предельный случай. Я, конечно, вовсе не хочу, чтобы китайцы перестали быть китайцами, а японки перестали носить кимоно — кстати, почти перестали! — и мир бы стал весь одет в одни и те же джинсы Levi's. Но если гарантия выживания — унификация, то я за, тогда я все-таки за нее. Во всяком случае, здесь есть что обсуждать!

— В этом переоформлении, в пересоздании сознания, о котором Вы говорили, помогает ли, по Вашему мнению, религия?

— Она может помогать, а может не помогать. Но скорее мешает, как и национальные привязанности. Понимать эту проблему может только универсальная религия. А современное христианство от его изначального и коренного универсализма постоянно отказывается в угоду этнографическим бомбошкам. Я не против крашеных яиц и фаршированных индеек, пучков вайи или булочек в виде птички имени Святого Духа. Но христианство — совсем о другом. Вопрос ваш хороший, но я не могу навскидку отвечать.

Беседовал Йозеф Горетить.

Журнал *Jelenkor* (Венгрия), № 5, 2010

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НАС

НИКТО НЕ ЛЮБИТ ОЛИГАРХОВ

Никто не любит олигархов. Они и сами друг друга терпеть не могут. Их можно понять: им-то деваться некуда, любишь не любишь, но общаться они вынуждены только между собой. Весь прочий мир, неолигархический, для них сплошь обслуживающий персонал: врач и учитель, артист и сантехник, художник и психолог только о том и мечтают, чтобы обслужить олигарха и причаститься через гонорар к высшему положению человека, который может ВСЁ купить.

Во времена моей юности в России не было олигархов. Не было даже просто богатых людей. То есть они были, но богатство должно было сохраняться в глубокой тайне — иначе посадят. Конечно, была категория людей, у которых денег не было, но они были обеспечены всем, потому что существовала хитроумная система комфортной и даже роскошной жизни без денег. Коммунизм для отдельно взятых людей. Такое существование поддерживалось государственными механизмами безденежного снабжения: продукты выдавались в закрытых распределителях, лучшая по

Людмила Улицкая

тем временам медицина была бесплатной, а система государственных дач, санаториев и домов творчества работала исключительно для высших партийных начальников, в строгом соответствии с их иерархией.

Иерархия эта была исключительно точной. Одна моя подруга ранним утром в понедельник пошла сдавать в райком комсомола (Коммунистический союз молодежи, если кто не знает) членские взносы. Работники идеологического фронта еще не пришли на службу, и подруга моя оказалась свидетельницей прелестной картины: двое дюжих молодцев разносили продовольственные наборы. Около больших кабинетов ставили большие картонные коробки, у кабинетов поменьше и коробки были поменьше, а на столы рядовых инструкторов по комсомольской работе плюхали по голому карпу, даже в газетку не завернутому. Это был социализм в действии, и подруга моя, рассказывая об этой сцене, заливалась хохотом. В магазинах в те времена, надо добавить, и рыбу, и мясо брали с бою, а про апельсины и ананасы ходили слухи, что их где-то «выбрасывали».

Прелесть этой истории подчеркивалась еще одной драматургической завитушкой: подруга моя происходила из знаменитого купеческого рода России, известного до революции огромной благотворительной деятельностью — строительством больниц и церквей, богаделен и детских приютов. Лучший и по сей день магазин-дворец в Москве — Елисеевский — принадлежал родственникам моей подруги, и происхождение свое эта прекрасная интеллигентная семья в советские времена держала в тайне.

Ко времени революции это было третье поколение разбогатевших купцов, но еще живы были деды, ко-

торые продавали в лавках деготь и гвозди, таскали на собственных спинах мешки с зерном и осваивали премудрость цифр и букв. Они копили денежку к денежке, ели щи да кашу и отправляли своих детей на учебу за границу.

Представитель такой купеческой династии Сергей Михайлович Третьяков собрал огромную художественную коллекцию, основал и подарил городу Москве музей, известный сегодня как Третьяковская галерея. На купеческие деньги были построены первые городские больницы, и по сей день существующие.

Эти первые капиталисты разбогатели стремительно, лет за тридцать, но их богатство почему-то не вскружило им головы. Они стали миллионерами, но не стали олигархами в теперешнем смысле.

Что же это за особая порода людей, разбогатевших в России за последние двадцать лет, называемых олигархами?

Среди сегодняшних богачей есть, вне всякого сомнения, и такие, которым пришлось потрудиться, чтобы достичь своей строчки в списке Форбса — списке самых богатых людей нашего времени. Однако большинство сегодняшних олигархов составили свои огромные состояния на приватизации государственной собственности. В первых рядах теперешних «приватизаторов» оказалось высшее партийное начальство, их дети и родственники. Это была новая экспроприация, тайная и почти бесшумная. Доставшиеся «по новому переделу» богатства попали в руки людей, потерявших какие бы то ни было нравственные представления. Они, кажется, не виноваты — им ни о чем таком в детстве не говорили. О репрессиях сталинских лет они смутно что-то слышали...

Людмила Улицкая

В девяностые годы, когда начался новый передел уже приватизированной собственности, пошла волна захватов предприятий, бандитизма и разгула уголовщины. Общество застонало и затосковало по «твердой руке», которая навела бы порядок. И твердая рука явилась — всё та же секретная полиция и высшее военное руководство оказались единственной силой, которая была в состоянии справиться с экономическим бандитизмом. И тут же фабрики и заводы, рудники и художественные ценности нашли в их лице новых хозяев. Талантливых организаторов среди них оказалось немного: назревала новая катастрофа. Выросшая во всем мире цена на нефть спасла новую генерацию хозяев страны от разорения. Сегодня мы знаем многих из них в лицо. Эти уже не носят на шее золотые цепи толщиной в руку, нет у них на груди татуировок «Не забуду мать родную», бордовые пиджаки и бычья стрижка сменились одеждой от европейских дизайнеров и безукоризненными прическами. Они перестали жрать водку и научились разбираться в винах. Их жены носят тридцать четвертый, а не пятьдесят шестой размер одежды, а дети получают образование в самых престижных университетах и бизнес-школах Европы и Америки и говорят на хорошем английском языке. Но и русский язык благодаря их расселению по планете можно услышать во всех прекраснейших точках мира. Они возят с собой штат прислуги: шоферов, поваров, массажистов. Многие из них проводят жизнь в путешествиях по миру в частных самолетах и яхтах. Я знаю одного такого, который постоянно меняет девушек, но сохраняет верность любимой собачке и таскает ее вместе с ветеринаром по всему свету за собой. Это похоже на милую причуду, а про всякую «клубничку» расска-

зывать не буду из чувства брезгливости. Хотя говорят, что пресловутый римский разврат выглядит невинным ковырянием в носу в сравнении с их развлечениями. Словом, глубокая тоска охватывает при виде этой картины, а купеческие развлечения наименее почтенных из предков моей упомянутой подруги — обожраться на масленицу блинами и упиться водкой до потери сознания — просто вызывают ностальгическую нежность.

Итак, олигархов никто не любит. Они и сами друг друга терпеть не могут. Но есть среди них один, которого они не любят особенно. И тому есть причины. Он — предатель интересов своей закрытой группы, нарушитель неписаных законов их выживания. Олигархам разрешено очень многое, что обычным людям запрещено законом: они могут даже сбить насмерть человека и поехать по своим делам дальше, не остановившись. Есть только один запрет, но он абсолютный: слушаться начальства. И вот возник один, поначалу от остальных неотличимый — из бывших комсомольцев, удачливый приватизатор и, между прочим, отличный организатор. И пошли у него дела отлично. Впрочем, он не один был такой. Были и другие талантливые ребята среди олигархов. Но этот проявил сначала самовольство — разработал огромную благотворительную программу и начал ее реализовывать из своего кармана. Собственно, почти все олигархи отчисляют деньги на благотворительность — куда прикажут, туда и вливают: на ремонт Большого театра или на приобретение коллекции высокохудожественных яиц Фаберже.

В те годы я много ездила по русской провинции (когда-то вожди нашего государства кичились тем, что страна наша равна по площади одной шестой части суши. Теперь она поменьше, но всё равно огромная).

Людмила Улицкая

Вот тут я этого особого олигарха и заметила и выделила из числа прочих, чьи имена были мне известны. В каждом из далеких городов я наблюдала следы благотворительной деятельности, исключительно осмысленной: компьютерные классы в бедных школах, в детских колониях, большие вливания в культуру и образование, в социальные программы.

Вспоминала я о купеческих предках моей подруги и радовалась: вот олигарх, который очнулся от мании личного потребления и научился получать удовольствие, помогая ущемленной части населения. А спустя несколько лет я оказалась в потрясающем интернате для детей-сирот, организованном этим самым олигархом. И теперь я назову его имя — Михаил Борисович Ходорковский.

Вскоре его имя прогремело на весь мир, и не по той причине, что он оказался первым крупным меценатом и благотворителем. Мировая его известность связана с колоссальным судебным процессом, который государство предприняло против него. Дело это имело предлогом давнюю неуплату налогов и сильно напоминало роман Кафки «Процесс»...

Ни адвокатские протесты, ни многочисленные письма общественности не возымели действия. Единственная группа населения, которая не выразила сочувствия, — напуганные до полусмерти олигархи. А Ходорковский сидел в тюрьме, продолжая одновременно двигаться выбранным курсом: читал, писал, много думал и сильно менялся.

Когда его первый срок подходил к концу, против Ходорковского и Платона Лебедева открыли новое дело. Всё тот же театр абсурда, полная глухота судей, беспомощность адвокатов против неменяемой машины продажного «правосудия». И Ходорковский получил второй срок.

Сегодня Ходорковский продолжает свою тюремную карьеру. И не только тюремную. Следуя глубинной российской традиции, он начал писать «тюремную» книгу. Первые главы уже написаны, и хочется надеяться, что со временем русская тюремная литература пополнится еще одним томом.

Кто из русских писателей не писал о тюрьмах? Толстой и Достоевский, Платонов и Шаламов создали бессмертные произведения об этой вечной реалии российской жизни. Кто из русских не сидел в тюрьмах? Декабристы и революционеры, просветители и епископы, всякого рода инакомыслящие. Теперь в этом списке есть и олигарх. Бывший — потому что вся его прежде процветающая компания, все его капиталы отошли государству. Но вместо бывшего олигарха в стране появился новый герой. Его создала сама власть. Я — за Ходорковского. Не знаю, как повернется его жизнь, но на свободе этот человек, несомненно, принес бы больше пользы обществу, чем в качестве пошивщика рукавиц в лагерной зоне.

Газета *Repubblica* (Италия), март 2011

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ

Из переписки с М.Б.Ходорковским.
2008–2009

В конце 2008 года у меня с Ходорковским завязалась переписка, опубликованная сначала в «Новой газете», позже она вошла в состав книги «Статьи. Диалоги. Интервью». Автор книги — Ходорковский. В письмах своих я задавала ему «неудобные» вопро-

Людмила Улицкая

сы. Собственно, те самые вопросы, которые задавали ему люди, не испытывающие к нему никакой симпатии. Таким образом, у него появилась возможность публично рассказать о своей позиции, отчасти и об истории самого процесса. Ниже я привожу два моих письма и фрагменты из ответных писем.

18.11.08.

Уважаемый Михаил Борисович!

Письмо Ваше на этот раз меня удивило своей неожиданностью: полжизни мы выстраиваем стереотипы, разного рода штампы и клише, потом начинаем в них задыхаться, а годы спустя, когда наработанные стереотипы начинают рушиться, очень радуемся освобождению. Пока что я говорю о своих представлениях. Постепенно, надеюсь, и до Ваших доберемся.

Итак. Ваши родители — «добротные шестидесятники» хороших кровей: инженеры, производственники, честные, порядочные. Ваш отец с гитарой в одной руке и с рюмкой в другой, веселый и живой, мама, готовая всегда и гостей принять, и помочь подруге в трудных обстоятельствах. И их отношения с советской властью понятны: а пошла она! Дети шестидесятников, прочитавшие в девятом классе перепечатанные на машинке «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «1984 год» Оруэлла, брезгливо от власти отшатывались и в лучшем случае писали диссертации, работали врачами или лифтерами либо участвовали в социальном движении, которое впоследствии называлось «диссидентским». Часть этих подростков детей прошла опыт тюрьмы и лагерей в восьмидесятых годах, часть эмигрировала на Запад. А Вы как-то убереглись от этого и удачно встроились в тогдашнюю машину, нашли в ней свое

место и эффективно работали. Особенно трогает невинность, с которой молодой человек готов пойти хоть в «оборонку», потому что родину надо защищать.

Два десятка лет разницы в возрасте исключают ситуацию, которую легко вообразить, будь мы ровесниками. Когда я с тошнотой отвращения и с туристической путевкой в кармане приходила в комитет комсомола факультета для получения характеристики, то сидели там либо прожженные карьеристы, либо идиоты — и я отвечала на вопрос, кто там у них в Болгарии секретарь ЦК партии. Я туда пришла в шестидесятых, а Вы там сидели, или в соседнем кабинете, в начале восьмидесятых. Несомненно, Вы принадлежали к кругу людей, с которыми я, мягко говоря, не дружила.

Оказывается — что меня и удивило в Вашем письме, — у кого-то из этих людей в восьмидесятые годы могла быть «позитивная» мотивация. Вы там присутствовали — молодой, талантливый человек, мечтающий стать «директором завода», осмысленно и правильно что-то производить, может, даже оружие для защиты родины. И там, в этом окружении, Вы видели «прогрессистов», как Ельцин, и ретроградов, как Лигачев. Вы находились внутри системы, и нашли там свое место, и создали команду. Вы пишете, что идеология Вас не интересовала, а имело значение «стремление к лидерству». Но это стремление — приличное определение понятия «карьеризм». Это не ругательство, а определение. Карьера, дело — важнейшая часть жизни нормального мужчины. Сегодня — и женщины тоже. Но, как мне казалось, предлагаемые там, внутри системы, правила игры были таковы, что порядочному человеку их принять было невозможно. А Вы-то были мальчиком из приличной семьи. Как можно было ухитриться вы-

Людмила Улицкая

расти «правоверным» комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто враги? Значит, это было возможно. У меня нет оснований не доверять Вашему анализу. Значит, я была пристрастна в своем полном неприятии всех партийных и полупартийных людей.

В восьмидесятые годы в руководстве страны (да и на всех уровнях, вплоть до бани и детского сада) была уже полностью изжита любая общественная идеология, и оставался только пустой каркас.

Теперь вижу, что я неполно представляла себе картину. Может, и вовсе неверно. Отвращение к советскому строю было во мне столь велико, что я не допускала, что в этой позднекоммунистической среде можно на кого-то ориентироваться, кому-то доверять. Даже кумира найти. Ельцин был для меня одним из партработников, и я страшно заволновалась, когда все мои друзья побежали к Белому дому, а я сидела у себя дома и горевала: почему мне не хочется бежать на эту демонстрацию вместе со всеми?

Через несколько дней сказала: если будет люстрация, как в Германии после поражения нацистского режима, тогда поверю. Был большой энтузиазм, а я не могла его разделить. Люстрации не было: почти все начальники остались прежними, поменявшись креслами, лишь кое-кого изгнав.

Я понимаю, что в Ельцине было обаяние, и размах, и хорошие намерения. Только кончилось плохо — сдал всю страну в руки КГБ. Нашел «чистые руки». И Вы это, какими-то иными словами выразив, тоже, как мне показалось, признаёте.

Как Вы сегодня, спустя десятилетие, оцениваете фигуру Ельцина? Если эта переоценка произошла, то когда?

Был момент, когда мне казалось, что реформы Гайдара могут создать эффективную экономику, но он не вытянул. Книга его о падении империи очень интересна, многое объясняет, но задним числом.

Была ли у Вас в то время какая-то концепция переустройства, или Вы были вполне удовлетворены теми большими возможностями, которые тогда открылись перед предпринимателями? Нет сомнений в том, что Вы оказались очень хорошим директором очень большого, на полстраны, завода.

Наконец, самый болезненный из всех возможных вопросов. Настолько болезненный, что я готова не получить на него ответа. Вообще снять вопрос. Был момент, когда близкие к Ельцину люди получали в управление, или во владение, или в собственность огромные куски в виде «фабрик, заводов, газет, пароходов». Было одно распределение, потом ряд последующих «перераспределений», часто очень жестких. К этому времени Вы уже стали «директором завода». Где в тот период проходили границы дозволенного для Вас?

Вот. Вношу поправку в вопрос: что из идей Вашей молодости, когда Вы мечтали быть «директором завода», вы сохранили? Что утратили? Я, конечно, о системе ценностей речь веду.

Я Ваше имя выделила из ряда олигархов, когда в одной детской колонии, куда меня занесло вместе с подругами-психологами, обнаружила компьютерный класс, на Ваши деньги организованный, а потом еще в разных сферах натыкалась на следы «Открытой России», Вашего детища. Несколько лет спустя, когда Вы уже были арестованы, я попала в лицей «Коралово», познакомилась с Вашими родителями и увидела там невообразимо прекрасно устроенный остров для детей-

Людмила Улицкая

сирот и полусирот. Ничего похожего я не видела нигде в Европе. Тоже Вашими усилиями построенное дело.

Вы пишете, что для Вас поворотным пунктом в отношениях с властью был разгром НТВ. У каждого человека действительно «свой Рубикон». Но до этого времени Вы как-то выстраивали отношения с властью, всё более теряющей чувство приличия. Еще один жесткий вопрос: у Вас было ощущение, что этот процесс можно изменить? Если бы НТВ сохранилось, вы смогли бы наладить подпорченные отношения с Кремлем?

Пресса продажна и послушна властям во всем мире. Вопрос в том, что в разных странах разного размера труба для выхлопа отрицательных эмоций. Неужели Ваш конфликт произошел из-за диаметра не нефтяной, а информационной трубы? Для меня это значило бы, что Вы, будучи прагматиком и практиком, не растратили романтических иллюзий.

Вы простите меня, может, что-то получилось жестко в этом письме. Но «золотой век» кончился. Иллюзии развеялись. Мало времени на размышления. У меня к тому же острейшее чувство катастрофически «сжимающегося» времени. Хочется напоследок «дойти до самой сути». Впрочем, никому не удалось. Ну, хоть приблизиться сколько возможно.

И еще есть одна проблема, которую хотелось бы обсудить: человек, его частная жизнь и давление общества. Как сохранять свое достоинство, свои ценности? Как эти ценности меняются? И меняются ли? Когда человек находится в лагере, возникает уникальный опыт, отличный от здешнего. Это я заранее Вас предупреждаю, о чем еще мне хотелось бы с Вами поговорить, если будет такая возможность.

Желаю Вам здоровья, твердости и спокойствия.

С уважением, Людмила.

Из ответов М.Б.Ходорковского

...Мои родители специально делали так, чтобы я не стал «белой вороной» в том обществе. Сейчас я это понимаю, тогда — нет. Более того — и в школе, и в институте я не видел «белых ворон». Школа была на пролетарской окраине, институт — тоже сугубо «пролетарский», 70 процентов по путевкам с заводов. Не было у нас диссидентов вообще. В институте особенно. Факультет оборонный, и если исключали из комсомола, то автоматически отчисляли. Причем мы считали это справедливым.

...Я как секретарь факультетского комитета отказывался исключать из комсомола отчисляемых из института, т.к. был убежден: не всякий комсомолец может быть способен к учебе. А вот обратное на оборонном факультете казалось мне абсолютно справедливым. Ведь мы должны при необходимости отдать жизнь за Родину даже в мирное время, а как это можно потребовать с некоммуниста или некоммуниста? Не шучу, не утрирую. Ровно так и думал.

...«Один день Ивана Денисовича» читал, был потрясен, Сталина ненавидел как опорочившего дело Партии в интересах культа собственной личности. К Брежневу, Черненко относился с юмором и пренебрежением — геронтократы, вредят Партии. Андропова уважал, несмотря на «перегибы на местах». Вам смешно? Хотел бы посмеяться. Не выходит.

...Я, когда был на практике, не в заводской библиотеке сидел, а гексоген (взрывчатку) лопатой кидал, на пресс-автомате работал (чуть вместе с приятелем на тот свет не отправился по собственной ошибке). На сборах были, мне звание сержанта присвоили и назначили

Людмила Улицкая

замполитом, а я опять попросился на завод — снаряды старые разбирать. Мы ведь комсомольцы, нам положено идти на самые опасные участки. И разбирал под недоуменными взглядами командовавших офицеров с нашей военной кафедры. Опять рассмешу: их недоумение не понял, а они ничего не сказали... Что же касается ощущения внешнего врага, то оно было крайне острым, как и ощущение причастности к «девятке» — группе оборонных отраслей.

...А в 1996 году оборонщики напрямую Ельцину деньги дать отказались (в кредит Правительству, тогда было такое возможно!), а я попросил — дали под честное слово. Хотя рисковали головой. Частично на их деньги я и купил ЮКОС, потом деньги отдал. Они знали, на что я беру. Некоторые из моих знакомых, которых я считаю хорошими людьми, входили в ЦК КПРФ, некоторые поддерживали ГКЧП (как, к слову, и Бакланов, и Лукьянов, чья дочь сейчас — мой адвокат).

...С той стороны баррикады люди были совсем не «плоские». Упертые в одном и абсолютно порядочные в другом. Я, как и они, был солдатом не своей, виртуальной войны. Но мы были честными солдатами. Защищали то, что считали правдой.

...Мы очень серьезно подходили к сотрудничеству с КГБ. Мы — это оборонщики. Они работали на нас и одновременно контролировали нас, но совсем не с точки зрения «политической грамотности», а с точки зрения физической охраны, контршпионажа и т.п. Это были очень серьезные, очень квалифицированные специалисты. Некоторые из них прошли Отечественную войну на нелегальной работе. Их уроки мне очень пригодились в тюрьме, т.к. у них за плечами были и тюрьмы, и концлагеря, и зинданы. Они были

очень рады, что их опыт кому-то нужен. Оказалось — еще как нужен!

Были и другие — «НКВДшники». Их не уважали, сторонились и мы, и те специалисты, о которых я говорил.

...Теперь о лидерстве и карьеризме. Не соглашусь — вещи разные. Карьера, в плохом смысле, это вверх по ступенькам бюрократической лестницы, подхалимничая и пресмыкаясь. Да, таков путь большинства «успешных людей». Так можно было стать вторым секретарем, заместителем директора завода, начальником управления и даже заместителем министра. Но не «линейным руководителем», начальником цеха, директором завода. Туда ставили других. Лидеров. И терпели их, т.к. карьеристы на линейных постах «валили» дело. А за дело был спрос.

...Если говорить о Борисе Николаевиче, то я не могу быть беспристрастным. Понимаю все его недостатки. Более того, считал в 1999 году, что ему надо уйти. Хотя кандидатуру Путина я не приветствовал, и Путин это знает. Но Борис Николаевич был фигурой. Глыбой. Настоящий русский царь со всеми плюсами и минусами данной ипостаси. Он сделал много хорошего и много плохого. Чего больше — не мне судить.

...Можно ли было Россию глобально изменить сильнее или лучше, чем он? Можно ли было обойтись без «термидора» и нового застоя, без возвращения «товарищей из органов»? Без чеченской войны, без штурма Белого дома? Наверняка можно. Мы не сумели. Не он — все мы. И какое у меня право судить?

...В гайдаровские времена идей переустройства страны в целом, как исторического здания, у меня не было, но было видение «переустройства» экономики.

Я был сторонником создания и последующей приватизации не отдельных предприятий, а крупных научно-промышленных комплексов по типу «Газпрома» (не всегда таких масштабных, но аналогичных по структуре). Мы в правительстве называли это активной промышленной политикой (не только создание, но и некое целеполагание, определение задач и приоритетов).

...Когда мои идеи пришлись «не ко двору», я ушел, предупредив, что воспользуюсь той дурью, которую они понапишут. В том числе и свободно обращаемыми ваучерами. Надо сказать, я сразу говорил, что это плохо кончится, что чешский пример лучше (там «закрытые фонды»), но мне заявили, как всегда, о моем явно корыстном интересе. Правда, не совсем понятно, каком. И я не стал спорить. Не хотите — не надо. Зато потом — и вот здесь мы можем поговорить о границах дозволенного — я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь.

Да, это была маленькая месть, возможно, грех тщеславия. Но, надо отметить, они вели себя прилично: судились, перекрывали дырки новыми законами и инструкциями, злились, однако никогда не обвиняли меня в нечестной игре. Это был наш постоянный турнир.

...Прав ли я был по большому счету? Не убежден. С одной стороны, объективно поднимал промышленность, с другой — подставлял далеко не самое плохое правительство. С одной стороны, конечно, вкладывал все доступные мне средства в индустрию. Эффективно вкладывал. Сам не шиковал и не давал шиковать другим.

Мир вокруг

...В «высшей лиге», во всяком случае, до прихода туда граждан с «правоохранительным прошлым» барьер стоял там, где его можно было защитить в арбитражном суде (пусть не полностью независимом, но и не контролируемом, как сегодня Басманный). Барьер стоял и на уровне допустимой поддержки со стороны чиновников, которые могли встать на твою сторону из собственных соображений, но понимая, что им свою позицию придется всерьез защищать у премьера и президента, но не только, а еще и — страшное дело — в СМИ!

...Сегодняшний уровень «отморозки», когда люди ощущают полную безответственность при правильности «политической позиции», нет, такой уровень было трудно себе представить.

Нет. Искать дырки в законах и пользоваться ими в полной мере или ограниченно — вот где проходил наш барьер. А демонстрация правительству его ошибок в законодательстве — главное интеллектуальное удовольствие в этой сфере.

...Я рассматривал бизнес как игру. Только игру. Где надо (хочется) победить, но и проигрыш — не проблема. Игру, где сотни тысяч людей приходили утром на работу, чтобы поиграть вместе со мной. А вечером уходили к своим делам и заботам, со мной не связанным.

...После преодоления кризиса мои жизненные установки начали меняться. Я не мог больше быть «просто директором». В 2000 году мы создали «Открытую Россию».

...Еще раз о взаимоотношениях с Законом. Никогда не считал и не считаю оправданной позицию «все нарушали». Если нарушал ты — отвечай. Моя позиция совершенно в другом: наше законодательство (как, впрочем, и законодательство любой другой страны) ос-

Людмила Улицкая

твояет множество «белых пятен», простора для толкований, которые, собственно, и являются предметом деятельности суда (в основном Верховного). Беспредел, или, вежливо говоря, «избирательное применение закона», в деле ЮКОСа заключается в том, что для ЮКОСа применяется отдельное, специальное толкование закона. Такое, которое не применяется (и не может быть применено) к другим субъектам аналогичных правоотношений.

Я считаю, что в целом законы у нас нормальные, не хуже и не лучше, чем в остальных странах, а вот с правоприменением, с судами — катастрофа.

...А вот общечеловеческие ценности пробивались ко мне долго. Думаю, именно тогда, когда они «пробились», я и восстал. Было это в 2001 году — НТВ... Но именно тогда на РСПП встал вопрос: что «во-первых» — собственность или свобода слова? Ведь долги НТВ «Газпрому» были реальными. И тогда я для себя пришел к выводу: одного без другого не бывает, и дал НТВ 200 миллионов долларов. Что мне потом записали в обвинение.

Я не революционер. И если бы НТВ сохранили, то я, возможно, и к остальным событиям относился бы менее внимательно. В общем, не спешил бы «выделяться», оставляя «политику» более активным «товарищам». Как, впрочем, всегда и поступал. Здесь не смог. Возникло ощущение удавки на шее.

...Я действительно «государственник», т.е. считаю, что на ближайшие 20—40 лет (дальше я не заглядываю) роль государства в жизни России (российского общества) должна быть больше, чем сегодня. Однако я совсем не за «жесткую руку». Убежден: государство — это хорошо работающие институты, живущие за счет налогоплательщика и в интересах налогоплательщика.

Мир вокруг

Со временем многие из них должны быть заменены общественными структурами. Т.е. прекратить жить за счет налогоплательщика, а стать элементом самоорганизации и гражданского служения. И уж, конечно, я против продолжения «татаро-монгольских» традиций, когда государство есть оккупант, собирающий дань с покорного народа и не обязанный отчитываться за использование этой дани, не интересующийся желаниями граждан и диктующий им правила жизни.

Что же касается глобализации, то я глобалист. Почитайте мою статью о причинах кризиса. Однако убежден, что национально-территориальное деление себя изживет еще не скоро. И если в области экономики, экологии и т.д. глобализация необходима и позитивна, то в области культуры — очень сомневаюсь.

Делать то, что можешь, надо, по-моему, здесь и сейчас, каждый день, как будто он последний. Тогда нет времени бояться. Делать, насколько хватает сил и таланта, чтобы потом «не было мучительно больно», когда вдруг узнаешь, что время кончилось. Если с талантом плоховато, то тогда хоть «примером». Это и пытаюсь. Еще раз спасибо за письмо.

С уважением, *М. Ходорковский.*

РОССИИ НУЖЕН ПИНОЧЕТ?

(2000 год)

Недель приблизительно за шесть до выборов в Москве состоялась встреча русского ПЕН-центра с господином Путиным. Я на эту встречу не пошла, поскольку у меня с давних пор образовался пред-

Людмила Улицкая

рассудок: по своей воле с представителями госбезопасности не встречаться. Однако полный отчет получила. Общее настроение: Путин хочет понравиться писателям, писатели, со своей стороны, хотят понравиться Путину. Он в милой и обаятельной манере — к тому же с падежными окончаниями полный порядок, что всегда камень преткновения для руководителей, — объясняет умным, интеллигентным и даже отчасти талантливым писателям, что не надо бояться: серый волк не такой уж серый и не совсем волк... А писатели, некоторые умные, некоторые талантливые, и все сплошь прогрессивные, кивают головами и слегка подмахивают. Потому что им очень хочется в это верить. А, может, правда, ФСБ — не КГБ, а КГБ — не НКВД, а НКВД — ну никак не ЧК?

Кстати, в книге интервью с Путиным, вышедшей незадолго до выборов, ему задают этот неделикатный вопрос: почему он молодым человеком с университетским образованием пошел на работу в КГБ?

— Из советского романтизма, — он отвечает.

— А что, — спрашивают настырные журналисты, — вам неизвестно было о репрессиях, о жесткой расправе КГБ с миллионами ни в чем не повинных людей?

Оказывается, нет, это ему было неизвестно... То есть, конечно, слышал что-то неопределенное, краем уха...

В ПЕН-центре господин Путин начинает разговор с тонкого понимания писательских нужд — замечает, что помещение у ПЕН-центра плохонькое, не к лицу.

Писатели, надо им отдать должное, на эту наживку не пошли. А поставили вопрос ребром: а что насчет дела Никитина? Как насчет Пасько? Господин Путин ответил хорошо, и сам Господь Бог лучше бы не сказал: надо, чтобы всё было по закону.

Поговорили и расстались, довольные друг другом. Началась предвыборная кампания с заранее известным финалом. С первых же опросов общественного мнения стало ясно, что Путин уже победил. У Путина оказались могучие соратники — страх и надежда. Страх перед коммунистами и надежда на русский «авось». Авось будет лучше, ведь у Путина «крепкая рука»...

Я думаю, что решающим фактором оказалась как раз «крепкая рука». Когда о крепкой руке говорит водопроводчик, я могу понять. Он точно знает, что без крепкой руки винт не завернешь. Отсюда и демократическая — не в политическом, а в самом прямом смысле этого слова — поддержка. А вот с интеллигенцией что произошло, почему большая ее часть пошла за Путиным — надо разобраться. Не так давно в какой-то дискуссии я высказала такую точку зрения, что понятия и термины обладают способностью к некоторому дрейфу, к смене содержания. Это касается в полной мере понятия «интеллигенция». Та часть общества, которая называлась интеллигенцией в начале века, и та, которую мы называем этим словом сегодня, имеют один-единственный общий параметр — род деятельности. По-прежнему мы называем интеллигенцией врачей, учителей, писателей... Первым подметил это явление Солженицын, который ввел в оборот придуманное им слово «образованщина».

В начале XX века интеллигенция была более похожа на орден, ложу, интеллектуальное сообщество. Ее характерными чертами был социальный альтруизм, бескорыстие, служение общественным интересам, своеобразный кодекс чести. А между прочим, из всех лозунгов, выдвинутых большевиками за семидесятилетний период их господства, реализован был только

Людмила Улицкая

один — создан «советский народ», советский человек нового типа. Социopsихологические характеристики, свойственные различным слоям населения, стали нивелироваться, сглаживаться под прессом государства, и для выживания наиболее ценными качествами стали послушность, приспособляемость, скрытность.

Такая социальная нивелировка изменила и характер русской интеллигенции. Десятилетие перестройки тоже не пошло ей на пользу. Рыночные отношения дали новые оценки успешности, и основным, почти абсолютным знаком преуспевания стало количество зарабатываемых денег. В этой точке интеллигенция претерпела новое глубокое унижение: ни научные достижения, ни написанные книги, ни созданные произведения искусств, ни произведенные искусно хирургические операции не обеспечивали пристойного уровня жизни.

Страна бросилась в самый нецивилизованный бизнес, а растерянная интеллигенция погрузилась в глубокий кризис. Напоминаю: диссидентское движение закончилось, значительная часть деятельных и конкурентоспособных специалистов эмигрировала. Большое количество евреев своим отъездом утешило национал-патриотов, но никак не укрепило позиции интеллигенции в целом. Лишь очень небольшая часть сумела приспособиться к новым условиям.

Кризис интеллигенции связан, кроме тяжелого экономического поражения и потери престижа, также и с разочарованием, принесенным эпохой Ельцина. Непоследовательность президента, неудача с экономическими реформами, коррупция власти и русское, традиционное «царское» самодурство оттолкнули интеллигенцию от Ельцина, и некоторая часть ее испытала притяжение к Союзу правых сил и к остаткам по-

терпевших поражение демократов. Остальные оказались в рядах путинского электората.

Директор института по изучению общественного мнения Юрий Левада пытался проанализировать эту ситуацию. Выявил интересный фактор: интеллигенция чувствует себя униженной. Путин обещал вернуть России ее былое величие, соответственно, интеллигенции — ее попранное чувство собственного достоинства (куда прошу включить и ничтожное финансирование работников культуры и науки, образования и здравоохранения, уровень жизни которых не идет в сравнение с таковым в западных странах).

Вернуть величие — это реформация. Что будет реформироваться, об этом говорит Путин крайне расплывчато, в зависимости от аудитории, где это обсуждается: патриотам крайнего националистического толка кажется, что речь идет о восстановлении империи, или Советского Союза, или Третьего Рима, — каждый подставляет свои амбиции в намеченную пунктиром клеточку с неопределенными словами о «возрождении величия». Коммунисты, например, поняли, что речь идет о них — ведь они даже и аванс получили, сдал им Путин Государственную Думу, они еще до выборов получили ключевые места — комитет по народному образованию, чтобы школьные учебники переписывать в просталинском духе, военное дело вводить... Демократам показалось, что антимонопольные законы напишут. Но олигархам этого не показалось. Однако с ними договориться оказалось проще простого. А с кем не договорились, те живут за за рубежом, на берегах Темзы или Сены.

Обещана борьба с коррупцией. Хотя всем известно, что назначение Путина исполняющим обязанности

Людмила Улицкая

президента, в наследники Ельцина, происходило в обмен на гарантии со стороны новой власти обеспечить неприкосновенность семьи президента. Собственно говоря, это и называется коррупцией, именно это мы имеем в данном случае — не закон, а личная договоренность, прелюбодейная связь закона и власти...

Военным показалось, и тоже не без основания, что их час наступает с победой Путина. И.о. президента очень хорошо, полезно высказался о финансировании армии, о доблестной победе, которая завтра-послезавтра произойдет на Кавказе. И вообще — война до победного конца! Как будто мы уже одну войну выиграли, в Афганистане.

Чем же прельстил Путин интеллигенцию, ту ее часть, по крайней мере, которая отдала ему свои голоса? Основной их аргумент: Путин — не Зюганов, а ФСБ — не КГБ. То, что интеллигенция боится коммунистов, Зюганова, можно понять. Но почему эти люди забыли, что КГБ представляет собой высшее достижение коммунистов, сердцевину их власти, их мозг и ту самую вождьленную «крепкую руку»? Строго говоря, Путина-то бояться надо было еще сильнее. Но страх, разумеется, — плохой советчик. Уроки Германии тридцать третьего года оказались забыты даже ближайшим соседом, Австрией, чего уж там говорить о России. Крепкую руку мы теперь имеем. Посмотрим, к чему нас она приведет...

Двадцать лет тому назад интеллигенция в значительной мере была диссидентской. Собственно говоря, лояльного к власти человека даже интеллигентным назвать было почти невозможно. Перестроечное десятилетие закрыло тему диссидентства. Инакомыслие не преследовалось больше. Отчасти по той причине, что имеющаяся власть сама про себя далеко не всегда зна-

ла, что именно она думает. Действия опережали мысли, общих концепций у власти не было, четкой экономической стратегии — тоже. Однако выработалась за эти годы одна интересная идея, вслух никем не высказываемая по причине ее величайшей простоты и банальности: основная задача власти — власть. Всё прочее — камуфляж, лозунг, манипуляции. Путин представляется мне человеком именно этой идеи.

У прежних диссидентов была надежда изменить коммунистическую власть, создать демократическую форму правления, возможно, не самую совершенную, но наиболее рациональную, обеспечивающую минимальные гражданские свободы и права человека. Мы полагали тогда, что коммунистическая власть пала по причине выработки своего внутреннего ресурса. Сейчас кажется, что это не так: она развалилась лишь по бездарности руководителей, по недосмотру, по ошибке, и свобода оказалась даром, которого мы не заслужили.

И тогда, побегав со свободой, как с обосранным поленом — есть такое острое выражение в русском языке, — ее положили в руки тому, кто знает, как с ней обойтись. А кто знает лучше, чем КГБ?

И вот мы снова сидим на кухне. Мы снова стали диссидентами. Возможно, мы сами в этом виноваты. Среди нас не оказалось Гавела. Наши гавелы эмигрировали — писали симфонии в Германии, преподавали лингвистику в Америке и математику в Японии.

Я, как всегда, оказалась в меньшинстве. Кухня на этот раз соседская. Мой сосед — прекрасный, глубоко уважаемый человек, драматург. Участник войны, семнадцатилетним мальчиком взявший в руки оружие, закончивший войну комендантом польского го-

Людмила Улицкая

рода Гливице. Человек, никогда не вступавший в коммунистическую партию.

— Почему, — задаю я ему вопрос, — почему вы вчера голосовали за Путина?

— Глупые голосовали за Явлинского, — улыбается он, — а умные за Путина. России сегодня нужен Пиночет. Не для расстрелов на стадионах, а для того, чтобы он пересажал коррупционеров, поставил честных людей из ФСБ, наладил экономику, а потом передал власть в руки демократов. А кроме того, России нужен Путин, потому что кроме Путина никого нет.

И тогда я задала один из главных вопросов:

— А война? Что будем делать с войной?

— Боевиков нужно добивать. Чечня должна быть под президентом. Русские еще не применили настоящего оружия. Давно могли бы всех разбомбить, удерживает только желание сохранить дружеские отношения с Западом. Если бы Путин на Запад не оглядывался, давно бы всех разбомбили. Это детская война. Вот та (Вторая мировая) была страшная. Я видел Днепрпетровск, Запорожье, Варшаву — лежмя лежали.

Я пью соседский чай, ем соседское печенье. Я очень хорошо отношусь к этому мужественному и порядочному человеку. Он добрый — мухи не обидит. Но нет ни одной точки, в которой я могла бы с ним согласиться. Задаю последний вопрос:

— А почему она вообще возникла, эта война?

И здесь моему соседу всё ясно:

— Сделано много глупостей. Оставили оружие чеченцам. Это была глупость Грачева. Даже говорят, оружие было продано. Значит, опять коррупция, но уже в среде военных. Ельцин в свое время спас Россию от гражданской войны, подписав роспуск Сою-

за. Нельзя забывать, что есть 21 миллион русских, живущих в странах бывшего Союза. Они остаются в качестве заложников. Россия не может о них не думать. Одна надежда — на Путина.

Больше я эту тему не поднимала.

Война — то искусство, в котором я ничего не понимаю. Среди близких людей был единственный, кто понимал в войне, любил ее и изучал. Это мой родственник Александр Гинзбург. Он был профессиональный военный, закончил Военно-воздушную академию и, выйдя на пенсию, продолжал разбирать военные операции, читал все подряд военные мемуары. Война для него как будто и не закончилась, он весь был в ней до конца своей жизни. Он был патриот, сталинист и верил в коммунизм. Но в партии не состоял. Однажды я спросила его:

— Шура, а почему ты не вступил в партию?

— Глупый вопрос, — ответил он без минутного колебания. — Военный человек не может быть членом партии. Он подчиняется приказу, а партия устроена по принципу демократического централизма. Понимаешь, противоречие налицо: либо ты подчиняешься приказу, либо обсуждаешь.

Это было вполне логично, но никогда до этого не приходило мне в голову. Навела справки — да, есть такие страны, где военные даже не имеют права состоять в какой-либо политической партии. Именно по этой причине.

Второй — из близких — Юлий Даниэль. Он тоже доброволец, но прошел войну рядовым. О войне не рассказывал, говорил только: мерзость, мерзость...

Отец мой одноклассницы дядя Юра, инвалид, пил страшно, рассказывал про войну охотно и бессвяз-

Людмила Улицкая

но — она была лучшим временем его жизни. Однажды рассказал, как они немцев пленных крошили. Можно не продолжать?

Мне есть что возразить моему соседу. Меня ужасает эта новая кавказская война, даже если она кажется ему детской. И не столько сама война, стрельба, взрывы и бомбежки, сколько процесс дегуманизации, который происходит по обе стороны условно существующей границы. Мы переживаем период цивилизационных войн, когда, кроме финансовых интересов, сталкиваются еще и этносы, находящиеся на разных уровнях развития. Россия имеет дело с горским народом, с древним и жестоким укладом жизни. Это мир, по законам которого кисть поверженного врага прибавляли к воротам собственного дома. Сталкиваясь с этим миром, наша армия, полуобразованная, грязная и голодная, заражается примитивным варварством, жестокостью, неспособностью встать на точку зрения другого.

Сегодня России закончить новый виток кавказских войн гораздо сложнее, чем было его начать. И нужно для этого не военное искусство — где они, искусные военачальники, храбрые генералы? — а мудрые правители и опытные советчики.

В человеке есть всё — от сатанизма до святости, но призвав в руководство «ум, честь и совесть эпохи» в лице представителя ФСБ, мы сделали ставку не на шестикрылого серафима.

Но спорить не буду. Ни с соседями. Ни с друзьями. Первый час ночи. Старость. Страх. Косность. Рабская любовь к «крепкой руке». Конец империи. Конец эпохи.

МИР ВВЕРХУ

ВОКРУГ ДАНИЭЛЯ

СВЯТОСТЬ

Если мы вообще соглашаемся, что явление святости в мире есть, то антитеза «греховность-святость» представляется мне ложной. Они не на одной оси. Греховность, доведенная до своего преодоления, рождает праведность, то есть хорошее поведение. Святость — иноприродное явление. Она совершенно выпадает из обычной человеческой жизни, из всех рациональных построений. Святой — и над миром, и над любой конфессией. И речь идет вовсе не о переходе количества в качество. Это — прыжок над пропастью. Не могут быть святые нам примером. И друг другу не могут быть примером. Явление святости — утверждение в мире возможности преодоления мира с его законами, и физическими, и метафизическими.

История Толстого о старцах: трое вас, трое нас, господи, помилуй нас! — вся про это. Индийский йогин и суфий, Серафим Саровский и Франциск Ассизский имеют между собой гораздо больше общего, чем можно предположить. Учиться у святых невозможно.

Невозможно и неприлично стремиться к святости, но можно учиться хорошему поведению. Это очень много.

Интересная история с Терезой Калькуттской — сейчас открыли ее дневники и поразились: они полны слов сомнения, горечи и безнадежности. А ведь святая, вне всякого сомнения. Даже строгая католическая церковь это признала, объявив ее блаженной...

Святых в мире хватает — они издалека видны и веками светят. Не хватает праведников, то есть людей, выполняющих правила, — порядочных людей, не алчных, не жестоких, милосердных.

Отдельная история с почитанием святых. Очень скользкое место. Не теория, а практика интересует меня здесь. У подножия горы Синай, святыни иудеев, христиан и мусульман, расположен один из самых древних христианских монастырей — Святой Екатерины.

Я помню коричневую сморщенную ручку, похожую на обезьянью, унизанную мутными перстнями, отсеченную давным-давно и лежащую на бархатной подушечке. Ручка Святой Екатерины в монастыре, у подножья легендарной горы, откуда по очень крутой и трудной тропе сходил Моисей с двумя каменными плитами на спине. Плиты не сохранились, ручка Екатерины — тут. И тут же, в ограде монастыря, на округлом возвышении растет дивный куст — Неопалимая Купина. Говорят, та самая, из которой раздался голос Божий к Моисею. Мне говорят, что этот куст уникален в ботаническом смысле. Больше растений такого вида нет на свете. Смотрю на этот куст снизу, он роняет мне на голову подсохший листик. Я не открою определитель растений, чтобы убедиться, к какому

именно семейству и виду он принадлежит. Я готова поверить в то, что это суперэндемик — единственное в мире растение этого вида. Но я знаю, что некоторые растения накапливают в своей листве эфирные масла и могут вспыхнуть при определенных условиях. Чудо — то, что мы не можем объяснить. То, что выходит за пределы нашего знания о физическом мире.

Но ручка, ручка! Уберите ее, заройте в землю, желательнее рядом с телом усопшей. Зачем нужна эта благочестивая расчлененка — пальцы Иоанна Крестителя, числом, превышающим десяток, разнесенные по церквям и монастырям? Я не настолько материалист, чтобы эти мумифицированные части ткани помогли моей вере в Творца. Я видела в музеях множество мумий — египетских и африканских, мумий фараонов и просто дедушек семейств, которых после смерти тщательно высушивали, заворачивали в самотканые тряпки и хранили либо в доме, в специальной шкатулочке, либо в лесу, в тайнике, чтобы вытащить на свет божий в день праздника поминовения усопших.

Ориентир духовный сегодня — не святость, а праведность. В понятиях протестантских — порядочность, честность, трудолюбие, определенный бытовой аскетизм. В понятиях православных — милосердие. Не помню, кто сказал: в России святых навалом, а честного, то есть не ворующего человека, днем с огнем не сыщешь. Так что — если иначе не можете — воруйте, но хотя бы из милосердия отдавайте долю сиротам и вдовам, бедным и больным. А святость — это при нашем состоянии умов и душ слишком большой запрос.

«У каждого человека есть свой вариант Бога...»

(из интервью)

— ...Главный герой романа «Даниэль Штайн, переводчик» — еврей, ставший католическим священником. Он любил свой народ, никогда не отказывался от своего еврейства и при этом проповедовал христианство. (Для тех, кто не знает: прототип Даниэля Штайна — реальный человек Освальд Даниэль Руфайзен. Он родился в Германии. Во время Второй мировой войны спас жизнь сотням евреев, потом стал католическим священником и, приехав в Израиль, основал в Хайфе религиозную общину, в которой служил мессу на иврите.) Его жизнь — это удивительное доказательство того, что вера как таковая не может быть причиной вражды и противостояния, а вот принадлежность к той или иной религии — может. История Руфайзена и соответственно Даниэля Штайна как литературного персонажа не у всех вызывает сочувствие, а для многих неприемлема по сути. Экуменизм его подвергается нападкам догматиков по обе стороны. Недовольны те, кто считает Руфайзена отступником и предателем иудейской веры, и те, кто блюдет чистоту христианства. И, что говорить, они, конечно, недовольны не только романом, но и друг другом. Была свидетелем нескольких таких споров, после которых мирно сидевшие рядом и обедавшие люди расходились врагами. Дозволено ли искусству и литературе вторгаться в «святая святых», провоцируя религиозную нетерпимость? Существуют ли запретные темы?

— Нет таких тем. Это вопрос таланта, тонкости человеческой, способности художника стать на пози-

цию другого человека. (Может, еще смелости.) Меньше всего я хотела провокаций. Надо всегда учитывать разность в менталитете. Есть яркий пример с карикатурами на пророка Мухаммеда, появившимися в датской газете в 2005 году. С точки зрения европейца не произошло ничего такого, что можно считать возмутительным, а с точки зрения исламского мира — имело место оскорбление. Важно определиться: идем мы на скандал либо не идем. Чего мы хотим? Какая задача?

— *А какая была задача в романе «Даниэль Штайн, переводчик»?*

— Моя задача была рассказать о человеке, с моей точки зрения, святом. Это и есть святой праведник XX века. И такие святые были не только среди верующих, но и среди атеистов тоже... В какой-то момент он сказал: «Моя жизнь мне подарена, и я ее хочу вернуть». Вот эту подаренную жизнь он уже использовал не для себя. Он осознал это, будучи очень молодым человеком. То количество чудес, которые сохранили ему жизнь, удивительно. Два раза он был приговорен к смерти, но избежал приговора, много раз оказывался в ситуациях, где выжить, казалось, невозможно, но он выжил и понял, что Высшие Силы сохранили его для чего-то. Для чего — не знал. В юности, будучи спасенным монахинями-кармелитками, решил, что его сохранили для церкви, чтобы через нее приносить людям веру. Он становится католическим священником, но, приехав в Израиль, понимает, что миссия его не сугубо католическая, что миссия его как еврея — выстроить еврейский христианский ответ. Вот что он на себя берет. Он не отказывается от своего еврейст-

Людмила Улицкая

ва и продолжает проповедовать христианство. Знаю, что эта тема переживается очень остро и по сей день как с одной, так и с другой стороны. У меня с ранней юности есть богатый опыт соприкосновения с христианской средой.

— *Ты верующий человек?*

— Были времена, когда не отвечать на этот вопрос значило отречься от веры. А сегодня времена изменились глубочайшим образом, сегодня я всё чаще отвечаю: это мое частное дело. Потому что вера — частное, глубоко интимное дело, а не принадлежность к партии. Человек верит в недоказуемое, и это не вопрос веры, а особенность нашего мышления — мозгов. То, что для одних является доказательством, для других звучит неубедительно. Ведь даже алгебраические формулы и геометрические построения, которым обучают в школах, существуют только при определенных условиях. А вера не требует доказательств, зато ею можно поделиться с другим, как куском хлеба. И, конечно, вера не дается вопреки желанию человека. Она требует встречного усилия от человека.

— *А так уж необходимо современному человеку это усилие? Для чего? Что дает ему вера в недоказуемое?*

— Существует некоторая вертикаль в жизни. Человеческая жизнь вообще-то горизонтальна: мы рождаемся, производим свое потомство, чего-то достигаем или не достигаем, а потом уходим. Но для кого-то необходимо найти эту вертикаль. Есть люди, которые без этого жить не могут, они ее ищут. Одни находят ее традиционным способом — родители рассказали, приучили, и человек пошел в храм, костел, мечеть,

синагогу... И эта традиционная вертикаль многих устраивает, но не всегда и не всех. Если человек ищет ответы на вопросы о смысле и тайне существования, то начнет искать эти ответы самостоятельно.

— *Например, в самых разных духовных практиках, которые сегодня очень популярны у нас на Западе. В последнее время я наблюдаю интересный процесс возникновения новых религиозных учений, которые на самом деле далеко не новы. Поднялась волна увлечения книгами Экхарта Толле, Доналда Уолша, книгой «Секрет». Хотя вряд ли всё это можно назвать религиями, ближе всего они стоят к буддистским практикам, но они работают, принося людям облегчение и помощь. Опять же знаю, что этот путь осуждается церковью.*

— То, что они помогают, — безусловно, как и то, что осуждаются церковью. Я думаю, что эта жесткость со временем уйдет: дыхательные практики и работа с телом были известны и сирийским монахам. Восток — родина христианства, и чем внимательнее всматриваешься, тем больше находишь общего у всех древних религий. Если считать, что прошлое — только XIX век, то это очень обрубленная и ложная перспектива. Позади христиан были ессеи, и весь хананский мир был адаптирован иудеями и, как ни крути, многое от них воспринял.

У нашего поколения, которое большую часть жизни провело в абсолютно плоском пространстве советской действительности, не было никакого выбора, кроме «абсолютно верного» учения Маркса—Энгельса и так далее. Это было совершенно неприемлемо, и мы строили свою вертикаль, как правило, через традиционное христианство. Оно становилось альтер-

Людмила Улицкая

нативой режиму. Но, кстати, с пятидесятых всё яснее среди молодого поколения зазвучали иные голоса: сначала объявились кришнаиты, потом стал слышен голос буддизма... Но я-то на самом деле убеждена: неважно, какая вертикаль; главное — чтобы она была.

— *Современный человек не может без нее обходиться?*

— Думаю, в мире достаточно много людей, для которых эта составляющая важна, и есть много людей, которые совершенно спокойно живут без нее. Наверное, в разные времена это соотношение меняется, и внутри одной человеческой жизни тоже. Для человека естественно в момент беды кричать: «Господи, помоги!», но это не есть вера. Это значит, что если Ты есть — помоги мне, а если не поможешь — Тебя нет. Это не плохо и не хорошо — так устроен человек. Когда он тонет, то кричит: «Помогите!» вне зависимости от того, есть ли вокруг люди, которые могут помочь или нет. Это то самое, библейское: «Из глубины воззвав». Когда наступает эта минута предельного человеческого отчаяния, минута предсмертия и страха, по-видимому, этот вопль вырывается спонтанно. Те, кто получают чудо спасения, очень часто обретают веру в Бога. Тому масса примеров. И между прочим, у самого Руфайзена обращение тоже было связано с такой отчаянной минутой жизни.

— *При этом, как учит Церковь, этот вопль не будет услышан, если ты не покаешься.*

— Не знаю и совсем так не думаю. Это так естественно, что человек придает Богу антропоморфные черты. Он проецирует на Него свои собственные достоинства и недостатки. Мы придумали, что Он ждет

Мир вверху

от нас определенного поведения (в каждой религии своего) и запрещает отступать от этого, а за плохое поведение наказывает. Но воображение наше столь ничтожно, и образ строгого Учителя, требующего от нас, как от нерадивых учеников, усвоения некоего материала, для меня мало приемлем. Покаяние — хорошая вещь, потому что ведет к самоосознанию. А уж что там решают Высшие Инстанции и чем руководствуются — не знаю.

— *Но есть же люди, которым открывается истина. Они периодически приходят в мир и становятся «переводчиками» или пророками. Ты назвала своего героя переводчиком, почему?*

— Я убеждена, что у Даниэля была связь с Высшими Силами — с Богом «или тем, что вы под этим понимаете...». Я глубоко убеждена, что у каждого человека есть свой вариант Бога, настолько же уникальный, как и он сам. Я думаю, что Даниэль просто находился на другом уровне подключения. С той точки, где он находился, он переводил с языка Божественных Откровений на обычный человеческий язык. К сожалению, мы знаем и плохих переводчиков.

— *Что ты имеешь в виду?*

— Любой ортодоксальный подход, любую догму... По моему убеждению, перед Богом все его дети равны. Все они достаточно плохи, даже хорошие. Мне представляется смехотворным, что апостол Петр дает задание душе усопшего прочитать Символ Веры, как на экзамене. Нет, не это. Другие отчеты понадобятся. О другом спросят, если вообще спросят. Но это уже вопрос моей веры. Если нам и придется отчитыв-

Людмила Улицкая

ваться за нашу жизнь, то это будут не вопросы догматики. Не о том спросят, как вы себе представляете Троицу и не впадаете ли вы в грех монофизитства или монотанизма. Не об этом нас будут спрашивать. Есть известные слова: «Накормил ли ты голодного?», «Помог ли страждущему?». Это и было зерно веры Даниила. Для него все люди были равны, не было отношения к ним «свои — чужие». Он любил еврейский народ. Он говорил: «Я еврей, и это мой народ», — но вся практика была такова, что он не любил еврея больше, чем нееврея. Когда к нему приходил человек, он принимал его таким, какой он есть. Он готов был поделиться своими драгоценностями, но мог понять, что жаждущий в данный момент нуждается в хорошем опохмеле, что ему нужна не вода, а пиво. Его постоянно ругала помощница, которая у меня названа Хильдой (а на самом деле у нее другое имя, и вообще она совершенно иной человек), за то, что он всё время раздавал деньги, иногда и пьяницам на опохмел.

— *Почему ругала?*

— Потому что у них была очень хорошо поставлена благотворительная работа по определенной программе, а ее возмущало, что он давал деньги не по программе. Может, он потакал слабости и грехам? А может, спасал от еще большего зла? А что движет нами, когда мы вынимаем копейку и подаем ее нищему, даже видя, что перед нами бессовестный попрошайка, работающий тут на дядю за процент. Но если мы не дали эту копейку, то нашей душе не становится легче. Даешь просто потому, что жалко. Сострадание — это великая сила. Оно или есть, или его

Мир вверху

нет в человеке. В момент сострадания ты делаешься немножко больше себя. И заметь: ты в этот момент испытываешь удовольствие. Человек долга, совестливый человек испытывает удовольствие даже тогда, когда акт сострадания и помощи никаким образом не облегчает его существование, а иногда даже усложняет. Эта альтруистическая программа заложена в нас — в ком-то больше, в ком-то меньше. Для этого не надо быть религиозным человеком, чтобы испытывать сострадание и быть милосердным.

Беседовала Алена Жукова.

Газета «Канадский курьер», № 8, 2010

* * *

— Роман вызвал прогнозируемую негативную реакцию у представителей различных конфессий — католиков, православных, иудеев. Не возникало ли у Вас желания во время работы над книгой бросить столь рискованное начинание?

— У меня такое желание возникало много раз, но совершенно не по этой причине. Недовольство любых людей, идеологически запрограммированных, было предсказуемо. Трудности были иного рода: было очень трудно писать эту книгу. Мне пришлось много перечитать, это была очень большая и сложная работа. Я боялась не справиться с материалом именно в силу его сложности. Но никак не из опасения не понравиться читателям.

Людмила Улицкая

— Приходилось ли Вам после выхода «Штайна» сталкиваться с проявлениями открытой вражды и агрессии?

— Нет, скорее я столкнулась с большим раздражением. Но это понятно. Большинство людей запрограммированных считают, что истина — это то, что лежит у них в кармане. Им книга особенно неприятна. Я не всю критику читаю, ее, во-первых, слишком много, во-вторых, книга написана, и даже если замечания серьезные, сейчас я всё равно не собираюсь ничего в ней менять или переписывать.

— В романе имеется немало теологических тонкостей, которым массовый читатель не придает особого значения, однако у человека церковного они могут вызвать резкое неприятие. В частности, Ваш герой покушается на один из краеугольных камней христианства — догмат о Святой Троице. Вы с ним солидарны?

— Всё, что сказано устами моего героя — его точка зрения. Даниэль Руфайзен, человек, биография которого описана в романе с достаточно большой точностью, не равен литературному герою Даниэлю Штайну. Но реальный Даниэль считал, что в вере есть тайна, и сама идея Троицы, при всем ее огромном значении для христианства, не является основанием веры, а основанием христианской веры есть сам Христос, Богочеловек. Что же касается меня — это как раз не имеет никакого значения. Я не богослов, не священник, не занимаюсь проповедью, а всего лишь рассказываю об уникальном по своей честности и смелости человеке и его взглядах на острые вопросы веры.

Мир вверху

— По существу, миссия Даниэля Штайна потерпела поражение. Воссоединение иудаизма с христианством выглядит проектом абсолютно утопическим, не так ли?

— Да, я тоже считаю этот проект совершенно утопическим. Но речь идет не о создании новой религии, где бы объединились иудаизм, христианство и ислам, а об их общих корнях. О том, что взаимная ненависть, страх и недоверие могут быть преодолены. И Даниэль в моих глазах — не человек, потерпевший поражение, а человек, выполняющий свое предназначение, свое служение. Он пытался быть переводчиком между людьми, и как раз это, как мне кажется, ему при жизни удавалось.

— *Милосердие важнее принципов веры? Сострадание превышает заповедей?*

— Несомненно. Именно это и проповедовал Иисус из Назарета.

— *Когда-то мы с Вами разговаривали о межрелигиозной нетерпимости, и Вы заметили, что лучшие христиане — это атеисты. Есть ли доля правды в этой шутке?*

— Да. В этой шутке есть доля правды. Я встречала атеистов высочайшей нравственности. Но высоко-нравственных людей вообще не слишком много встречается. Помните притчу о десяти праведниках? Сколько нужно праведников, чтобы устоял город? И если праведники есть, то не имеет значения, какой конфессии они принадлежат.

Людмила Улицкая

НЕОЯЗЫЧЕСТВО ВНУТРИ

(2009 год)

Гораздо более крепко, чем узами любви, люди связаны между собой общей виной. Общая, групповая вина уменьшает долю личной до неуловимо малой величины. Потому что дробь получается очень убедительная: в числителе — единица, а в знаменателе — несколько тысяч, миллионов. Чем бóльшая армия совершает преступление, тем — как будто! — меньше ответственности на каждом отдельном человеке. И мы, люди, живущие в мире огромных чисел, утешаемся этой лживой бухгалтерией, в то время как счет идет по другому правилу: ты и твоя совесть. И никаких дробей. И никаких оправданий, сводящихся к тому, что в толпе стояло много народу.. Преступление часто бывает массовым; покаяние по своей природе — персонально.

Успехи всех вместе взятых наук — биологии, психологии, информатики, компьютерного дела в его самом широком понимании — привели к тому, что само понятие личности, целостного «Я» расщепилось, размылось и даже вообще поставлено под сомнение. Что есть его носитель — последовательность генов, трудноопределимая совесть, неуловимая душа или божественная искра, вживленная или данная взаимы куску живого мяса и нисколько ему не принадлежащая?

Если вынести за скобки ту часть «Я», которая присуща и животному миру, то есть сумму инстинктов самосохранения и продолжения рода, что такое собственно человеческая составляющая в человеке? Способность к самосознанию? Религиозное чувство

Мир вверху

(до недавних пор я так думала, а когда посмотрела фильм о жизни слонов, поколебалась: похоже, у них тоже есть проблеск религиозного отношения — к смерти, по крайней мере)? Может быть, альтруизм (если мы не будем рассматривать защиту своих детенышей как альтруистическое действие)? Или вышеупомянутая трудноопределимая совесть, что является инструментом измерения нравственности?

Однако если нравственность мы выделим как качество, отличающее человека от животного, то очень большая часть человечества окажется вне систематики. При этом весьма существенно, что нравственный кодекс не един: десять заповедей не распространяются на всё человечество... Существуют иные программы добродетелей и пороков... Здесь мы легко приближаемся к «естественной религии» Вольтера, утверждавшего, что существует естественный фундамент нравственности и этики.

По этой дорожке мы подходим к очень важной теме взаимоотношения тех, кто называет себя христианами, с теми, кого они считают язычниками.

Итак, мы с вами принадлежим к миру, который признает, хотя бы теоретически, что именно десять заповедей являются основой нравственности. Справедливости ради следует вспомнить, что даже в самые безбожные времена в СССР десять заповедей не отменяли — они были законсервированы в несколько измененном виде в «Моральном кодексе строителей коммунизма». Эти нравственные максимы не отвергались ни фашистским, ни коммунистическим режимами, но тем не менее небывалый в мире военный конфликт XX века произошел между странами,

формально принадлежащими к христианскому миру. Миллионы людей, главным образом европейцев, в большинстве своем христиан, были вовлечены в этот конфликт. Оставим в стороне такие стародавние эпизоды истории, как крестовые походы или контрреформацию...

Приходится признать, что либо вера во Христа как основание христианства не является гарантом нравственного поведения, либо ее, веры, вовсе и не было. А что представляет собой христианство, если вынуть из него эту составляющую? «Медь звенящую и кимвал бряцающий», давно об этом сказано. То есть ритуал, обряд, этнографию. Ровно то же самое, что имеет каждое из тех разнообразных верований, которые определяют общим словом «язычество» и которым приписывается много дурного, иногда заслуженно, часто незаслуженно, но почти всегда не вникая в то, что представляет собой чуждое христианству верование.

Противопоставляя эти два явления, мы не всегда оцениваем, в какой степени современное христианство несет в себе язычество и в какой мере христианство в своей практике дает повод для развития неоязычества. Какие еще нити напряжения, кроме взаимного отрицания, связывают эти две противопоставляемые идеологии?

В мире гуманитарной науки, как и в мире искусства, редко кому удастся строго сформулировать и разрешить конкретную задачу. Но даже в обозначении проблемы есть своя ценность. Здесь речь идет не о разрешении задачи: сколько в нашем мире вопросов без ответов, задач без решения и проблем, которые вообще неразрешимы в рамках наших возможностей!

Мир вверху

Во многих случаях сам очерк проблемы, даже без надежды найти ее разрешение, бывает полезен.

Одна из таких тем — взаимоотношения христианства и язычества и, еще более остро поставив вопрос, христианства и неоязычества.

Мир, к которому мы принадлежим, называет себя христианской цивилизацией. Может быть, точнее — постхристианской. В течение двухтысячелетней истории пространство это, сначала крошечное, локальное и провинциальное, расширялось географически и менялось содержательно. Мир, предшествующий христианскому, был римским. Можно сказать, греко-римским. Христианская цивилизация возникла не на пустом пространстве, многие ценности предшествующих поколений были впитаны, переработаны, адаптированы. Многие пороки унаследованы. Римская цивилизация была чрезвычайно толерантна во многих отношениях, именно тогда была проработана тема государства, права, закона, общественных институтов, и многие открытия, касающиеся политической и государственной структуры (в том числе и демократия, о которой так много говорится в последние десятилетия), сделаны были именно в этот предшествующий христианству период.

Рим интегрировал религиозные воззрения народов, входящих в огромную империю. Народы вступали в империю, а их божества пополняли римский пантеон, в котором находили себе место и божества египетские, и малоазиатские.

На Ближнем Востоке произошел острый конфликт — маленький народ, исповедующий единобожие, высокомерно отказался от такого удобного принципа: мы примем вашего бога в общую компа-

Людмила Улицкая

нию божеств, а вы потеснитесь и примете в ваш храм наших... Войны тех лет в Палестине носили характер не столько антиримский (быть римским гражданином было удобно, выгодно, почетно), сколько религиозно-защитительный. Иудеи потерпели формальное поражение и ушли на долгое время в религиозное подполье, спасая упорное единобожие. История известна.

Христиане унаследовали от иудеев эту непримиримость к чужим богам. Они не были толерантны, платили ценой своей крови, мы знаем много мученических смертей за веру в Единого Бога. Они презирали толчею языческого пантеона. В каком-то смысле не им объявили войну, а они ее объявили. И победили: Римская империя, сменив имя, столицу, границы, язык, с IV века, при императоре Константине, объявила себя христианской. В какой степени это официальное заявление соответствовало реальности — вопрос дискуссионный.

Наступило время многовекового существования язычества в недрах христианства. С того времени, как малая группа иудеев, считающих себя учениками Христа, перестала быть обособленной группой внутри иудаизма, оторвалась от иудейского корня, определилась как церковь христиан и начала свою проповедь в мире, раскрылись двери для иноплеменников, огонь христианства разгорелся по всему миру, язычество хлынуло внутрь христианства, проникло на самую сокровенную глубину, и сегодня требуются большие интеллектуальные усилия, чтобы обозначить границу не наружную, а внутреннюю: где кончается одно, начинается другое, где они сливаются воедино и вооб-

ще не могут быть разделены. Но именно с этого момента начиная, христианство стало универсальным — в римском смысле слова.

Христианство как мировая религия отрицало идею земного отечества и трактовало о небесном. «Несть еллина и иудея», — утвердил апостол. Нет рода, семьи, то есть предпочтения крови, нет местного божества, и царь — не бог. Один только Христос, который всем Бог, всем Отечество.

Отсюда, между прочим, рождается логика антипатриотическая: принципы божественные, то есть любви и справедливости, выше интересов групповых, то есть национальных, государственных, кастовых, семейных... Простите за упоминание столь очевидной вещи.

Если бы христианство было последовательным, мы бы не знали ни одной из тех войн, которые сокрушали человечество с Рождества Христова до сегодняшнего дня.

Если квалифицированный историк или экономист, фыркнув, скажет, что никаких религиозных войн никогда и не было: испокон веку войны вели за территории, власть, влияние, — боюсь, что мне придется согласиться под давлением аргументов. Но все-таки трудно сегодня оценить, где причинено было больше ущерба: в войнах межхристианских или в войнах против язычников — индейцев всех толков, островитян, австралийцев, африканцев. Об индусах тоже можно упомянуть. В этом чуждом христианскому пространстве оказывается огромная часть человечества: Индия, Япония, Китай, в большой степени Африка.

Христиане привыкли к язычеству относиться весьма отрицательно. Естественно. Если за две тысячи лет даже в самой христианской среде не выработалось механизма толерантности друг к другу, если само разнообразие христианских церквей разных толков — симптом отсутствия единомыслия — служило источником раздоров и религиозных войн, что же говорить об отношениях с миром внешним, определяемым как «языческий»?

Пока шла (и идет!) тихая религиозная война между православными и католиками, между православными и униатами, баптистами, евангелистами, новое поколение в поисках пути обращает свои взгляды на Восток, в сторону буддизма, даосизма, индуизма. И причина довольно очевидна: практика христианской жизни сильно расходится с теорией.

Всё это свидетельствует о глубоком кризисе христианства. Как всегда, очень трудно говорить, где здесь причина и где следствие, — вне всякого сомнения, это как раз тот случай, когда причинно-следственная связь начинает буксовать; но так или иначе христианство, приобретая общественное значение, утрачивает внутреннюю силу и привлекательность, и одна из причин этому — повсеместная подмена христианского универсализма христианством национальным.

Христианство, отрицающее идею земного Отечества и взыскующее Небесного, всё чаще заменяется домашним, этнографическим христианством. В истории в течение многих веков происходила адаптация местных верований, зачастую к ликам святых причислялись мифологические и культурные герои, праздники, связанные с космическим циклом, вставляли в цер-

ковный круг наряду с двенадцатыми, и это не представляло опасности для церкви до тех пор, пока существовала критическая масса, и этой критической массой оставалось учение Христа.

Нагорная проповедь, сердцевина этого учения, отесняется на задний план. Я не рискую даже сказать, чем именно она заменяется. Анализировать, сколько именно «язычества» укоренилось в повседневной жизни церкви, — не моя задача. Однако, именно принимая во внимание пронизанность христианского сознания языческими чертами, церковь оказывается бессильной в этой борьбе с язычеством. Если таковая рассматривается в качестве задачи...

Факт довольно очевидный: церковь делается всё менее привлекательной для молодежи. И не то тревожит меня, что наши дети склоняются в сторону буддизма или даосизма: в той стороне они не встретят ни агрессии, ни ненависти.

Но иногда поиск религиозной истины уводит людей в иные пространства, и далеко не всегда эти пространства нейтральны. Сегодняшний расцвет неоязыческого движения, охватившего многие регионы бывшего СССР, — очень явный симптом.

Снова в ход идут расовые теории: украинские националисты уже почти доказали, что Заратустра и Ницше имеют украинское происхождение, и даже нашли украинского питекантропа. Золотой век человечества, праздновавшийся украино-арийцами во времена скотоводческие и раннеземледельческие, как они полагают, исказили иудеи и христиане. В республике Марий Эл воссоздается культ священных рощ, жертвоприношения лошадей, быков и домашней птицы,

Людмила Улицкая

в Татарии и Удмуртии возрождаются жертвоприношения баранов. Баранов мне, признаюсь, не очень жалко — их съедят и так, и так.

Я принадлежу к поколению младших шестидесятников, из чего следует, что молодость моя проходила в хаотическом чтении и поиске пути, а выработка мировоззрения напоминала игру в пазл, при которой в качестве строительного материала отбирались кирпичики, которые нравились, и отбрасывались те, которые не нравились.

Мы все дружно ненавидели марксизм, но не брали на себя труд прочитать Маркса. Не знаю, любила ли бы я его больше, если б прочитала, но многие чрезвычайно важные вещи мы получили из рук в руки, в устной передаче, в частной беседе, в формате «отрывного календаря», как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам.

При таких условиях и речи не могло быть о выработке какого-то целостного мировоззрения. Следы этого «кухонного образования» многие из нас пронесли до зрелого возраста. К счастью, не все. Замечу в скобках, что сегодня я уже больше не тоскую о «целостности» мировоззрения. Успела примириться с бедностью собственных возможностей.

В шестидесятые годы произошла встреча с христианством, и несколько десятилетий я прожила в счастливом ощущении, что в моих руках универсальный ключ, с помощью которого открываются все замки. Обстоятельства были исключительно благоприятными — я попала в сферу притяжения нескольких выдающихся людей, исповедовавших христианство. Среди этих людей старшего поколения — лучшие люди, которых мне довелось встретить в жизни.

Мир вверху

Но были и другие прекрасные люди, которые христианства не исповедовали, были иудеями, атеистами, скептиками, агностиками, чье поведение по отношению к близким было безукоризненным.

И сегодня мне уже не кажется, что именно и только христиане обладают полнотой истины. Ненависть и невежество в нашей среде свидетельствуют против нас. Мир, полный насилия, создан совместно всеми детьми Авраамовыми — иудеями, христианами и мусульманами.

Покаяние — безусловно, очень сильная и очистительная вещь, но оно никак не может возникнуть прежде осознания. И в эту работу по осознанию мира и самих себя вносит свою лепту и сегодняшняя литература, даже если она представляет собой горькое и труднопереносимое лекарство.

СМЕРТЬ, ЛЮБИМАЯ!

Всегда в таких делах важно провести стартовую полосу: откуда мы начинаем? Думаю, с первойдохлой кошки или мертвого воробья. В этот миг в душе ребенка загорается пламя ужаса, которое у многих людей не гаснет ни с годами, ни с опытом. Человек самый грубый и нечувствительный, равно как и существо тонкое, одаренное богатым инструментом восприятия оттенков, всю свою жизнь помнят эту первую встречу со смертью. Непостижимость события мгновенного перехода живого в мертвое, ужас смерти никогда не растворяется до конца. Забыть о смерти можно надолго, целые годы не вспоминать о ней, а потом —

Людмила Улицкая

наяву, во сне, в боковом зрении — происходит вдруг ожог напоминания. Некоторым людям удается прожить всю жизнь, так тщательно изгоняя всякие мысли о смерти, что они и живут так, как будто им уже даровано бессмертие. Опасная для современников порода.

Сознание человека противится мысли о смерти, не желая ее принимать и ежедневно отгоняя ее. Смерть и есть конец сознания. И в этой области зияет непостижимое: временное не желает, не может вместить в себя вечное.

Стонут и восклицают плакальщицы у открытого или закрытого гроба, кровавые и бескровные жертвы приносят на могиле жрецы, обозы сожженных и закопанных в землю вещей, отрада археологов, отправлены вслед умирающему, чтобы примирить временное и вечное. А девочка раскапывает ямку у забора, хоронит в спичечной коробочке мертвую бабочку и украшает могилу маргаритками и белыми камушками. Всё это — смазка в месте соединения, в изначально вывихнутом суставе, где соединяется «живое» и «мертвое». Все религии мира, при всем их несходстве, а иногда и полярности, соединяются в этой точке.

С тех пор как существует наука, тайна эта не дает ей покоя. Одноклеточные организмы, бодро размножающиеся под стеклами Левенгука, практически бессмертны. Но есть все основания предполагать, что сознанием они не обладают. Идея смерти угнездилась в сознании, а с какого момента эволюционной лестницы оно пробудилось и развилось настолько, чтобы вместить в себя эту обжигающую идею, — пока неизвестно. Но это, судя по колоссальному рывку в биологической науке, принадлежит к области постигаемого. Хотя сегодня никто еще не может сказать, где

именно на медико-биологическом уровне проходит граница между мертвым и живым.

В это зыбкое пространство безудержно рвется знание, но царит там вера. Только сегодня не спрашивайте меня, пожалуйста, какой я принадлежу конфессии и как именно верую. У меня дурной характер, и ни одна порядочная церковь меня держать не станет. Недавно я поняла, кто я есть: христианин-волонтер. То есть как только чуть что не по мне, я морщусь и ухожу. А потом, как я заскучаю по некоторым тамошним драгоценностям, стучусь и говорю: вот я, пришла подобрать крошки под вашим столом. Принимают. Спасибо.

Христианская трактовка смерти представляется мне лобовой и неудовлетворительной. Но что мешает рассматривать темный ад и светлый рай как выразительную метафору, а не буквальное описание раздачи пирогов и подзатыльников? За наивным лубком стоит тысячелетняя культура. Никто из нас не знает, что там, за этой границей, происходит. В сущности, этот мост между страной живых и страной мертвых есть разновидность бессмертия: если продолжается жизнь моего «я», можно согласиться и на другой адрес. Для перехода из одного мира в другой написаны своеобразные путеводители — существующие в разных культурах так называемые «Книги мертвых». Древние египтяне, американские индейцы, жители загадочного Тибета, викинги и батаки, снаряжавшие «Корабли мертвых», сочиняли путеводители, карту движения для тех, кто переправляется на другой берег бытия. Или небытия. Наиболее подробное наставление дает тибетская книга — специальное наставление для умирающих называется «Чикан Бардо».

Людмила Улицкая

Там, где нет оформленных в виде книг наставлений умирающим, существуют иные формы «сопровождения». Повсеместно, во все времена и во всех культурах! У батаков жрец у постели умирающего рассказывал ему об опасностях пути. Немногословные японцы ограничивались тем, что клали на грудь усопшего меч — чтобы отбиваться от нападающих в пути бесов. В молитве индуистов, по верованиям которых человек может переродиться после смерти в одно из 8 400 000 существ, от насекомого до Брахмы, — просьба спасти от круговорота перерождений. Бхагават-Гита содержит молитву с просьбой: «Веди меня верным путем, чтобы я мог достичь Тебя».

Три авраамические религии, при всей разности в многочисленных деталях, тоже сходятся в одном: в смертный час приглашают священника, учителя, раввина, который помогает умирающему. Это молитвы «На исход души» у православных, «О доброй смерти» у католиков. У иудеев, если умирающий человек настолько слаб, что уже не может сам прочесть последнюю молитву, ему помогает приглашенный раввин, чтобы вместе с ним прознести молитву-исповедь «видуй», которую каждый иудей должен знать наизусть. У мусульман молитвы первой ночи после погребения обращены к ангелам Мункару и Накиру, они обслуживают покойника и на основании ответов определяют его место в последующей жизни.

Культура не существует без фантазии. А фантазия откуда берется? Из какого опыта? Из снов? Из мечты? Из интуиции?

Забыла сказать: я материалист! Религиозный материалист. Весь мир, который нас окружает, более или менее постижим. Постигание это в минувшем веке

Мир вверху

набрало ошеломляющую скорость. И сознание, и постижение, и понимание ограничено структурой мозга. Мы можем воспринимать только то, на что имеется (выработался в процессе эволюции, простите!) орган восприятия. А на что не имеется, что лежит за границей нашего восприятия, того как будто и нет. Звуков вне диапазона от 16 до 20 000 герц наше ухо не воспринимает! Разрешающая способность зрения, то есть его острота, зависит от размера светочувствительных колбочек, находящихся вблизи «желтого пятна». И так далее. И все наши возможности зависят от тонкости естественных инструментов, созданных природой.

Главным дирижером этого процесса является мозг. Он не идеальный инструмент: белка лучше нас запоминает, что куда спрятала, коршун лучше нас видит на большом расстоянии, коала обладает особо капризным и тонким чувством вкуса — ни за что не станет есть никаких растений, кроме одного, к которому «эволюционно» привыкла, вида эвкалиптов.

Как быть с мистикой? Нет такого органа. Не нашли пока! Один чует каким-то особым органом наличие в мире невидимого, а другой — нисколько. Есть замечательная картина, кажется, Лоренцо Лотто, — «Благовещенье». Там на переднем плане совершенно взерошенная потрясенная кошка. Она уже видит архангела Гавриила, которого еще не видит Дева, ради которой он облекся в видимое тело. У кошки, таким образом, порог восприятия ангельских сил оказывается выше!

Граница между живым и мертвым пролегает не только в материальном мире. А что происходит за его границей, знает простая церковная старушка: там рай

Людмила Улицкая

и ад, например. Хороший мусульманин рассчитывает попасть в ресторан, полный юными девственницами, согласными на всё. А буддист расскажет что-то другое — у них там такая интересная мельница: если прилично себя вел и все задания выполнил, можешь повыситься в ранге, а если плохо — станешь ослом или хрюшкой. Ну, есть еще несколько вариантов, один другого сомнительней. Таковы взгляды большей части малообразованного человечества.

Я наблюдаю границу с этой стороны. Я знаю, что она сегодня для меня непреодолима. Но также знаю, что только смерть придает смысл жизни. И из этого следует, что смерть вообще имеет смысл только с точки зрения жизни. Как выглядит наша здешняя жизнь из-за границы — мы знать пока не можем!

С точки зрения последовательного материалиста, всё заканчивается дорогостоящим гробом с бронзовыми ручками по бокам и пышными похоронами с глупыми речами над ним. И я этому материалисту отчасти завидую: какую же надо иметь собственную устойчивость, чтобы существовать в этом черт-те каком мире совершенно без подпорок, и всё у него происходит в силу причинно-следственных связей, и мир образовался в силу неизвестно чего и неизвестно зачем. С другой стороны, я ему сочувствую. Ему некого благодарить за всё прекрасное, что предоставляется по части природы, всяких красот, по части замечательных талантов к познанию, и за самый факт познания мира. То есть ест-то он всё, что дают, а спасибо сказать некому...

И про смерть материалист совершенно ничего не понимает. Считает, что ее нет: пока ты осознаешь себя живым, она существует как идея, а когда ты умер,

то уж тебя не существует, и идей твоих никаких не существует.

А я со смертью хорошо знакома. Она на меня с раннего детства произвела хорошее впечатление. Первую картину смерти мне показали в очень раннем возрасте, и года проходят, но она не мутнеет, а становится всё более прозрачной. Уходил мой прадед, на десятом десятке лет. Он лежал в большой комнате, еще не утратившей назначение столовой для большой семьи, но его кровать уже стояла здесь, перекрывая дверь в соседнюю комнату, где жил его младший сын с семьей. Прадед давно уже умирал от медленного старческого рака, который не особо его беспокоил болями. Предметы его постоянного обихода — Тора в коричневом кожаном переплете, молитвенное покрывало, филактерии и электрическая грелка в сером тряпичном чехле, смягчающая его боли. Он лежал — маленький, очень светлый, с молочно-голубыми глазами, в окружении большой семьи, и все взрослые понимали, что происходит. И тут привели с улицы меня. Я была в новой шубе, с мороза, и меня даже не раздели. «Папа, папа, Люсенька пришла!» — сказала бабушка. Я была единственная любимая правнучка, а бабушка — любимая невестка. Прадед оторвался от важного дела, которым был занят, поискал меня глазами и увидел.

«Какая большая девочка, — сказал он, — всё будет хорошо».

Я всё помню. Семь лет — сознательный возраст.

Прадед умер прекрасной смертью праведника. А я, надо понимать, получила благословение. Оно и понятно: мальчиков в этом поколении еще не было. Мои двоюродные братья, Иаков и Исав, то есть Юра и Гриша, родились уже после его смерти.

Людмила Улицкая

Еще одна красивая смерть в нашей семье случилась тридцать лет спустя. Моя бабушка жила долго и умерла от быстрого рака, за полтора месяца. Мой дядя и я ухаживали за ней посменно: я приезжала рано утром, он уходил на работу. Он приходил, я уезжала домой, к детям. Бабушка с великой кротостью и терпением переносила боли и говорила только одно: «Какая же я счастливая, какие у меня прекрасные дети! Как я вам благодарна, деточки!»

Ушла счастливая. Никакой мистики: она была атеисткой и самым благородным человеком из всех, кого я знала. В подтверждении моих слов — семейная история, связанная как раз с прадедом и бабушкой.

Прадед был часовщиком, но, сдается мне, не великого полета мастер. Хотя первые в жизни часы я получила от него в подарок на Пасху — последнюю Пасху его жизни. Он их собрал из какого-то разрозненного мусора, скругленный прямоугольник тикал, даже время показывал. Видел дед плохо, но по хозяйству помогал: помню, что ходила с ним в керосинную лавку, в сапожную мастерскую — он относил туфли починять. Обувь в те годы носили десятилетиями, чинили — вычинивали...

Так вот, прадед незадолго до смерти написал завещание. Это была обратная сторона бухгалтерского бланка. С одной стороны дебет-кредит, а с другой — благодарственные слова к детям за то, что они устроили ему такую счастливую старость. И также извинялся, что ничего им не оставляет. В смысле, денег! Далее цитирую: «И даже более того. Те пятьсот рублей, которые лежат у меня на книжке, пошлите их в Ленинград, потому что там Ида с маленькой Женечкой очень нуждаются».

Мир вверху

Никто никогда не видел эту Иду с дочкой Женечкой. Ида была мать-одиночка, не то внучка, не то дочка покойной дедовой сестры-племянницы. И ей он с послевоенных лет отсылал свою пенсию. Потому что дома его кормили-поили и деньги ему были не нужны... Это только начало истории, а не конец. Деньги, конечно, отправили. А потом бабушка моя, в память покойного своего свекра, посылала деньги в эту семью до тех пор, пока девочка Женя не окончила учебу... В течение многих лет каждый месяц она ходила на почту, выстаивала очередь, чтобы отправить сто пятьдесят рублей. Понятия не имею, как это может соотноситься с жизнью тех лет. Это была сумма, равная крохотной пенсии нашего прадеда. Из Ленинграда шли подробные письма с описанием жизни. Помню адрес: канал Грибоедова...

Потом умирала моя подружка-старушка Елена Яковлевна. Тоже в глубокой старости, но окруженная не родными детьми-внуками, которые жили кто в Америке, кто во Франции, а детьми и внуками своего мужа, Анатолия Васильевича. Я навещала ее во время болезни, когда ее перевезли из коммунальной комнаты в Плотниковом переулке в квартиру отца Николая, ее пасынка. С Арбата на Юго-Запад. В последний раз я застала ее уже без сознания, с закрытыми глазами. Дышала легко и прерывисто. Лицом была прекрасна до последней минуты жизни и в смерти тоже. В тот предпоследний день я сидела возле нее и любовалась ее красотой и выражением лица — сосредоточенным и как будто вслушивающимся в нечто бесконечно важное. А я смотрела на нее и думала о том неведомом пространстве, в котором она уже находится, о том, что сейчас чувствует, видит, узнает...

Людмила Улицкая

Тут в комнату вошли две девочки и зашебетали почему-то о сервизе, который стоял в горке, о чашках, которые кто-то кому-то подарил... И тогда Елена Яковлевна, не открывая глаз, как будто вернувшись из того дальнего места, где пребывала, сказала тихо и твердо: «Девочки, вы мне мешаете...»

Это тоже была смерть праведника. Третья на моей памяти. Я просто еще не знала, как это называется.

Потом мне приходилось провожать многих родственников и друзей. Тяжело умирала мама, она была молодая, влюбленная и уходила — не дожив, не долюбив. Тяжело умирал первый муж — совсем молодой: метался, задыхался, яростно сквернословил. «Полкі, полкі» — вздохнула знакомая старушка-монахиня. Не поняли. Она объяснила: „Он оборонялся от бесовских ратей, полков, которые его обстояли...»

В один год мы пережили два самоубийства подряд: погибли прекрасные двадцатипятилетние молодые друзья, Катя и Сережа. Хрупкость психики, стечение обстоятельств, последовательность случайностей. До сих пор не могу с этим примириться.

Я не считала, сколько раз в своих книгах я описывала этот важнейший момент жизни — уход. Очень много. Боюсь, что не один десяток раз. Это бывает очень по-разному. Но очень редко смерть приходит так, что можно о ней сказать, как говорил Франциск Ассизский: «Сестрица Смерть».

С годами приходит в голову мысль, что без смерти не было бы и жизни. Именно она, уродливая, безжалостная, голые кости с косою, всем ненавистная и страшная, усиливает радостное ощущение бытия, привязывает нас к любимым людям, нас окружающим, к цветам, бабочкам, книгам, картинам, к пейза-

Мир вверху

жу, который за окном. То, что в современной кулинарии называется «усилитель вкуса».

Общее настроение теперешнего общества: не портите настроения, не говорите о смерти, о черной границе, которая приближается с каждым мгновением жизни. И от этой стерильности, от закрывания глаз, от трусости и малодушия на этом месте скучно делается, как от чтения Экклезиаста! Да эта граница — самое интересное, что есть! А если б не так — кто стал бы читать «Смерть Ивана Ильича»?

Какой гениальный, вызывающий улыбку эпизод есть в набоковском «Даре»: умирает Александр Яковлевич Чернышевский. Он прислушивается к плеску воды за занавешенным окном. «Ничего нет, — говорит он. — Это так же ясно, как то, что идет дождь». Его жена распахивает занавески — на улице сияет ясное солнце, соседка поливает цветы. Капли воды стучат по балкону.

ГРУДЬ. ЖИВОТ

(2010–2012)

Капли действительно всё время стучат. Эту каплю мы не слышим за житейской суетой — радостной, тяжкой, разнообразной. Но вдруг — не мелодичный перезвон капли, а отчетливый сигнал: Жизнь коротка! Смерть больше жизни! Она уже тут, рядом! И никаких лукавых набоковских передергиваний. Это напоминание я получила в начале 2010 года. История эта была так захватывающе интересна, так сильна, и теперь, когда она уже позади (на время, на время!), я хочу ею поделиться со всеми, кому это может быть интересно. Отчасти я уже это сделала — в марте 2012-го по телевидению прошел фильм Кати Гордеевой о раке, и я давала интервью для этого фильма. Есть записи, дневники, какие-то отрывки текста, которые я писала во время этой медицинской истории.

Когда диагноз «рак» был поставлен, а сама я была поставлена перед необходимостью начинать долгое лечение, я оглянулась вокруг себя и обнаружила, что

Мир вверху

я вовсе не одинока: несколько моих подруг уже прошли онкологическую или иную тяжелую болезнь раньше меня, другие болели одновременно со мной, и одна из моих подруг получила свой диагноз в тот момент, когда я уже начала лечение, и я уже могла помочь ей советом. Вера Миллионщикова и Галя Чапликова уже никогда не прочитают этой книжки. Ушли вместе со своим потрясающим опытом.

Есть важные вещи, которые совершенно не обязательно открывать заново. Попробую поделиться своими черновиками с теми, кому предстоит этот экзамен сдавать после нас.

ПРЕЛЮДИЯ

Осенью 2009 года пришел к мужу галерейщик, куратор, организатор выставки и говорит:

— Андрей! Есть проект. Выставка будет называться «Половина».

— Чего половина? — спрашивает Андрей.

— Ну, вообще, идея половины чего бы то ни было. Андрей пожал плечами. Меня при этом разговоре не было, дело было в мастерской. Потом прихожу, Андрей рассказывает об этом разговоре.

— Ах, — говорю я, — как же не люблю я эти кураторские затеи.

И пошла на свою половину, между прочим.

А на своей половине подумала: а интересно, как можно пластически обозначить половину?

Я очень люблю решать чужие задачи. Вытянула ящик комода, вынула красивый французский лиф-

Людмила Улицкая

чик, взяла ножницы и разрежала его пополам. Половину отнесла в мастерскую:

— Не правда ли, Андрей, это именно половина?

Андрей натянул на подрамник холст и тонкими булавками укрепил на нем половину лифчика. Форма, надо сказать, идеальная, даром что старый.

Но я не знала тогда, что происходит. Еще несколько месяцев прошло, прежде чем картина себя полностью проявила, и я смогла восхититься этой насмешливой метафоричностью.

Выставка прошла в галерее «Ковчег» в декабре, я на ней и не была. Кажется, я тогда уже уехала в Италию в деревню заканчивать книгу.

АНАМНЕЗ

Я происхожу, по материнской линии, из семьи изобильно полногрудых женщин. Женская грудь вскормила почти каждого человека, но нашу семью в особенности. Когда дед плодотворно отдыхал в сталинских лагерях, бабушка освоила дополнительную профессию — научилась шить бюстгальтеры, исключительно в ночное время. Днем она работала бухгалтером. Легкая словесная игра... Держать книги, держать бюст. Полногрудая бабушка держала на самом деле семью. Она была образец благородства и достоинства. То обстоятельство, что она обладала статью Коровы — надеюсь, никому не придет в голову, что я имею в виду грязную колхозную буренку, — и несла впереди себя королевскую грудь, мне, безгрудой по юному возрасту, очень нравилось.

Мир вверху

Годам к двенадцати, когда я вошла в состояние половозрелое, оказалось, что я не унаследовала от женщин-матерей моего рода их достойной восхищения полногрудости. Бабушка справила мне собственноручно первый лифчик — бюстгальтером этот предмет называть как-то неловко!

Она смотрела на мою девичью грудь с удивлением и некоторой завистью. Мы, мелкогрудые, не знаем тягот ношения этого многокилограммового неснимаемого груза, не знаем глубоких промятых дорог под широкими бретелями санитарно-гигиенической снасти, шершавых или мокнувших пятен раздражения под распаренным летним выменем.

Вернемся к моей груди. Ее я получила как генетическое наследство от моей бабушки по отцовской линии. Она была чудесно сложена — в молодые годы была балериной авангардного толка, последовательницей Айседоры Дункан. От нее, кроме груди, я получила кое-что, но не так много: руки, ноги, дурной почерк и неопределенный артистизм.

Как полагается людям моего зодиакального знака — Рыбы, я всю жизнь жажду страстно противоположных вещей: одна часть моей природы зовет меня к строгому научному исследованию, другая — к художественному. Моя первая профессия — генетика, вторая — письмо букв по бумаге. Богемное начало победило, но ученый в глубине души брезгливо морщится.

Как полагается людям, рожденным по тибетскому календарю в знаке Козы, я хороша только при условии, что у меня хорошее пастбище. Иными словами, плохо переношу неудобства. И плачú любую цену, чтобы их избежать.

Людмила Улицкая

Пришедший в свой час климакс принес мне большое неудобство: начались приливы. Днем и ночью меня обливали волны жара, слабости, пота, и терпеть эту напасть я не была согласна ни под каким видом. Моя американская подруга, лаборант в лаборатории, где вот уже больше двадцати лет занимаются всякими трудными случаями репродукции человека, немедленно предложила мне гормональное лекарство, которое снимает неприятные явления климакса. Это был в той или иной форме эстроген, женский половой гормон. На второй день после начала приема приливы закончились, и я о них забыла.

Вспоминала, когда спустя десять лет, а потом еще спустя пять пыталась закончить прием гормона. Но приливы немедленно возвращались, и я снова принимала любимые таблетки. Прошу обратить внимание: я по образованию биолог, и слухи о том, что прием гормонов плохо влияет на людей с предрасположенностью к раку, были вполне мне известны. Но уж больно не люблю я неудобства!

Раковая предрасположенность в наличии имелась. Почти все мои родственники старшего поколения умерли именно от рака: мать, отец, бабушка, прабабушка, прадед... От разных видов рака, в разном возрасте: мама в 53 года, прадед в 93. Таким образом, я не была в неведении относительно моей перспективы. Как цивилизованный человек, я посещала с известной периодичностью докторов, производила соответствующие проверки. В нашем богохранимом отечестве до шестидесяти лет делают женщинам УЗИ, а после шестидесяти — маммографию.

Я довольно аккуратно посещала эти проверки, несмотря на то что в нашей стране укоренено небреж-

Мир вверху

ное отношение к себе, страх перед врачами, фаталистическое отношение к жизни и смерти, лень и особое российское качество «пофигизм». Эта картина была бы неполна, если бы я не добавила, что московские врачи, делавшие проверки, не замечали моей опухоли по меньшей мере три года. Но это я узнала уже после операции.

STATUS PRAESENS

Эти латинские слова в переводе означают «состояние больного в данный момент». В начале зимы 2010-го я приехала в Лигурию, к моей приятельнице Тане, которая уже лет двадцать пять живет в Италии. Я второй год заканчивала книгу, которая всячески сопротивлялась. Было ощущение, что работа моя вильнула хвостом и уплыла, и я в большой растерянности и отвращении к себе сидела на террасе и смотрела на море, на розовый генуэзский порт. Иногда, в особо ясную погоду, видна была Корсика. Апеннинские горы начинались прямо за спиной, вид был очень утешительный. Испытывать мелочную спешку, царапанье внутри и заниматься самоанализом на этом фоне было просто неприлично. Потом хлынули ливни, я плюнула на работу, тем более что интернет не включался, и принялась за совершенно постороннее, не по делу, чтение. Из множества русских книг в Танином доме я вытащила дневники Достоевского, отношения с которым испортились у меня уже давно, потом перешла к самому плохому сборнику Набокова «Тень русской ветки», потом в руки попа-

Людмила Улицкая

ло еще что-то малоутешительное. Наконец ливни прошли, всё прояснилось, и я спустилась в ботанический сад, в пяти минутах ходьбы, на откосе огромного оврага. В саду было совершенно безлюдно, он был по-зимнему запущенный, но зима, как выяснилось, как раз и закончилась вместе с ливнями, и разом брызнули ранние подснежники, открылась мимоза на взгорках, трава, не успевшая как следует завянуть, воспряла. Воспряла и я — плюнула на работу, купила билет во Флоренцию и поехала справлять свой 67-й день рождения. Во Флоренции, я знала, меня ждал подарок от подруги — билет в галерею Уффици. Но и сама дорога во Флоренцию, с остановкой в Милане, оказалась подарком: из зацветающей Лигурии, через Апеннины, еще запорошенные снегом, в Пьемонт снова нырнула в туман, мимо Павии, мимо рисовых полей, всё в сияющей дымке, в воздухе парообразная влага, в ней игра солнечных лучей, растворенная в воздухе радуга... Прекрасная, невыносимо прекрасная Италия.

Остановка в Милане, встречает Ляля Костюкович. Замечательная пробежка по Милану. *San Eustorgio*, саркофаг волхвов, барельеф звезды — чудесный. Мощи волхвов давно уже в Кёльне, Барбаросса увел. Потом вернули малую долю, но не проверишь, что там они засунули!

Я люблю волхвов, у меня их целая коллекция в книжках: от глуповато-восторженных деревенских колдунов до печальных мудрецов, пришедших проститься со всем древним миром, со всей своей мудростью, потому что знают, что пришло нечто большее, чем мудрость... Там капелла Портинари — святой Петр Веронский, с топором в голове: он катаров убивал, ката-

ры его и порешили в свое время. В капелле купол — немислимый, райская полянка, — всё радужное, живое и совершенно божественное.

Еще прошлись по Миланскому университету, где с XVI века была чумная больница. Сад бань — там мыли больных в сохранившихся по сей день римских термах.

Добрались до Флоренции. День рождения провели в Уффици. Бог с ним, с Боттичелли, там много всего, да есть и получше — Пьеро делла Франческа, Симоне Мартини — «Благовещенье» с комодиком... Вечер провели у итальянской славистки Лючии — дом старинный, замороженная спальня, бывшее богатство и полная сдержанность, в гостях потомца Пушкина с ортопедическим снарядом на сломанном позвоночнике.

Вернулась в Лигурию — как домой. Погода испортилась, весна приостановилась. Хозяева уехали. Я в доме одна. Чувствую себя отвратительно... Сплю очень плохо. Как всегда, когда работа не идет. И сны длинные, длинней ночи. Приснился таинственный сон: дом большой, с переходами, путаный, многолюдье, какой-то прием бестолковый, все незнакомые, но с разговорами, что-то нестерпимо длинное, такое, что хочется забыть еще до просыпания. Какая-то еда-питье, показывают повторами, уже вроде это было, и опять настойчиво повторяют. И вдруг — подносят мне большую белую фарфоровую тарелку, скорее даже блюдо. Новенький фарфор отливает свежим тонким блеском, а на тарелке в середине горкой уложены шкурки от сгоревшей картошки в форме девичьей груди. Совсем сгоревший куличик. Гадость какая-то.

Людмила Улицкая

Нужно пораскинуть умом. Весь день мастер сверлит стены, а я борюсь с «Шатром». Всё время помню про сон. Когда сосредотачиваешься, смысл сообщения может и проясниться. Этот был явственный сон-сообщение, и сообщение совершенно недвусмысленное: быстро беги на проверку. Смущала белая нарядная тарелка — она подразумевала подарок. Хорош подарок! Что же касается самочувствия — нормальное самочувствие. Я не привыкла о нем думать, разве что когда голова сильно разболится.

СИТО!

Вернулась в Москву. После итальянского медленного времени срываюсь в галоп. Еле успеваю поворачиваться. Всё пытаюсь пойти на проверку. Звонила раз десять в поликлинику Министерства обороны, в пешеходном расстоянии от дома, никак не могла записаться — врач симпатичная, она то в отпуске, то в другой смене. Уже несколько лет я хожу к ней на проверки. Место, конечно, непрофильное, но уж больно неохота ехать в институт рентгенологии — и далеко, и память недобрая! Наконец добралась до этой врачихи. Она посмотрела сначала на грудь, потом УЗИ, маммографию — и мордой сильно покривела: давно?

— Давно, — говорю.

Я ведь знаю: втянутый сосок — зловещий признак. Но ведь и в прошлый раз, месяцев восемь тому назад, когда я у нее же была, то же самое было. Она тогда промолчала — и я промолчала. Анализы ничего не

показали. Да неохота было всю эту бодягу затевать... Зато теперь анализы показали. Врачиха взвыла — срочно к онкологу. Cito-cito!

Март на дворе. Что значит «срочно»? Ведь я в начале мая всё равно еду в Израиль на книжную ярмарку, там пусть меня и посмотрят. И лечат пусть там. В институт радиологии и рентгенологии не хочу — там мама работала двадцать лет, умирала там, от ретикулосаркомы. И в онкоцентр на Каширке не хочу. Две подруги там умерли, и место это особое: там всё сделано так, чтобы человеку было еще хуже, чем оно есть. Ходят слухи: взятки, вымогательство. Я готова деньги платить, но не кривым способом. Хочу в кассу.

Звоню подруге Лике в Иерусалим, она находит в Хадассе, самом большом госпитале Иерусалима, хирурга. Говорит, очень хороший. Прекрасно. Я еду. Не завтра, через месяц. Всё равно надо ехать на книжную ярмарку. Вроде бы заодно! Я еще живу в прежней жизни, когда планы подчиняются целесообразности, чтоб всё сопрягалось и удобно совпадало одно с другим. Я еще не поняла, что это за стук, кто стоит за дверью...

Тут на меня насаждает подруга Ляля: там, на Каширке, есть какой-то родственник, он там иммунитетом заведует — он меня покажет тамошним онкологам. К этому времени уже март кончается. Я не хочу. Категорически не хочу в институт Блохина. Но я покладиста и сговорчива. Еду. Приезжаю — родственник симпатичный, усатый, усы пышные, как у какого-то животного, не вспомню какого. Двоюродный иммунолог ведет меня к своему знакомому хирургу — тот хваткий, холодный, тискает мою грудь, говорит, что сделает мне сейчас биопсию. Немедленно. Достает иг-

Людмила Улицкая

лу толщиной чуть не в палец и колет. Больно. Но дело не в этом. Через два часа посмотрели стекла, лаборантка дает мне мятую бумажку размером в трамвайный билет, на которой написано РАК. Надо отдать должное, это была чистая правда. Потом израильтяне подтвердили. Единственная отечественная деталь — после слова «рак» стоят цифры. Что, я спрашиваю, эти цифры означают? Это, — говорит лаборантка, сделавшая свое заключение за более чем скромные две тысячи рублей, — шифр клетки. Так какая же клетка — я спрашиваю. Она жмурит свои глупые глаза и сообщает: а это секрет. Это только врачу могу сказать...

Мудацкая сила! Поеду в Израиль. Через полтора месяца. Я не психопатка — вот так срываться, нестись по врачам! Мне до того надо съездить в Петербург. Там выступление. И еду. Две ночи в поезде туда и обратно. Удивительно хорош новый поезд. Ортопедический матрас, раковина, еще и ужин чуть не в койку приносят!

Я всему удивляюсь, как будто заново живу и ничего промежуточного не было: вспоминаю поездку в Пушкинские Горы, в студенческой компании, в тамбуре. И гостиницу в Михайловском с невиданной канализацией в виде широкой черной прикрытой стульчаком обосранной трубы. Ах, как жизнь стремительно движется, и всё в лучшую сторону!

И вообще — вокруг меня просто чудо. Все наперебой готовы со мной возиться и за мной ухаживать: муж, дети, друзья-подруги! Все готовы меня везти, пасти, охранять. Какой чудный дружеский круг — я счастлива. И вообще счастлива. Как много людей меня любит! И как их всех люблю я! Но я никогда не видела в своей жизни такой демонстрации любви — всё это мне! И еще — я знаю — молятся! Те, кто умеет.

Марина Ливанова меня провожала в Домодедово на своем студенте Саше. Что она мне принесла на дорожку: плеер с дисками, наушники удобные, жидкость от загара, конвертик с бумагой флорентийской (на такой бумаге только любовные письма писать!), большое яблоко. И что-то еще, уже не помню. Как она умеет всё красиво делать. Театр жизни! При этом — мне благодарна, что я доставила ей такое удовольствие. О Боже!

Тем временем Вера Миллионщикова в реанимации, приходит в себя после передозировки химии. Врачебная ошибка. У нас страна бесплатная — лечение бесплатное, и ответственность бесплатная. Никто ни за что...

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Прилетела в Израиль. Лика повела меня к врачу в Хадассу. Доктор Замир — не то жаворонок, не то соловей на иврите — крупная птица. По виду скорее канадский гусь. Пощупал: я не уверен, что здесь есть рак. У этих одаренных врачей пальцы — чувствилища. Иной орган, чем у обычных (но тем тоже слава, лишь бы не убивали). Послал на обследования. Маммографию сестричка делала трижды. Молодая, неопытная. Потом к доктору, не помню, как его, — из Южной Африки, в кипе, белая щетина — бородка, пахнет как от прадедушки (вспомнила через 65 лет!) — старостью, ветхостью, опрятностью. Еще старыми книгами немного. Опять пощупал, но биопсию делать не стал. Говорит — ничего не вижу (руками! ру-

Людмила Улицкая

ками!), кроме гематомы — это привет от доктора на Каширке! Опять: не уверен, что рак. Но послал московские стекла своему приятелю в Хайфу, к специалисту, который не разучился стекла смотреть. Больше в Израиле не осталось врачей, которые владеют этой допотопной методикой. На стеклах препараты никто теперь не делает. Это именно то, что я освоила в Институте педиатрии сорок лет тому назад, — гистологические срезы...

На слово «РАК» — удивление: у них такого диагноза нет. Есть клетки определенные, по имени и фамилии. Те самые секретные цифры, конечно. Ощущение довольно странное: всё это происходит, вне всякого сомнения, со мной. Сообщение я приняла как должное, как будто я давно знала, что именно так и произойдет. Но одновременно вижу всё извне, наблюдаю за собой — что говорит, как себя ведет эта пожилая женщина, которая совершенно не принимает возраст в расчет, хорошо себя чувствует, удачлива, окружена толпой близких и любимых родственников, друзей, поклонников. Это даже не самообладание: рак мне показывает, как прекрасна жизнь вокруг меня. Во! Усилитель вкуса, как в кулинарии!

Я со стороны наблюдаю эту изумительную картинку — красота буйной весны, города, врачей, моих потрясающих друзей. Какая там Стена Плача! Вокруг меня Великая Китайская стена! И я посреди всего этого — совершенно счастливая. Диагноз не снят, но отодвинулся. Рак не болит! Умирать всё равно скоро, но не завтра. И видна, как никогда, «прекрасность жизни». Это Евгений Попов! Вот автор единственного слова, но какого!

Мир вверху

Назавтра поездка в Хайфу. Еще один незаслуженно прекрасный день. Повез меня Саша Окунь. Рассказ о поездке в Мюнхен. Он смотрел там выставку Рубенса, от скуки делавшего в Испании копии в Эскуриале. Многое в дороге переговорили — одно наслаждение... Мне интересно, потому как я человек слабо начитанный, а Саша про искусство лучше всех знает. Изнутри предмета. Сердечнейшее общение. И художник он очень крупный, но совсем не в духе Андрея, другого происхождения, от других корней. Имеет какое-то отношение к Люциану Фройдю, только с великим чувством юмора и жизненной силой. Там философия, литература, большая глубина.

Потом госпиталь Рамбам в Хайфе. Доктор — рыже-седой русскоговорящий парень лет сорока пяти. Профи. Одно удовольствие смотреть, как он микроскоп крутит. Рак на московских стеклах подтвердил — карцинома. Это оно! Сделал две пункции, довольно больно, на новых стеклах ничего не обнаружил, гематома еще не рассосалась.

Вернулись в Иерусалим, и завертелась подготовка: компьютерная томография, неприятная вещь — два литра противной жидкости, а потом еще в вену влили краску. Теперь главное — чтобы не нашли никаких метастазов. Между тем начинается книжная ярмарка, интервью, встречи, беготня. Устала — с ног валюсь.

Всё разворачивается очень быстро: новая биопсия показала карциному такой разновидности, которая на химию вяло реагирует и, кажется, более агрессивна, чем аденокарцинома. Рак молочной железы. Лабиальный, то есть протоковый — почему и диагностика сложная.

Людмила Улицкая

Томография не готова, а там я ожидаю новых неприятностей. Как-то серьезней стало. Хирург послал к онкологу в Эйн-Карем. Всё свободное время работаю.

Кажется, Господь услышал мои слова, что долголетия я боюсь. Но книжку закончить всё равно надо.

Последние дни апреля. Сны идут с большой силой. То — чашечки грязные с мутными стеклами. Нашла, отмыла: оказались драгоценности — подвески, серьги бриллиантовые и цветные — красные, зеленые, синие. Тут подходит пожилая дама, говорит: это мои! Пожалуйста, — говорю ей и легко отдаю.

Еще странная округлая железка, деталь или конструкция неизвестного назначения, в пол-ладони. Приятная на ощупь. Держу в руке, показываю.

Сегодня опять сон — но забыла. Сны очень сильные, каждый день, осмысленные. Но главный был все-таки тот куличик на фарфоровом блюде!

2 мая открыли фестиваль. После врача-онколога. Всё успела, никуда не опоздала. Назавтра консультация предоперационная. Беседа: снимаем левую грудь. Далее — по обстоятельствам: найдут в экспресс-анализе в лимфатических узлах клетку, значит, все лимфоузлы удалят; нет — обходимся без химии.

Поскольку клетка гормон-зависимая, если будет химия, то какая-то «новая», ориентированная на рецепторы — блокируют их. Больного надо просвещать, мне нравится знать.

План такой: операция, далее перерыв. После двух-трех недель заживления — химиотерапия, в зависимости от того, что там найдут. Будет, видимо, надо.

Мир вверху

Замир сказал, что он обеспокоен моим спокойствием: впервые такое видит, обычно в этом кресле плачут. Далее — поехала на такси в «Мишкенот Шаананим». (Приют беззаботных — это точно для меня!) Выучила слово. Не забыть бы! Это возле мельницы Монтефиори. Там всех ярмарочных писателей заселили. Цруя Шалев и жена Пола Остера выступали. Дамский разговор, изящный и слегка тошнотворный. Цруя очень хороша — и лицом, и телом, и душой, и одеждой.

Потом появился Курков. Милый, доброжелательный, с англичанкой-женой; у них трое сыновей.

В 9 легла в постель уже в номере гостиницы. Встану рано и буду смотреть с галереи на Старый город... может, даже и погуляю. К двум в госпиталь — ядерно-магнитный резонанс. В 7.30 — встреча с Меиром Шалевом. Очень плотно получается — ярмарка пополам с обследованием.

А 6 мая вечер — «Юмор и смерть». Не прелесть ли в моем положении? За круглым столом три автора: Андрей Курков, Михаил Гробман и я. Гробман крайне непоследовательный. Представлен был как деятель и теоретик второго авангарда. Сначала плел околесицу, что новое убивает старое. Наивный старомодный бред. Потом прочитал свое стихотворение — чудовищно расистское, антиарабское. Было стыдно. Еще: всякий, кто сегодня заявляет, что любит Булгакова и не помню кого еще, тот идиот. Мы тонко сшиблись. Он настаивает на примате идеологии в литературе... На новом, так сказать, витке! Уже было.

Зато всё свободное время я провожу в «Зеленом шатре». Первый раз в жизни название возникло рань-

Людмила Улицкая

ше самого романа. Там всякие дела происходят: Лиза появляется снова. Она в расцвете карьеры. У нее дуэт с Рихтером. Гастроли. Конкурсы. Брежневская тоска. Мы попали в такое место, куда и музыка не достигает. Смерть Миши — глубокая депрессия. Лиза выходит замуж за дирижера. За немца, баварца, кажется. Пьер присылает за Саней гонца — невесту-американку. Рыдала на плече: не нужна мне шуба, не нужны мне деньги. Отчасти история Геннадия Шмакова.

Да, вот что забыла — поездку с Окунем в монастырь «Иоанна в пустыне», там трогательная детская икона Елизаветы. Кирпичная, очень старая и бедная церковка. Греческая. Они и впрямь бедны. Монахов не видели, но видели пещеру Иоанна и источники; место такое, что в нем что-то без сомнения происходило. Не пустое.

На обратном пути поели в индийской забегаловке — там было закрыто, но нам достались остатки от туристической группы, которую они кормили. Две мамы с грудными детьми. Пока нам кофе варили, я дитенка держала, очень восхитительный.

Окунь тоже сейчас дрейфует по больницам, у него легкие, у жены — мочевого пузыря, матери Сашиной 96 лет, это тоже вроде смертельного диагноза. Все болеют, не я одна. Зато Вере Миллионщиковой лучше.

Ночью почти не просыпалась. Приливы отливают. Скоро снимут левую грудь. Боюсь, что подмышкой что-то происходит неприятное... меня беспокоит — некоторые ощущения в левой груди и в левой подмышке. Ощущение, что оно растет. Надеюсь, за оставшиеся дни далеко не вырастет. До операции три дня.

Мир вверху

Дальше буду жить без левой груди. Как минимум. И неизвестно сколько. Забота — закончить книжку.

Продолжают щупать подмышки. ЭКГ, анализ крови. Теперь всё решит экспресс-диагноз. Настроение очень хорошее. Завтра ставят в груди метку — для хирурга. Сражаюсь с «Шатром».

Сделали снимок — это не диагностика, а локализация желез для удобства хирурга. Делал арабский врач или медбрат, очень хорошо. Лике всё продолжает очень нравиться. И с Ликой очень хорошо. Сажу в университетском парке, в зелени и цветах, на укромной лавочке в тени и прохладе, жду Лику. За бортом +38 °С. Здесь не чувствуется. Сегодня день города — в этот день освободили Иерусалим в 1967 году. Арабы не очень празднуют, понятное дело.

13 мая. Сегодня отняли левую грудь. Технически — потрясающе. Вообще не было больно. Сегодня вечер, лежу, читаю, слушаю музыку. Анестезия гениальная плюс два укола в спину, в корешки нервов, иннервирующих грудь: их заблокировали! Боли нет. Слева висит пузырек с вакуумным дренажем. 75 мл крови. Справа — штучка-канюля для переливания. Ввели антибиотик на всякий случай.

Весь день Лика. В 7 утра приехала и до 8 вечера сидела. Ангел. И Любочка подскочила. Немыслимый, невероятный комфорт в данных обстоятельствах. И главное — в лимфоузлах при экспресс-анализе карциному не нашли. Подмышку не трогали!

Через неделю будет подтверждение гистологическое, и тогда решат, как будут вести лечение.

Соседка по палате — воспитательница детского сада с севера, пенсионерка. Она должна была опериро-

Людмила Улицкая

ваться не здесь, а в Хайфе. Но ей хотелось к Замиру, и она теоретически должна заплатить 18 тыс. шекелей за операцию (15 из них заплатила страховка, она — 3, то есть меньше 1000\$). Вообще всё — бесплатное. Это социальная медицина. Соседка получила тот же новейший укол. Ей не больно.

Я — коммерческая, но особая. Доктор Леша Кандель — мой знакомый, Володя Бродский, главный анестезиолог, — его друг. Все русские врачи ходят книги подписывать! Я — ВИП! Всем прочим — ровно то же, но бесплатно.

Бедная Россия, 145 млн человек, которых режут без наркоза, валяют в грязи, заражают в больницах черт-те чем. Бедная Алла Белякова — у нее нашли рак кишечника, на Каширке отказали — слишком поздно! Взяли в Троицк, она счастлива. Рак этот ужасный, а сын, несчастный аутист, бедный Андрюша, что с ним-то будет? Надо узнать, что можно здесь сделать. Опять на Лику наваливать?

Груди нет абсолютно, даже выемка. Грудь мою похоронили в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль. Леша Кандель туда захоранивает удаленные еврейские суставы из своего ортопедического отделения. Почему-то мусульман и христиан совершенно не интересует, где лежат их удаленные органы и части тела, — вот что он сказал.

Итак, левая грудь — в земле Израиля. Начало положено!

Я у Лики дома. В квартире сильнейший ветер, что-то в кухне шуршит, падает. Я вхожу, закрываю окно и вижу на полу картинку, которая была прикреплена к холодильнику, — художница израильская Мирьям

Гамбурд, выставка 2001 года в Париже. Сисястые жирные тетки дразнят Амазонку. Она стоит в центре композиции, с одной грудью, которую придерживает рукой, а вторая — отрезана. Левая. Мы обомлели. Картинка давно уже висит, до сегодняшнего дня не замечали!

Всех событий очень содержательных, но из мистического ряда, не перечесть. Меня защищает мой мир: мои друзья, друзья друзей, родственники их, врачи — всё идет мне навстречу. И первая из них всех — Лика.

...Да всё равно прекрасно всё сходится. Много радости на этом месте. Надо сделать экс-вото, маленькую серебряную грудь, и повесить в церкви на икону Пантелеймона или кого другого. Хотя грудь и не спасли. Господи, так ведь сделано уже: Андреева «Половина» — и есть экс-вото!

Бедная моя грудь, я с ней долго прощалась. Она, конечно, не бог вещь как себя повела, но я-то больше перед ней виновата — 17 лет гормонов.

Да, зачем я всё это пишу? Дело в том, что мне надо установить новые отношения с моим телом, в первую очередь с грудью. К исходу седьмого десятка я, испытывавшая чувство вины по самым разным поводам, остро ощутила себя виноватой перед своим телом. Странно, что, всю жизнь относясь к невинному моему телу с равнодушием, даже с жестокостью, я так поздно это поняла!

Вся эта история — совершенно невероятная. Кажется, выскочу. Но если и нет — столько на этом месте прекрасного.

Вчера сообщили, что у Гали Чаликовой 4 стадия рака яичников, с метастазами, и 10 литров жидкости в животе. Я Гале позвонила и просила подумать о Ха-

Людмила Улицкая

дассе. За последние месяцы — третья катастрофа: Алла Белякова, Вера Миллионщикова и вот Галя. Про себя не говорю — просто комариный укус. Душа разрывается от всего этого. Читаю «Беседы со Шнитке». Гениальные. И есть потрясающие места: «После инсульта я много не понимаю, но стал больше знать». Это — об интуитивном знании. Пожалуй, могу себе позволить немного поплакать на этом месте. Здесь город такой, что есть куда пойти поплакать, а можно и не ходить.

Через десять дней сообщили, что нужна вторая операция, так как нашли клетку в одной из пяти желез, там, где экспресс-анализ ничего не показал. На 3 июня назначена вторая операция, подмышкой. По времени она длится чуть меньше, но в принципе всё то же: наркоз, тот же дренаж, то же заживление. Может, более болезненное. А потом — варианты: обязательно будет 5 лет гормона, может быть облучение локально, и худший вариант — 8 серий химиотерапии с интервалом в 2 недели, аккуратно 4 месяца. Не умею не строить планы, но сейчас худшим кажется закончить лечение в октябре. Хотя есть еще много совсем плохих вариантов. Моя стадия — третья по-нашему. Метастазы подмышкой.

Сегодня Троица. Завтра день Святого Духа! Сейчас 4 часа утра, муэдзин кричит что-то невнятное радиоголосом, призывая на молитву. Охотно присоединяюсь к нему.

Жду утра — надеюсь сегодня попасть к Замиру. Уже могла бы сделать перерыв на Москву, до начала химиотерапии.

Мир вверху

Книгу всё пишу-пишу, а она не кончается. Измучена и устала. Мне трудно и очень хорошо. Наполнена до предела. Открыла в *YouTube* Гидона Кремера (и еще два музыканта) — комические упражнения на тему классической музыки. Как Набоков о Чернышевском — мальчик играет с кадиллом отца, естественная игра поповского сына. Так и эти — забавляются священными вещами. Они им свои.

Неделя в Москве. Очень тяжело. Многолюдно, многодельно, необязательно.

Посещение Веры Миллионщиковой. У нее ремиссия. С неё сходит кожа, растут новые ногти, волосы пробиваются. Она у себя в хосписе! По праву умирающего!

Иерусалим. Прилетела накануне. Эмоций — ноль. Завтра, 3 июня — вторая операция.

Операция уже вчера. Легко. Рука не болит, если не двигать. Болит, когда делаю резкие и отводящие движения. Завтра выписывают. Жара. Сильный свет. Ясность необыкновенная. А что ясно — не могу выразить.

ЭЙН КАРЕМ

Четвертый месяц живу в одном из самых волшебных мест на свете — в деревне Эйн Карем, которая до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн

Людмила Улицкая

Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Элишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились, есть колодец, возле которого они тоже встретились. Показывают пещеру, где вроде был дом, в котором родился Иоанн Креститель. Здесь всё двойится: и мест, где встретились родственницы, несколько, и монастырь не один — Святого Иоанна на горах, Сестер Сиона, Сестер Розария и Горненский, православный. От моего любимого, Сестер Сиона — лучший вид в сторону Иерусалима. Последний раз была здесь вчера — в день Преображения Господня. Службы не было, календарь не совпадает с католиками. Но в Горненский идти было тяжело, в горку. И день вчера был какой-то рекордный по жаре — 43 градуса.

Я пришла в пустую капеллу. Потом вышла в сад — плоды здесь не освящали. Деревья плодовые стояли прекрасные, вовсе в этом не нуждаясь, — лимоны почти все зеленые, грушевое дерево, всё засыпанное грушевыми лампами, и много гранатовых деревьев. Они самые красивые — почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет, но были и зеленые. Потрясающе — некоторые еще не перестали быть зелеными, но и не стали багровыми. Золотом отливают на солнце.

Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь сто пятьдесят лет тому назад.

Деревня Эйн Карем — в долине. Наверху стоит огромный госпиталь Хадасса. Я там лечусь. Моя левая грудь похоронена в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме, вместе с ампутированными частями тел других пациентов больницы Хадасса. Вся остальная часть меня еще жива, отлич-

Мир вверху

но себя чувствует и рассчитывает еще некоторое время погулять по миру, порадоваться и подумать, как волшебной интересно устроена жизнь.

У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль: болезнь — дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся.

Здесь еще возникает большая тема — страдания. Я об этом всё время думаю, еще до конца не додумала. Но направление мысли таково, что ни один православный священник не одобрит: страдание то, чего не должно быть. А то, что из страдания может родиться доблесть терпения и мужества, — побочный продукт. Потом к этому вернусь.

Я снимаю сейчас маленький арабский дом в одну комнату. Он построен на крыше другого арабского дома, большого и невероятно красивого. Это один из самых красивых домов, который я в жизни видела. Как, должно быть, горюют о нем те арабы, которые покинули его в одночасье.

Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны — неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти.

Это земля Откровения. Я это знаю. Но откровения случаются и в других местах. Где угодно. История начинается в любой точке...

Людмила Улицкая

Книга моя всё не кончается. Я не помню, чтобы я ее писала. Я ее всё время заканчиваю. Но после третьей химии работать я уже не могла. Не могла читать. Не могла спать. Стояла сильная жара. Но в Москве, да и по всей России, жара была еще тяжелее. Сын Петья с семьей оставался в городе. Уехать не смогли: то не было билетов, то сил, то места, куда ехать. В доме двое маленьких детей. Из квартиры почти не высовывались. Поставили кондиционер. Стоял такой смог, что соседнего дома видно не было. Меня это сильно удручало — я бы хотела, чтобы они приехали в Израиль, но паспортов иностранных у них тоже не было. Перерывы между вливаниями химии трехнедельные, я было собралась лететь домой, налаживать детскую жизнь, но все меня отговаривали. Так я и провела еще полтора месяца в Эйн Кареме. Самые тяжелые недели я со своей крыши почти не спускалась. Навещали друзья, привозили еду, на которую даже и смотреть не могла. Всё потеряло вкус: ощущение, что жуешь вату. Тут произошло чудо. Последние месяцы я очень много слушала музыку — отчасти по профессиональной необходимости. Герой моей книги музыкант, и мне важно было прожить эту часть его внутренней жизни, и я много прочитала всяких книг, имеющих отношение к музыке. Но теперь химия меня придавила так, что только лежала как дохлая рыба. Ничего не могла. Только слушать музыку. И стала слушать практически круглосуточно.

Я всегда знала границу своих возможностей: заброшенная лет в десять музыкальная школа и радость освобождения от нотного насилия на много лет определили мои взаимоотношения с инструментом: пианино обходила стороной — как орудие дет-

ской пытки. Лучшее, что осталось от тех лет, — чудесная музыкальная разноголосица, когда идешь по коридору школы, и из каждой двери своя музыкальная фраза, и вместе они сливаются в дивный шум, в котором всё сразу, и каждый раз новое. И еще мне нравилось сочинять — такие маленькие пьески задавала учительница, и это было самое интересное. Словом, прошло лет десять, прежде чем я заново услышала музыку. Не Бетховена и не Шуберта я слышала тогда — Скрябина и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. Ходила на концерты в Скрябинский музей, Малера там слушала: это было здорово и страшно модно. Словом, музыка была некоторой культурной составляющей жизни в ряду многого другого. Но я всегда знала за собой, что хожу только по опушке прекрасного леса, а в глубину его не попадаю.

Здесь, в Эйн Кареме, что-то произошло со мной: открылись новые возможности восприятия. Может, химический яд, которым я вся была пропитана, растворил попутно пленку, которая не пропускала ко мне музыку. Словом, произошел прорыв. В ночной жаре, на раскаленной крыше я слушала и слушала. Саша Окунь снабжал меня прекрасными дисками, а лучшего проводника в этом лесу найти невозможно. Лика привезла проигрыватель, там, в Израиле, у него был отличный звук, но при переезде в Москву потом оказалось — неважный... Или это снова закрылись мои уши? Кажется, нет. «Искусство фуги» в исполнении Фейнберга — лучше рихтеровского, на мой вкус, прослушала не знаю сколько раз, и столько же раз сонаты Бетховена, и Шуберта, и Гайдна, и много-много... Отрава вымывалась из меня музы-

Людмила Улицкая

кой. А когда я пришла в себя, поехала в Москву. А потом вернулась, чтобы получить еще и облучение.

В эти недели, лысая, слабая и веселая, я снова взялась за книжку.

ХАДАССА

Я переехала в другую квартиру, в том же Эйн Кареме. Теперь у меня отдельный домик рядом с греческой церковью, через забор стоит домик сторожа и священника. Кажется, в одном лице. Службу я могу наблюдать со своей террасы — окна церкви распахнуты. Хозяин — верующий еврей родом из Измира, жена его приехала когда-то из Австралии, работает в той же самой Хадассе, нянечкой с самыми маленькими детьми, да и своих целая куча. Родители они любящие, нестрогие, а дети — почтительные и веселые. Послушные. Пригласили меня как-то на шабат — полный стол народу, мальчишки-подростки, дочки, их подружки, какая-то одинокая соседка, я, жилища. Хозяин — сефард, поэтому никакой ностальгической еды европейских евреев — селедки, картошки, соленых огурцов. Ближневосточная еда. Хлеб, вино. Совсем другой, непривычный стиль. И всё те же молитвы: благословения хлеба и вина...

Ходила в Хадассу как на работу — пять раз в неделю на пушку, где меня облучали. Деревня под горкой, и тропинка вверх вела меня в больницу, в онкологическое отделение. Видно издали — вертолетная площадка на крыше. Во время войны сюда доставляют раненых — за два часа из любой точки страны. Стра-

на-то маленькая, а войны и теракты случаются очень часто. Больница огромная — сколько этажей вверх, столько и вниз. В самом нижнем этаже запертое хирургическое отделение, полностью подготовленное к работе — на случай войны. Солдат своих страна бережет, уважает. Это разговор отдельный, и сравнивать положение военных российских и здешних — горечь и слезы. Нам у израильтян есть чему учиться и в организации здравоохранения, и во взаимоотношениях армии, государства и общества.

Но я отвлеклась от темы — Хадасса. Теперь я знаю ее в подробностях, знаю врачей и медсестер, длинные переходы и коридоры, сплошь увешанные табличками с именами жертвователей. «Этот стул, прибор, кабинет, отделение... подарены таким-то и таким-то». В память покойной бабушки, дедушки, мамы, сестры... На первом этаже — синагога с витражами Шагала. Витражи — подарок художника.

Это государственная больница, самая большая в стране. Сюда идут огромные пожертвования от евреев местных и из всех стран мира. Древняя традиция — церковная десятина. Только несут теперь больше не в храм, а отдают на благотворительность. Особая статья — на научные исследования. Денег в бюджете не хватает. Значительная часть научной работы ведется на пожертвования.

Больница полна волонтерами. Ходят еврейки в париках, с тележками, предлагают попить, крендельки какие-то, гуляют с колясочными больными. Лечатся здесь все граждане — и евреи, и арабы. И врачи — тоже еврейские (половина из России) и арабские. После операции видела препотешную картину: по коридору друг другу навстречу идут два патриарха, один

Людмила Улицкая

еврейский, в черной бархатной кипе, в хасидском халате, за ним жена в парике и куча детей — от вполне половозрелых до мелкоты, второй красавец шейх, в белой шапочке, в белых одеждах, величественный, за ним жена в богато расшитом платье, и тоже с выводком деток. Оба после онкологической операции. Поравнялись, кивнули друг другу не глядя и разошлись.

Хадасса — территория если не мира, то перемирия. Что-то вроде водопоя. Там, где речь идет о жизни и смерти, стихают страсти, замолкает идеология, территориальные споры теряют смысл: на кладбище человек занимает очень мало места.

В больнице врачи борются за жизнь, и цена любой жизни здесь одинакова. Больной не должен страдать — эта установка нормальной медицины. По десять раз на дню, при всякой процедуре спрашивают: тебе не больно? Один раз я автоматически ответила: ничего, ничего, потерплю...

— Как? Зачем терпеть? Это вредно! Боль надо обязательно снимать...

Этому учат здесь в медицинском институте: обезболивание необходимо. У меня советский опыт: дантисты совсем недавно стали обезболивать пациентов. Всё мое детство и всю юность сверлили, рвали корни по-живому, а также делали перевязки, снимали швы... К сожалению, я слишком хорошо информирована о том, как сложно в Москве получить наркотики даже для онкологических больных в терминальной стадии. Про российскую провинцию вообще не говорю. А зараженные стафилококком роддома? Старые здания, которые уже нельзя прожечь кварцем, потому что нет таких ламп, которые могли бы дезинфицировать руины.

Мир вверху

Эти мысли обычно посещали меня на обратном пути после облучения. Конечно, лучевые ожоги делают и здесь. Но защищают всё, что можно защитить: для каждого больного, в соответствии с его анатомией, изготавливают специальный свинцовый блок, чтобы не повредить облучением сердце, легкие.

Жестокая болезнь — как ни старайся, всё равно далеко не всегда вылечивают. И в лучших клиниках Америки, Германии и Израиля умирают люди. Но у нас на родине это гораздо тяжелее.

И я не знаю, что надо делать, чтобы наша Каширка стала похожа на Хадассу.

Схожу вниз по тропинке — мимо общежитий медицинского персонала, мимо стоянки, вниз, каждый камень знаком, каждое дерево, справа стена францисканского монастыря, мимо, вниз, к источнику, дорога раздваивается: вверх — к Горненскому монастырю, вниз — к автобусной станции, слева детский сад. Поворот к музею Библейской истории, который всегда закрыт, и вот мой дом. Одна стена из древних камней, другая из гипсокартона, третья из кирпича; слеплен, как дом сапожника Тыквы. Окна все разные, дверь не запирается. Жара все прибывает. Книжка моя не дописана. Осталось совсем немного.

КНИГА, КОТОРУЮ Я ДОЛГО ЗАКАНЧИВАЛА

«Я – рассказчик своего времени»
(из интервью)

Новый роман Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» — по сути, сборник из тридцати рассказов, объединенных несколькими сквозными темами и героями. Отчасти это роман о шестидесятниках и диссидентах, и две главные истории — «Зеленый шатер» и «Имаго» — обозначают два главных полюса напряжения книги: темы всеобщей вины и всеобщего прощения и личного нравственного выбора, позволяющего остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах времени. Но время и место — пятидесятые–восьмидесятые годы XX века в России — становятся лишь обстоятельствами, в которых Улицкая и ее герои размышляют о главном вопросе: что такое взросление, когда человек становится взрослым? Возможно ли, что современная цивилизация — это цивилизация подростков, личинок, так никогда и не выросших, не достигших стадии имаго?

Мир вверху

— *Ваша новая книга — о диссидентах. Но если в Польше или Чехословакии диссиденты — это герои, которые сделали современную историю, то в России отношение к ним скорее негативное: прокляты и забыты. Потому что, по мнению многих, они отчасти ответственны за то, как мы живем теперь. Ваш роман — это попытка вступить в отношения с прошлым, которое вытеснено из памяти, проанализировать его?*

— Неправильно сравнивать диссидентов российских с польскими и чешскими. В Восточной Европе в послевоенные годы созрела идея освобождения от советского порабощения, последовавшего за победой над фашизмом. Вот основная восточноевропейская коллизия: Россия освободила Восточную Европу от фашизма и насадила свои порядки. Таким образом, диссидентское движение там было гораздо однороднее и гораздо, с моей точки зрения, менее интересным. В России диссидентское движение было необъятно разнообразным. Уже при своем зарождении оно представляло собой множество потоков: проленинский и антисталинский, антикоммунистический, религиозный, национальный (тоже во множестве разновидностей), философский, нравственный. У меня не было задачи это рассматривать: написано много книг по этому поводу, наиболее четко всё это сформулировано в книге Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР». Негативное отношение к диссидентам в России, о котором Вы упоминаете и о котором мне известно, следствие извечных свойств нашего народа: слишком ленивы, чтобы полюбопытствовать, кто они, диссиденты? Одно из клише: диссиденты виноваты в том, что мы живем в такой стране, которую мы сейчас имеем.

Людмила Улицкая

— *А кто они для Вас?*

— Диссиденты в Советской России были первым поколением, которое побороло в себе страх перед властью, которое начало великую борьбу за право иметь собственное мнение, за право думать не «по-газетному», это была школа выхода из тотального страха. Диссиденты заплатили огромную цену за эти попытки освобождения, отчасти неудачные, отчасти успешные. Ваше поколение гораздо свободнее, чем были мы, именно благодаря тому, что Александр Гинзбург, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Павел Литвинов, Андрей Синявский и Юлий Даниэль, Александр Лавут, Гарик Суперфин — я называю только имена тех людей, которых знала лично, а не составляю иерархического списка — прошли по пути лагерей, ссылок, психбольниц. Они первыми вслух стали говорить то, что думают. И не так уж важно для меня сегодня, согласна ли я с их мыслями тех лет. Это была школа мужества и независимости.

Вы возлагаете на диссидентов ответственность за «кривизну» сегодняшнего государственного полета? Простите! А кто голосовал за новых руководителей страны с гэбэшной выучкой? Не ваше ли поколение прагматиков? Уж точно не мы, диссиденты и околодиссиденты шестидесятых.

— *Но даже в Вашем романе диссиденты — люди, которым приходится идти на компромисс не только с совестью, но и с кагэбэшной властью.*

— Выбор в те времена был жесточе: либо молчи, либо в зону. Промежуточные варианты — о них в книге. Теперешняя власть не идеологичная, она себя объявила прагматичной, и ей глубоко наплевать,

Мир вверху

о чем люди думают. И теперешнее поколение гораздо более ручное и послушное, чем шестидесятники. Теперешние покупаются просто за деньги, большие или не очень, а порой на тяжелые компромиссы шли, чтобы не погибнуть. Это было первое поколение, возжаждавшее правды. Лично я всегда ощущаю себя в долгу перед теми, кто вышел на Красную площадь в августе 1968 года после вторжения «дружественных» армий в Чехословакию. Эти семеро — единственные, кто смысл национальный позор тех дней. Простите, Настя, за горячность. Это я имею право за что-то не любить кого-то из диссидентов. Ваше поколение такого права не имеет. Тема эта не умерла, а погода на дворе такая, что неплохо вспомнить о шестидесятых.

— *Одна из основных тем «Зеленого шатра» — тема детства и взросления. Как, когда и почему человек становится взрослым. И догадка героя — что, возможно, некоторые взрослыми только кажутся. А для Вас когда кончается детство и что для Вас значит «взрослый человек»?*

— Там, в романе, есть метафора или, если хотите, биологическая параллель: в зоологии известно явление неотении, смысл которого в том, что существо, не достигшее стадии взрослой особи (имаго), начинает размножаться уже на стадии личинки. Происходит это по той причине, что в окружающем мире не хватает какого-то фактора, чтобы личинка завершила свой цикл и превратилась во взрослое существо. Так и возникают популяции «личинок, детей личинок». Это в некотором роде сравнимо с тем процессом, который происходит в сегодняшнем мире, — инфанти-

Людмила Улицкая

лизацией общества. Не именно нашего — всякого. Взрослость трудно определить, потому что человек, совершенно незрелый в одной сфере жизни, может быть вполне состоятельным в другой. Но главное, пожалуй, в том, что «личиночный» мир отвергает чувство ответственности, он живет сиюминутной потребностью, в жизни более всего ценит удовольствия и из созидателей и строителей жизни превращается исключительно в ее потребителей. Здесь есть о чем подумать, как мне кажется.

Беседовала Анастасия Гостева.

gazeta.ru, декабрь 2010

* * *

— Правда ли, что неотеничность общества — черта, о которой часто заходит речь в «Зеленом шатре», — обязательно дурная характеристика? Эта подмеченная и описанная Владимиром Шаровым неотеничность русских — хорошо коррелирующая с евангельской метафорикой, с «будьте как дети», с гарантированным билетом в царствие небесное и проч. — может быть, на круг это как раз то качество, которое позволяет русским не только истреблять самих себя, но и делать мировую историю? И соответственно, следует не изживать эту особенность, а, наоборот, лелеять ее?

— Признаться, евангельская метафора «будьте как дети» — предмет для дискуссии. Умный проповедник, трактуя ее, всегда делает оговорку — в каком именно смысле «как дети». Ну разве что мы будем иметь в ви-

Мир вверху

ду грудных младенцев, потребности которых ограничиваются едой и теплом. Дети постарше проявляют порой такую жестокость, на которую и взрослые неспособны. Дети умеют жить сегодняшним днем, не строить планов, не предвидеть последствий своих поступков. И «подростковая цивилизация» обладает всеми этими чертами. Так мне кажется. По части способности к самоистреблению русские зашли очень далеко, но и здесь у нас много конкурентов в разных частях света, от древних майя до камбоджийцев пятидесятых и сербов—хорватов девяностых недалеко еще ушедшего века. Если только это и есть мировая история, то и жить-то не хочется. Нет, общество подростков меня пугает, никакого восторга я не испытываю перед культом молодости, красоты и богатства. Хотя всё это — хорошие вещи сами по себе, безумная борьба за их обладание не вызывает никакой симпатии. Молодость всё равно уходит, сколько бы витаминов ты ни съел, красота, поддерживаемая пластическими операциями, превращается в уродство худшее, чем честные старческие морщины, а о богатстве и говорить не приходится...

Нет, мне определенно больше нравятся взрослые люди, совершающие свои поступки обдуманно, учитывая, как они скажутся на окружающих, освободившиеся от юношеского максимализма и неконтролируемого эгоизма.

— *«Зеленый шатер» — панорама нескольких ветвей диссидентского движения в постсталинском СССР, причем с претензией на объективность, на «последнюю правду» об исторической эпохе. При этом, например, «Космос» — главный проект советский — упомянут*

Людмила Улицкая

в «Зеленом шатре», кажется, всего два-три раза, и всегда иронически или с плохо скрытым раздражением, как пример очередной идиотской гигантомании государства, которое вместо того, чтоб заботиться о своих гражданах, зачем-то строит ракеты (там же упомянута карикатура, на которой бурлаки на Волге тянут не баржу, а огромную ракету). Почему вместо того, чтоб рассказывать про главное, Вы топите Большую Историю в частной, серой, повседневной, обволакиваете Большие События обилием частных? Правда ли, что главная драма постсталинского СССР — это противостояние «народа» и «государства», притом что этот отрезок истории можно описать и как пример чрезвычайно успешного симбиоза тех же самых участников? И раз так, раз, кроме диссидентских, полно свидетельств и того, что это был скорее симбиоз, чем война, — не является ли роман, в котором центральное место отведено диссидентскому движению (причем не всему, а лишь одной из его ветвей) — учитывая Ваш статус гуру, в некотором роде «хозяйки истории», — фальсификацией истории?

Ведь вот понятно, чем мы Гагарину обязаны — а вот чем мы обязаны диссидентам? Да, они пытались корректировать чересчур человеконенавистническое государство, да, среди них было много совестливых людей — но правда ли, что Королев и Гагарин были менее порядочными? Разве Королев, отсидевший в лагерях, со сломанной на допросах челюстью, был непорядочный? Правда ли, что это именно диссиденты делали историю? Даже десталинизация — разве она произошла благодаря диссидентам, а не сверху, разве это не был проект Хрущева, который поддержала интеллигенция? Почему же тогда, с Вашей ро-

Мир вверху

манной оптикой, получается, что процесс Синявского—Даниэля — более крупное событие, чем покорение космоса?

— Очень, очень некорректный вопрос. Серия вопросов, я бы сказала. Первое, что хотелось бы опровергнуть, — статус «гуру». Я на эту роль не претендую, я никому не учитель, я — рассказчик своего времени. Субъективный, разумеется. Помните книжку Бориса Житкова «Что я видел»? Вот и я пишу, что я видела. И нет у меня намерения рассказать «последнюю правду». Я вообще не знаю, что это такое.

Проект «Космос» — это Вы совершенно справедливо заметили — совершенно не вызывает у меня никакого восторга. Сейчас, сегодня. А тогда, в апреле 1961-го, вместе со всеми зашласть от счастья — Человек в космосе! Про Королева и Гагарина — Вы правы. Порядочные люди. Но правда также, что Королев сидел в тюрьме, посаженный государством по фантастическому обвинению. Правда, что наш герой Гагарин, прекрасный парень, спился и погиб нехорошо, «при невыясненных обстоятельствах», так что много вранья по поводу его смерти было наворочено. Сам проект «Космос» был главным образом аргументом в борьбе за мировое господство, а наши героические космонавты — подопытными животными: дело в том, что все научные данные в космосе собирали приборы и аппараты, а не человек. Сам проект был конечно же преждевременен, стоил огромного напряжения сил народу, едва вышедшему из огромной войны. Средства на этот проект ушли огромные, и здесь не место говорить о том, как плохо жил в то время народ, в особенности в деревне. Это всегдашняя логика государства: оно за-

Людмила Улицкая

ботится о своем величии больше, чем о своем народе. Если Вы считаете, что это было время полного симбиоза государства и народа, идиллии своего рода, что ж, это Ваше право иметь свое мнение и высказывать его. Но и у меня такое право есть. Еще могу заметить, что в моем романе речь идет вовсе не о взаимоотношениях «народа» и «государства», а о взаимоотношениях частного человека и государства.

Вам понятно, чем мы Гагарину обязаны, а мне — нет. Вы видите славу отечества в том, что русские первыми вышли в космос, а я вижу его славу в других именах — Николая Вавилова, Андрея Платонова, Святослава Рихтера, Войно-Ясенецкого. Спорить нам не о чем, одно другому не мешает.

Вы сами признаете, что государство было (и есть) «чересчур человеконенавистническое». Вот и я о том же. И природы своей оно не поменяло. «Десталинизация» произошла не благодаря прозрению Хрущева, а благодаря отчаянной борьбе за власть между соратниками, и сама «десталинизация» — условно! — была козырем в этой борьбе. Когда государственной власти стало это не нужно, развернули оглобли обратно, и мы видим сейчас, как «сталинизация» идет полным ходом.

Делали ли диссиденты историю? Нет, это история их делала. И пишу я не о диссидентах, делавших историю, а о людях, раздавленных или изувеченных ее колесами. И по этой причине процесс Синявского—Даниэля для меня — в рамках моего повествования — важнее, чем запуск спутника с Гагариным на борту. Задача у меня другая была.

Мир вверху

— Ваши романы, и «Зеленый шатер», в частности, — это сплошные частные обстоятельства, из которых постепенно складывается Большая Драма: противостояние состоящего из свободных личностей общества и монструозного государства — машины, подавляющей свободу. При этом Вы упорно демонстрируете нежелание оценить способность государства вовлечь этих самых свободных личностей в Общий Проект, увидеть то, что называется «величие замысла» (Государство — чтобы, как в переписке с Ходорковским, не возникал опять вопрос, что за государство мы сейчас имеем в виду, — как идеальная для экспансии форма самоорганизации человеческого материала в данных географических условиях). И раз российская версия государства всегда была более-менее одинаковой, значит ли это, что российское государство — это зло по определению?

Вы ведь не можете не знать, что буквальный перенос чужих представлений об идеальном строе на российскую почву невозможен; что здесь невозможно общество свободных совестливых личностей — даже если каждый будет мыть с шампунем свой участок тротуара; не те условия географические. И всё равно, зная это, Вы воспитываете в своих читателях ненависть к государству — чье несомненное человеконенавистничество обусловлено прежде всего географией. Это сильная романтическая позиция, но совершенно неконструктивная ведь, мешающая справиться с «географией», преодолеть «географический детерминизм».

— О каком величии замысла Вы говорите? Построение коммунизма? Или сегодня наше государство предложило что-то более заманчивое? Какой это Общий Проект, на который Вы намекаете? Я не знаю.

Людмила Улицкая

Строго говоря, именно судьба частного человека меня интересует. А судьбы государств — удел историков, политологов.

Государство как институт — необходимость. У государства есть функции: защита границ, обеспечение социальных нужд с помощью налогов, то есть некоторое перераспределение доходов от самых богатых к самым бедным, обеспечение за счет этих же налогов медицинской помощи, образования и культуры. Общество избирает себе государство, именно общество. Государство должно отчитываться перед обществом, как оно тратит общественный ресурс. Всегда есть здесь противоречие: государственная власть себя защищает, она превышает свои полномочия. Это — всегда и везде. Простите, что я повторяю азбучные истины. Каждой власти хочется быть несменяемой, вечной и бесконечной. Каждому нормальному обществу хочется иметь вменяемую власть, которая в случае, если она не выполняет свои прямые функции, может быть легальным путем (выборы, всего лишь выборы, а если их, честных, не будет, ничего хорошего нас не ждет!) заменена другой, более дееспособной. Народ имеет право поменять начальников. Темы бюрократии мы даже касаться здесь не будем. Да, власть — неизбежное зло. И она может быть хуже или лучше, но, ясное дело, всегда она есть аппарат некоторого насилия над обществом. И это имеет отношение не только к российскому государству — к любому.

Вторая половина вопроса мне просто непонятна. И про «географический детерминизм» я не понимаю. Это Вы про то, что Россия расположена не в субтропиках, а по большей части в зоне рискованного земледелия? Климат определяет нашу бедность и блед-

ность. Вот если б мы вышли к Индийскому океану под водительством господина Жириновского или господина Проханова, было бы другое дело. Правда, в Индии, несмотря на теплую погоду, тоже почему-то бедность. А в Канаде и в Скандинавии ничего, управляют. Так что «географический детерминизм» не всегда срабатывает...

Кроме всего прочего, у меня нет ни малейшего представления о том, каков должен быть «идеальный строй». Что касается ненависти к государству... Мне кажется, Вы путаете понятие «государства» с понятием «родина». Разные вещи. Не обязана я любить начальников, генералов, руководителей департаментов и все элементы управления вплоть до водопроводчиков.

— ...Правда ли, что свобода — в возможности критиковать начальство по телевизору и собираться на площади 31 числа — а не в свободе творчества, в развитии, в преодолении наличного состояния? Правда ли, что если личность — это «луч света, мчащийся на свидание к Богу» (это из Кена Уилбера, философа, к одной из книг которого Вы писали предисловие), то по дороге этому лучу обязательно нужно прожечь пару дыр в «государстве»?

— ...Свобода — и в творчестве, и в развитии, и в возможности критиковать начальство. Еще свобода — отказ от лжи. Если мы говорим о сегодняшнем нашем государстве — очень уж много тайного, скрываемого, много, очень много лжи. Хотелось бы побольше правды.

Даже если она прожигает пару дыр в государстве. Может, это будет к лучшему, на пользу государству?

Людмила Улицкая

— *Насколько Вы — не как общественный деятель и гуру, а как человек, частное лицо, — готовы к интеллектуальным ревизиям? Ну вдруг, например, выяснится, что «всё вообще не так» — ну то есть совсем всё, начиная с книг, прочитанных в молодости: условно говоря, Вы читали Оруэлла, Кафку и «ГУЛАГ», а надо было Циолковского и Ефремова? Что советское вторжение в Прагу в 1968-м — это не «позор», который надо «смыывать», а обусловленная историческими обстоятельствами неизбежная необходимость, стыдиться которой — абсурд? Ну например, а? Или что — почему бы не провести люстрацию в другую сторону, не запретить, например, интеллигенции, которая публично мешала своей стране лететь на Марс, занимать какие-либо государственные должности и публиковаться за государственный счет? Я утрирую, зная, что, в принципе, Вы открытый человек, что Вы можете и к Лимонову сочувственное предисловие написать, — просто чтобы понять степень Вашей открытости; Вы готовы — если узнаете нечто такое, что противоречит всему Вашему предшествующему опыту, — допустить хотя бы мысль об этом?*

— Гуру — на Вашей совести. Вопрос серьезный, и он очень меня занимает. Циолковского и даже Федорова я читала, и Ефремова читала. Думаю, что книги мы с Вами читали одни и те же. Но каждый выбирает более себе созвучное. К пересмотру я готова. Весьма готова. Более того, я уверена, что мы с юности лет обрастаем множеством клише, стереотипов, установок, доставшихся нам в готовом виде от бабушек-дедушек, и весь этот груз, который мы волочем, необходимо постоянно пересматривать. Это единственный показатель интеллектуальной деятель-

Мир вверху

ности. Сложившееся полностью мировоззрение, без изъянов и дыр — знак стагнации и смерти. Кризисы пересмотра своих установок — великая вещь. Я всегда «за»!

Что же касается запрещения интеллигенции занимать государственные должности, так оно давно произошло, ознаменовано было уходом и скорой после того смертью академика Сахарова. Он и был тем интеллигентом, который готов был участвовать в государственном строительстве. Скажу Вам, более того, интеллигентного человека сегодня во власть калачом не заманишь. По ряду причин...

— *Когда Вы садитесь за новый текст — Вы заранее знаете, что хотите сказать, или у Вас может получиться что-то неожиданное для Вас самой, знаете, как это бывает, когда «мой карандаш умнее меня»?*

— Знаю приблизительно, куда хотела бы доплыть. Но случается, что «карандаш умнее». Один мой друг сказал: твои книги умнее тебя. И я не знаю, огорчаться надо или радоваться.

Беседовал Лев Данилкин.

Журнал «Афиша», февраль 2011

* * *

— *Диссидентское движение в «Зеленом шатре» — на первом плане. Значит ли это, что конфликт между тоталитарной властью и немногочисленной группой противостоящих ей смельчаков Вы считаете ключевым*

Людмила Улицкая

в истории позднего СССР? Насколько велика роль диссидентов в последующем распаде Союза?

— Это вопрос оптики. Для Льва Данилкина важнейшим событием времени был взлетевший в космос Юрий Гагарин. Я тоже в тот день (я-то уже была взрослая девица, а Данилкина на свете не было) радовалась, но радости уже тогда мешало соображение, что это замечательное событие — продолжение холодной войны, аргумент в борьбе за идеологическое господство, а также совершенно очевидно, что деньги эти огромные надо бы тратить на разоренную страну и бедствующий народ.

В этой книге в поле зрения — именно мои сверстники, более или менее диссиденты, или вовсе не диссиденты, или профессионалы, которым более интересна их работа, их служение, призвание, чем политическая мерзость. Мне по делу только что пришлось перечитать документы о публикации «Доктора Живаго». Господи, вот где ужас-то! Кто прет на великого поэта? Полуобразованный Хрущев, совписы-холуи, человеческая шваль. «Романа я не читал, но могу сказать...» Ложь и фальшь как жизненный принцип. И снова движемся дружными рядами в ту же сторону. Я не о распаде СССР писала, я о распаде человеческой личности, о достоинстве, чести, порядочности. А власть? Когда и где она хороша бывала?

— *Что, с вашей точки зрения, хуже: откровенный идеологический гнет шестидесятых–восьмидесятых или нынешняя российская полусвобода?*

— Оба хуже. Лучше — свобода. Даже президент Медведев наемни сказал, что «свобода лучше несвободы». Представьте, я с ним совершенно согласна!

Мир вверху

— *Одна из ведущих тем «Зеленого шатра» — тема «имаго», взросления. Насколько актуальна она сейчас? Все-таки инфантильность советских людей была обусловлена подавлением инициативы со стороны государства, а теперь ситуация иная. То есть нынешние 30–40-летние россияне взрослее своих сверстников 30–40-летней давности или нет?*

— Тема «Имаго» — не про советскую власть и не про поколение людей, которым был обещан коммунизм завтра. Сегодняшние тридцатилетние тоже не хотят взрослеть. И речь идет не только о нас, живущих в России во второй половине XX — первой половине XXI века. Это мировой процесс. Так повсюду. Универсальный синдром Питера Пэна, который хочет всегда ходить в коротких штанах, разорять птичьи гнезда, озорничать и кривляться. Да, я это вполне могу понять. Немного даже завидую. Но не могу. Не должна. Потому что взрослый человек встает утром и делает свою работу. Почему — не знаю. Так надо. Меня так родители научили. Взрослых на свете гораздо меньше, чем кажется с первого взгляда.

— *Из трех друзей — героев романа выживает только музыковед Саня, человек искусства. Напрашивается вывод: личное спасение не в приспособлении (Илья) и не в сопротивлении до полной гибели всерьез (Миха), а в творчестве. Насколько он правомерен?*

— Да. Я так думаю. Только творчество понимаю очень широко. Все, кто работает с душой, со смыслом, — это творческие люди. И воспитательница в детском саду, и маляр, и сантехник. Не только ученые и художники.

Людмила Улицкая

— Удивительное интервью с Вами недавно вышло в московской «Афише», где Лев Данилкин позиционировал Вас как некоего идеологического врага и задавал вопросы настолько резкие, что почти грубые. Не было ли у Вас желания отказаться от этого интервью?

— Откровенно говоря, это было самое интересное для меня интервью. Мы держимся разных взглядов, у нас лет тридцать разницы в возрасте, и стилистика общения разная. Но именно он — единственный из всех интервьюеров — задал те самые вопросы, ради которых я мучилась с этой книгой. Странно, что молодой, образованный и умный человек заморочен такими идеями, которые, на мой вкус, давно уже себя изжили.

Беседовал Юрий Володарский.
Журнал «ШО» (Киев), февраль 2011

ПРОЩАНИЕ С КОГОЛЕТО

Сегодня второе октября. Вчера я прощалась с деревней, ну, точнее, с маленьким городком, к которому прикипела пару лет тому назад. Три недели сидела на горке в тихом доме с таким видом с террасы, что кажется, он придуман для утешения северного человека, да и то не наяву, а во сне. С утра до пяти работала, а ближе к закату спускалась по серпантинной дороге в городок, где всё было как полагается: набережная имени Христофора Колумба, пальмы, пляжи платные и городские, кафе, магазинчики и ларьки со всякими туристическим товарами. Как спустишься с горы — развилка, как в сказке: налево пойдешь — эта самая набережная, а направо — самая малость набережной, а потом начинаются дикие бухты, где ни купален, ни раздевалок. Идешь по мощенной камнем дороге, она ныряет в облицованные камнем тоннели, выскакивает. Машин нет, только пешеходы и велосипедисты, и то мало. Когда-то здесь проходила железная дорога, чуть ли не первая

Людмила Улицкая

в Италии. Отрезок пути от Генуи до Ниццы. Теперь железная дорога проходит выше. Две тысячи лет по этой дороге шли римские легионеры, а тысячу лет тому назад — паломники... Вот тут, под ногами, если копнуть, обнаружится гравиевая подушка с откосами и древняя брусчатка. Да, место действия — Северная Италия, Лигурия.

Года полтора тому назад я гостила в этой деревне зимой, у друзей. Заканчивала книжку. Был конец зимы — февраль. Шли дожди и дули ветры, по морю гуляли штормы. А когда ветер и дождь утихал, вылезало из тумана солнце, и эфемерной итальянской зимы как не бывало, наступал сезон, которого мы не знаем: предвесна. Всё было зелено, а зелено здесь всегда, и не то что грезилось прекрасное завтра, а оно сразу, в один миг наступало: стая сорок играла на лугу, глупые пальмы переставали махать хмурыми хвостами, а выстраивались в достойные позы, с Апеннин медленно сползало облако, но тоже ничего плохого не обещало. Вот тут-то я и догадалась, что у меня рак. Как догадалась — об этом я уже рассказывала. Словом, получив это важное сообщение, я отправилась в Москву, потому что поняла, что вступила в следующую фазу жизни, и надо к ней готовиться. Догадка моя в Москве подтвердилась, и мне предстояло большое медицинское приключение. Тогда я оглянулась по сторонам: а что с моими подругами? Не с теми, которые здоровые, а с теми, которые больны. В ближайшем окружении таких насчитывалось три: Ира с рассеянным склерозом, Лена с раком моего фасона и Вера с саркоидозом. Пока я смотрела по сторонам, заболела еще и Таня, тоже рак. В эти же месяцы — Галя, на счету которой тысячи спасенных от рака детей.

Мир вверху

Меня этим словом не испугаешь, мало кому из моих родственников удалось уйти с другим диагнозом. Словом, я не одинока. Но я пока новичок, и мне предстоит научиться хорошо по возможности с этим жить и хорошо умереть в свой час. Все, кто жив, — новички в этом искусстве.

Итак, мои подруги! Мои потрясающие, драгоценные, великие подруги! Начнем с Лены. Как раз вчера она прислала мне счастливое письмо: ей подарили щенка — жесткошерстная такса, зовут Бася. Из питомника, и потому страшно боится потерять новых — не могу сказать «хозяев» — родителей. Не верит своему счастью. Боится на метр отойти! И Ленка — тоже! Ей так давно хотелось собаку. «Я договорилась, кто ее возьмет, если что...» — пишет Лена. Мы вообще-то не пользуемся эвфемизмами, называем вещи своими именами. Видимо, в присутствии ребенка Лена не хочет использовать жестоких слов: Баське всего четыре месяца! Лена в этом деле не новичок: первая операция и первая химиотерапия были лет пять тому назад. Именно Лена давала мне первый инструктаж: рак у нас один и тот же и прихвачен не очень рано, уже проросло кое-где. Точнее, пожалуйста, говорю я себе: да, «метастазы в лимфатические узлы» это называется. Но тогда я еще не знала, на какой я стадии, это предстояло узнать. Но кое-что я уже узнала: Лена демонстрировала (совершенно естественно, нисколько не напоказ) хорошее поведение в плохих обстоятельствах. Лена сейчас носится, летает, прыгает, даже несколько вращается в кругах.

Идем дальше: Ира. Не носится и не прыгает. Если и летает, то самолетом, и в инвалидной коляске

Людмила Улицкая

притом. С подругами. Одной не под силу. Последний раз, года полтора тому назад, летала в Кению. Не по работе, а просто так, мир посмотреть. Приехала счастливая. Подарила мне шарф, на нем все животные, которых она видела: зебры, жирафы и прочие... Ох, как же она умеет радоваться! Какое наслаждение смотреть на жирафа, пить кофе, смотреть кино! Есть много вещей, которые сегодня для нее невозможны: встать утром, пошарив голый ногой возле кровати в поисках тапочка, одеться, принять душ, сварить кофе и просто пересест с дивана на стул. Но смотреть кино, читать книги, думать, дружить, активно жить и еще помогать многим — она может. И какое в этом наслаждение! Кажется, здоровым этого не понять. У меня в чемодане разрисованная тарелочка из генуэзского ресторана. У Иры их целая коллекция, и я знаю, что она обрадуется. Ириша, живи долго!

Вера. На ней хоспис. Она его сделала из ничего. От самого нуля, от одной голой идеи: не должны люди так ужасно умирать, как это гарантирует нам наша медицина. Хоспис существует уже пятнадцать лет. Тысячи человек прошли через это преддверие смерти и ушли, окруженные заботой, на чистой простыне, с обезболиванием, в кругу близких. Вам никогда не приходилось пробиваться в отделение реанимации? Поцеловать, подержать за руку уходящего близкого человека? А туда не пускают! Разве что за взятку. Верин хоспис — единственное место, где нет приемных часов. Год тому назад моя подруга провожала свою девяностошестилетнюю бабушку: трое суток просидела, за руки держа, простилась так, как каждый из нас может мечтать. Уважение к минуте, достоинство уми-

рающего, персонал такой, что это негнушееся слово и произносить не хочется.

Дело это не медицинское. То есть, в частности, оно медицинское. Это одновременно героизм, чудо, служение, каторжный труд.

Когда я уезжала на лечение из Москвы в Иерусалим, Вера проходила курс химиотерапии, с большой медицинской неудачей в процессе этого лечения, с передозировкой, из которой она еле выбралась. Мне самой химиотерапия еще только предстояла, и она была совсем не такая тяжелая. Но не сахар, конечно! У Веры же лечение было чудовищным; обойдемся без деталей. Она так и не оправилась: ноги отказывали, организм умирал, и неизвестно от чего — от болезни или от лечения. А потом стало немного лучше, и Веру отвезли в любимую деревню. Радостно сообщает: грибов в этом году много, я собирала — ползком! Сад, огород, грибы, ягоды — ползком! И сияет! И скорей в Москву — хоспис. Столько проблем, и без нее ничего не решается! Никто ничего не может! Всё надо самой! Из последних сил, самой!

Последний раз мы виделись между двумя моими операциями. Она лежала у себя в хосписе. И нельзя сказать, что занимала она место среди умирающих в силу служебного положения. К ней заходили подписывать какие-то бумажки, она кого-то ругала, кого-то хвалила. Она была живой как бог дай каждому! Она умерла 21 декабря 2010 года. Кто она? Святая? Праведница? Просто хороший человек? Она говорила про себя: «Я не святая. Просто делаю то, что мне нравится. А так, я очень плохой человек: злая и достаточно циничная».

Людмила Улицкая

Я — эксперт. Эксперт по умиранию. Я столько проводила. Я знаю, как бы мне хотелось уйти. Но то, что я задумала, не всем дается. Всю жизнь надо работать, чтобы дожить до кончины «безболезненной, непостыдной, мирной». Эту картину мне показали в очень раннем возрасте, и года проходят, а она не мутнеет, а становится всё более прозрачной. Вот я и так бы хотела уйти. Только не хочу так долго жить, как жил мой прадед: я не смогу смиренно читать Тору на непонятном языке, десятилетиями, каждый день, по многу часов. И так, как жила Вера, тоже не смогу: она была призвана к великому служению и служила до последнего дня своей жизни.

Как сильно я отошла от моей итальянской деревни, а сюжет всё тот же самый. Я спустилась с горы и пошла не к бухтам, а на набережную. На одном доме висит доска — здесь родился Христофор Колумб. Кажется, пять городов на этом побережье оспаривают привилегию быть родиной мореплавателя. Седьмой час. Солнце клонится к закату. Косой западный свет. Разбирают купальни и балаганы. На огромных траках вывозят сложенные шезлонги, складные зонты и колоды синтетических досок. На бульварных скамьях, обращенных к морю, сидят старики — чистенькие, загорелые, в шортах и сандалиях. Это местные жители, пенсионеры. Очень часто свое дело они передают детям. Я знаю парня, закончившего философский факультет, и за неимением работы по специальности он продолжает семейное дело, зеленую торговлю. Это Италия. Старики разговаривают о политике. Итальянцы преклонного возраста любят поговорить о политике. Одновременно они смотрят одобрительно на проходящих, особенно на детей, но женщины и собаки тоже не выпадают из их

Мир вверху

поля зрения. Здесь много стариков — в России их гораздо меньше. Да и вообще в России так долго не живут, как в Италии. (Сказать ужасное? А зачем?)

Спускаюсь к морю. Этого описать не могу. Может, на обратном пути получится.

Обычно я прихожу к морю на закате, я очень часто плыву под колокольный звон, потому что здесь, на набережной, — храм, и в эти часы там происходит что-то молитвенное, и за эти недели слилось в одно наслаждение движение вокруг тела огромной воды, и движение тела, слабенький мой брасс, в этой воде, и колокольный звон, и косые лучи солнца. Я как собака Павлова, у меня выработался условный рефлекс: на это сочетание вещей у меня возникает острый приступ счастья. Рука у меня сломана, но гипс я уже сняла и надела лангетку. Ее я стаскиваю, и освобожденная рука радуется отдельной от меня радостью, и от плавания она получает свое отдельное наслаждение. А как мне повезло! Две недели тому назад я пролетела в темноте целый лестничный пролет и так легко отделалась.

Вообще-то я по природе мизантроп. Я в детстве и в молодости совершенно не умела радоваться: мне всё не нравилось. А уж если вдруг случалось что-то определенно прекрасное, я этому не доверяла. Ждала подвоха. Завтра. Или через месяц. Моя покойная мама, от природы одаренная дивной способностью радования всему на свете, очень меня жалела. Так я много лет жила в ожидании неприятности, в унынии, в подавленности. Пока не дошла отчасти своим умом, отчасти благодаря моим прекрасным, радостным и веселым подругам, что надо освободиться от этого мироощущения. Сегодня могу сказать про се-

Людмила Улицкая

бя — свободна! Свободна от страха, от подозрительности. Еще немного — и научусь быть свободной от настроения. К радости — открыта!

Вылезла из моря. Сумерки. На море ни души. Итальянский святой час — ужин. Все кафешки, пиццерии полным-полны. Села я в баре и взяла «Маргариту». И смотрю по сторонам: которые люди не смеются, те улыбаются, которые не улыбаются — беседуют. Некоторые молчат, некоторые поют... Ни одного злобного, раздраженного, хмурого лица. Это их природа, воспитание, культура. Хорошо быть итальянцем.

Поднимаюсь я к себе на гору: семь поворотов серпантина. С каждым поворотом вид всё шире, моря всё больше видно. Но не сейчас. Сейчас темнота. И попутки сейчас не будет, никто из соседей не подбросит меня наверх. Потому что святой час — застольный. Да мне и не нужно. Иду себе в горку. Светится внизу городок Коголето, а вдалеке розоватое облако света — генуэзский порт. Над всем этим — южное небо, и ветер дует откуда-то с Корсики, идти мне легко и весело, и я счастлива и благодарна всем и всему. А также моей болезни, которая, отодвинувшись на какое-то время, дала мне дополнительную остроту зрения, усилила радость видения мелких и огромных вещей, освободила (немного, немного, но вектор есть!) от суетного стремления немедленно сделать это, и еще это, и то, и другое. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! И каждый день — целая коллекция минут. Ничего не надо с ними делать — просто жить и радоваться, сколько отведено времени. Если для этого ощущения надо было перенести две операции, химиотерапию и облучение, оно того стоило.

Мир вверху

Я прощаюсь с итальянской деревней. Может, никогда сюда больше не попаду. А может, еще и приеду.

С тех пор как я впервые в эту деревню попала, прошло почти два года. Нет Веры. Ушла Галя. Пройдет еще несколько лет, и не будет меня, и никого из теперешних моих собеседников тоже не будет. А кто здесь будет и что здесь будет — предсказать невозможно. И поэтому — радуйтесь! Радуйтесь сегодня! Радуйтесь сейчас! Сию минуту! Пока мы еще прощаемся на время, и можем встретиться на будущей неделе, и можем радовать друг друга какой-то малой малостью. И любовью.

БЫТЬ НИКЕМ

(2012 год)

Новорожденный, младенческий, отроческий глаз воспринимает окружающий мир с такой жадностью и восторгом, каких не знает зрелый возраст. Яркость и новизна цвета, всякая трещина на гладком, изъям поверхности или дырка в ткани прочно запечатлеваются в детском сознании. Вещей в раннем детстве было гораздо больше, чем людей. Вещи несли на себе печать принадлежности: бабушкина шляпа с вуалеткой, рубчатые пуговицы на мамином полосатом платье, папины запонки с эмалевым бело-зеленым клювиком, дедушкин подстаканник с лошадиной головой... Они все были притяжательные, как местоимения, все состояли в услужении, в одчинении, как будто не имели собственного бытия, но несли на себе отпечаток личности владельца. Или это казалось?

Пройдет много лет, прежде чем я пойму, что бытие вещей более устойчиво и надежно, чем существова-

Мир вверху

ние человека. Люди давно ушли, а их вещи еще живы, и когда «притяжательность» покинет их, они станут голыми и бесприютными, изгоями среди чужих вещей с принадлежностью, в соседстве с безразличными к ним людьми.

Привычные, глазом обласканные вещи сильно смягчают детское одиночество: об этом знают постельные мишки, мартышки и зайчики, засыпающие на детских подушках. Моя «лендлизовская» собачка стерегла мой сон, потом служила моему младшему брату, моим сыновьям, а теперь, потерявшая после химчистки свою и без того скромную красу, досталась во владение моей внучки.

Один из последних мистиков XX века, заключенный в камере Владимирской тюрьмы Даниил Андреев, погруженный в надмирные видения, извлек из своего эзотерического опыта ответ на вопрос, волнующий средневековых теологов: души, существующие в мире, созданы единовременно при сотворении мира или производятся в мастерских Господа Бога по мере необходимости? Ответ Даниила Андреева глубоко растрогал меня: большая часть душ сотворена единовременно, но есть очень тонкий ручеек вновь созданных, пополняющий этот мировой запас, — когда ребенок отдает свою любовь неодушевленной игрушке, то любовь эта не рассеивается в пространстве, а организуется в монаду, и после того как игрушка изнашивается, уничтожится физически, сгусток детской любви претворяется в новую душу... Такой возвышенной и благородной мысли свет не видывал. Словом, моей собачке совсем немного осталось, чтобы растрепаться до последней нитки и преобразоваться в новую, невинную и доверчивую душу.

Людмила Улицкая

Итак, с вещами закончили. С плюшевыми собачками тоже. Переходим к человеку, который уже вышел из возраста, когда любимая игрушка дает утешение и защиту, и вступает в тот возраст, когда обнаруживает, что он страшно, бесконечно и безнадежно одинок.

Я была общительным и тщеславным ребенком: не прочь поиграть в лапту и в круговой волейбол, привлечь к себе внимание, в любой детской компании покомандовать, организовать какую-то игру, домашний спектакль или массовую каверзу. Но в заполненной жизни минутами я попадала в лакуны, наполненные глубоким затаенным одиночеством. Его до конца не растворяли разнообразные подружки: дворовые, школьные и внешкольные, а также унаследованные от родителей дети их друзей. Кто бы мог предположить, что я страдаю от одиночества? Оно было столь глубоко зарыто во многих слоях личности, что порой я и сама о нем накрепко забывала. Но не навсегда. Оно жило во мне как притаившаяся заноза, как неизлечимая болезнь, оно требовало сокрытия. Это затаившееся одиночество жаждало разрешения.

В русском языке не вышло слова, равного по смыслу английскому *belonging*. Имеющееся сообщество — дворовое игровое, школьное — взявшиеся за руки девочки в коричневых форменных платьях — не утоляло жажды. Лапте я все-таки предпочитала чтение, а попарное хождение по школьному двору наводило скуку. Наметился первый конфликт: жажда общности и отвращение к дисциплине. Душа искала родства, а телу велено было маршировать. Неразрешимость: осознаваемое постепенно одиночество и непристойность коллективного действия. А в школе — коричневая парность, красноречивость, чувство по-

Мир вверху

стоянной неловкости от пафоса и лжи: как повяжешь галстук, береги его, Маяковский лесенкой, с пионерской песенкой, бодро, бодро! Вперед! Вперед!

От коммунизма тошнило. Спасала тяга к знанию. В пятом классе — краткий философский словарь, от Анаксагора и далее. История западноевропейской философии. Мусолу. Трудно. Совершенно непонятно. Зато когда десятилетиями позже к этому возвращаюсь, возникает эффект «припоминания». Да, еще можно уйти в сторону — детская спортивная школа, там смысл очевиден: секунды, сантиметры... И всё по-честному. Настолько по-честному, что мне там делать нечего: побеждает сильнейший. Какая жалость — от музыки меня спас туберкулез, рисование не увлекает. Еще не знала, что всякое художество — побег из неволи. Но это знает, может знать только талант, а таланта нисколько.

Смыслы, смыслы стали занимать. Начинается большое чтение. Про жизнь. Откуда взялась? Из лужи! От электрического разряда! Революция! Эволюция! Дарвин! Генетика! Волшебство науки. Всё складывается отлично. Лучше быть не может. Про тоску временно забыла: биофак. Ну, условности квадратной советской жизни, собственно, треугольной: партком, местком, администрация. Профсоюзное собрание, субботник, осенняя повинность «картошки». Избегаю, игнорирую, презираю. Игра на плоскости. Колобок катится, в руки не дается, чудовище за ним гонится — не догонит. Но иногда догоняет. Хватает, бросает в темницу. Но главное: чудовище еще и смердит, отравляет жизнь, оглушает ее. Воздуха не хватает. Низкий потолок. Давит на темечко. Немного начинаю задыхаться.

Людмила Улицкая

Где горный воздух? Неужели в учебниках философии?

Иудаизм проскочил мимо меня. Мой верующий прадед, последние годы жизни писавший свои комментарии к Библии на языке, который так и остался для меня иностранным, не смог, да скорее всего, не успел ввести меня в круг его интересов. Да я была слишком мала. Впрочем, именно от него я узнала первые библейские сюжеты. К нему приходили его старые друзья-талмудисты, и вряд ли я смогла бы услышать от них предложение, которое увлекло бы меня: их потертые пиджаки, усыпанные старческой перхотью, антикварные ботиночки, корявый русский язык, их полная отделенность, отрешенность от сегодняшней жизни скорее отталкивали. Их духовные и интеллектуальные драгоценности лишь отчасти стали доступны мне в гораздо более зрелые годы. В переводах! Этих ветхих мудрецов я полностью «прохлопала». Между нами стоял непреодолимый культурный барьер: как общаться с людьми, которые не читали ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского?

Первым протянул руку доктор Штайнер. По прошествии лет могу свидетельствовать: вертикаль восстанавливается из любой точки. Доктор Штайнер ввел меня некоторым образом в проблематику, разрыхлил почву. Симпатичные московские антропософы, уже слегка оправившиеся после репрессий тридцатых годов, перепечатывали старые косноязычные переводы доктора, делали и новые, мало от прежних отличающиеся. Я с интересом пережевывала композицию из индуизма, христианства и воззрений мадам Блаватской, пока не наткнулась на большой альбом про Гетеанум. Художественное воплощение антропософ-

ских идей, полная пластическая бездарность недолго просуществовавшего храма раз и навсегда отвратили меня от антропософии. В те годы я была еще более категорична, чем теперь.

И тут, в силу необходимой случайности, в моей жизни появились первые христиане. И какие! Лучшие из лучших. Судьба меня ими просто соблазнила. Несколько человек из того времени, самые тогда молодые, живы и поныне, и поныне это лучшие из людей, которых я в жизни встречала. Я не могу назвать имена, чтобы не вызывать их смущение. Но они рядом и по сей день демонстрируют фактом своего существования, что христианство, принципиально «религия невозможного», иногда, очень редко, выживает в своих лучших детях.

Старшие ушли, оставив на мне зарубки, вмятины и глубокие невидимые следы. Личная моя история связана была поначалу с реэмигрантами, вернувшимися из Франции в Россию. Они залатали тот культурный, а, скорее, онтологический разрыв во времени, в сознании, восполнили нравственные пробелы, созданные аморальной властью. Поименно: Мария Михайловна Муравьева, урожденная Родзянко, Елена Яковлевна Ведерникова, урожденная Браславская, Таисия Царегородцева, священник Андрей Сергеенко, вернувшиеся на родину в пятидесятых годах. Жизнь каждого из этих людей украсила бы собрание «ЖЗЛ».

Одним фактом своего присутствия они меняли атмосферу тех лет, вносили в нее очень новое и очень древнее наполнение, создавали вокруг себя острова веры, человечности, сострадания. Для меня начался очень плодотворный период «утоления жажды». Обнаружились и другие источники, на местной почве.

Людмила Улицкая

Жизнь моя вписалась в новую координатную сетку, и это было счастье. Я жила десятилетия в благодатном ощущении, что христианство отвечает на любые вопросы, открывает все двери, освещает все темные углы.

Церковь как институт меня пугала и тревожила — слишком много было в ней и непонятого, и неприемлемого. Моя практика началась в церкви, которую можно назвать катакомбной. Это была домовая церковь отца Андрея Сергеенко, у которого собиралось десятка два человек, а сама служба совершалась в проходной комнате дома на окраине города Александра, где он прожил до самой смерти. Это была община, напоминавшая по духу первохристианскую; с тех пор осталось во мне живое чувство, что именно там, в бедном доме полуссыльного священника, преподававшего в Троице-Сергиевой лавре историю церкви, нравственное и догматическое богословие, выживало гонимое христианство.

Мы подходили в условленное время от станции к дому отца Андрея, стараясь соблюдать нечто вроде конспирации: шли по одному, по двое, обходными улицами. В темноте отыскивали деревянный ветхий дом, всё как Иосиф Аримафейский — тайно, ночью... В этом была своего рода романтика. Общение наше — и бытовое, и литургическое — было столь полным и глубоким, что рассеивалось глубинное одиночество. Это было открытие нового коллективизма, общины разных, но единомыслящих — без всякого насилия, на одном общем желании служить друг другу в лучах обретенного Света. Мы были настроены на одну волну, и предлагаемое нам христианство было радостным и деятельным.

Мир вверху

Литургия в проходной комнате плавно перетекала в последующий ужин в столовой, и смутно витал дух субботы — с ее благословениями, вином и хлебом. Жизнь наполнялась новым смыслом: Христос посреди нас!

Культура и вера не только прекрасно уживались в мире отца Андрея, но даже работали друг для друга. Позднее, уже после его смерти, когда мне пришлось столкнуться с пастырями православной церкви, я поняла, какая это несказанная редкость в наших широтах — гармония веры и культуры...

Тогда же я столкнулась с разнообразными традициями, формами и изводами православия и поняла, что в этом огромном океане существует множество течений, и некоторые совершенно для меня неприемлемые. К этому времени я уже твердо знала, что христианство не может быть богатым — потому что тогда оно перестает быть учением Христа, и не может оно быть антисемитским, потому что сам Христос был не только иудеем по вере, но евреем по крови. Такие простые вещи, очевидные, не требующие, казалось бы, никаких специальных пояснений, однако... практика церковной жизни этими, казалось бы, аксиомами полностью пренебрегала.

Умер отец Андрей. И по сей день — сорок лет прошло! — прихожане той домово́й церкви сохранили верность его памяти. Многие легко вошли в официальную православную церковь, по меньшей мере двое из тогдашних посетителей города Александрова стали священниками. Мой же вход в Церковь был трудным. Жесткость формы меня отталкивала. Церковная жизнь того времени казалась мне переполненной обрядоверием, поклонением всякой церковной утвари,

Людмила Улицкая

включая галоши священника, а смысл, как я его понимала, то и дело входил в противоречие с практикой церковной жизни.

Отец Александр Мень помогал связывать порванные нити, восстанавливать связи с тем христианством, которое проповедано было на берегах Киннерета, а не в роскошь совращенных храмах Византии. Улыбаясь примиряющей улыбкой, замечал, что если б не огромное церковное богатство, не было бы ни готической архитектуры, ни итальянского Возрождения, что именно церковные богатства во все века питали культуру. Но ничто меня не убеждало: только церковь святого Франциска, Серафима Саровского и «нестяжателей» имеет право на существование, всё прочее — мамоне... А отец Александр, веселый бессребреник, белозубо улыбался: да ты экстремистка! Дорога в церковь оказалась теперь короче: до Пушкина ехать было ближе, чем до Александрова.

Однако здание моей православной веры давало первые трещины. И возникло чувство страха. Оказалось, что войти легче, чем выйти. Там, внутри, «Всякое дыхание да хвалит Господа», там стоит лучшая из очередей за маленьким куском хлеба и впитавшегося в него вина, и у всех лица ангельские, и каждый, кто пришел, горюет о своих несовершенствах и завтра поутру начинает новую жизнь, христианскую, без злобы и раздражения, а только одна любовь, любовь... И Господь простирает надо всеми свою благодатную руку, и Покров Марии защищает нас и наших детей от «всякого зла противна», и уходят наши отцы и старшие друзья не в безымянный холод, а «в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание».

Мир вверху

Но как много того, что мешает мне. Муштра христианства, рабство догмату, церковный официоз. Очень жестко прочерченные границы, дальше которых даже мыслью нельзя заходить. Здание-то стройное, но мне в нем сложно, душно, насильственно...

Как покинуть эту стройность жизни, эти щедрые обещания, это сладостное единение? Да не в сомнениях дело, нет у меня никаких сомнений в том, что христианское предложение — прекрасное, но нет уверенности в том, что других путей вовсе нет, и единственный — этот самый. И все праведники мира, некрещеные младенцы, и дохристианские мудрецы, и внеконфессиональные праведники прозябнут в католическом чистилище или, еще того хуже, в православном аду... а кто будет восседать в белых одеждах среди порхающих ангелов — не сказано. Кажется, там будут приличные господа в приличных часах и с приличной собственностью? И куда мы денем Будду и Лао Цзы?

Началось чтение, большое и вполне критическое. Множество запретов, унаследованных от иудаизма, библейских и талмудических времен и возникших в христианском мире. И не только запреты на мясо-молоко, не в них дело. Беспокоит другое: кроме запретов поведенческих, есть предписание думать определенным образом, есть множество вопросов, сама постановка которых рассматривается как ересь. И откуда, откуда столько ненависти в религии любви? Как принять первородный грех — каждый раз об этом думаю, когда держу на руках новорожденного младенца: он ни в чем не виноват! Откуда у Всеблагого родится мысль испытать Авраама повелением принести в жертву, убить сына? Развивать тему жертвы не смею.

Людмила Улицкая

Не готова пока. Есть вещи проще: почему надо возненавидеть родителей? А это не отцы церкви придумали, это в Евангелии написано! И почему надо так люто ненавидеть тело, ведь и его создал Господь, вместе с железами внутренней секреции и прочей прекрасной и целесообразной требухой? Неужели любовь к Богу должна проходить через такие немилосердные испытания? Что делать с религией любви, если к ней подмешано столько ненависти и неприятия? Я уж не говорю о псалмах, пронизанных ненавистью и идеями мщения...

Я знаю, как отвечают на эти вопросы православные учителя, древние и современные, читала: это хитроумная софистика, и только самые честные, самые лучшие из них говорят: я не знаю. Или: это тайна. Или: ответа на этот вопрос нет.

Это беспокойство интеллектуальное, и оно есть мое личное дело. Я не хочу об этом говорить, чтобы не вводить в искушение тех, кто этих вопросов не задает.

Проходит еще десятилетие, и церковь гонимая превращается на наших глазах в церковь победительную. Закрытые храмы открыты, число новых растет гораздо быстрее, чем число детских садов и домов инвалидов.

То, что вызывало не вполне определенное беспокойство в восьмидесятых, в последние годы вызывает полное неприятие.

Приличные господа в облачении, о которых каждый день молится огромный, плохо одетый и плохо пахнувший церковный люд, как мне с вами смириться? Моя приятельница случайно проходила через банкетный зал, накрытый в Даниловском монастыре, —

что-то праздновали святые монахи. Прошла, отвернув лицо, как проходят мимо обнаженного человека: смотреть неловко на роскошные столы. Да и шла она в детский приют, церковный, тут же устроенный, со своим благотворительным взносом на нужды детей. Финансирование там недостаточное.

Заборы вокруг дворцов и вилл иерархов высоки, и нет охоты заглядывать внутрь. Стыдно. Божьего суда все эти священники не боятся, и это их дело. Но ведь явится завтра новый Боккаччо, напишет новый «Декамерон», и со смеху народ покатится. Не страшно?

Церковь превращается в огромную позолоченную декорацию... А если Христос, которого уж две тысячи лет безнадежно ждут, вдруг придет? Ведь он зашел однажды в Храм на Сионской горе, выгнал торгующих из Храма, и нет больше того Храма, одна Западная стена осталась. Не страшно?

Словом, у меня лично возникли некоторые проблемы — очень много новых препятствий стало на пути в храм. Голова у рыбы пованивает, но, к счастью, в области хвоста и сегодня есть тощие и нищие, не обремененные приличной, соответствующей сану собственностью, священники, которые служат во имя Христа пастве, а не начальству, которые не оскорбляют глаза и уши смиренных прихожан.

Замечу, что в семидесятые—восьмидесятые годы прошлого века церковная жизнь не достигла того невиданного уровня коррупции и бесстыдства, как в начале XXI. Давно известно, что церковь гонимая крепнет, церковь властвующая растлевается. Христианство — религия бессребреников и юродов, тощих и сирых, а не раскормленных и самодовольных,

Людмила Улицкая

к тому же презирающих всё остальное человечество, которое не называет себя христианским. Да, в отличие от иудаизма, который есть религия возможного, христианство — религия невозможного. Чем и притягательно. А то, что мы наблюдаем сегодня, вызывает большое отторжение и лично меня толкает к тому экзистенциальному одиночеству, которое помню со времен юности. А может быть, это лично мое испытание?

Что же было легче: войти туда или выйти? Входить — дорога в гору, требующая усилий и напряжения, но легко, потому что ветер был попутный, и не одна я шла по этой дороге, нас было немало тогда. А теперь — сильный поток вымывает, ведет в другие места, не коллективного пользования и уже не в компании любимых людей. Опять идешь в одиночку. За спиной остается всё то, что я полюбила: и песнопения Великой Субботы, и Пасхальные стихиры, и глубина, и высота, и открытое на мгновенье небо, и чувство глубокого равенства всех со всеми, и легкость собственного умаления, безболезненного уничтожения, растворения «я», и видение всех окружающих людей в их на мгновенье преображенном виде...

Какой плавный поворот и какая снисходительная улыбка жизни в истории становления себя самого! От детского отчаяния непринадлежности ни к чему, глубокого чувства одиночества и несмешиваемости себя с миром, неумения и невозможности вступить с ним во взаимодействие, одинокого поиска опоры, через восторг растворенности, диссоциации на молекулы, соединения с единомышленниками, сообщниками во Христе — к осознанному нежеланию присутствовать в партийном коллективе, который всё более напоми-

Мир вверху

нает сегодняшняя церковь. И снова, как в юности, я испытываю чувство одиночества, но теперь оно меня перестало тревожить. Муравейно-социальный порыв изжился сам собой. Уходит постепенно церковь из моей жизни. Уроки христианства до некоторой степени усвоены. Есть вопросы, ответы на которые не получены. Возможно, их разрешение лежит за пределами человеческой жизни. Расстояние от заклинания «Я, юный пионер... торжественно обещаю...» до «Верую во единого Бога Отца Вседержителя...» оказалось гораздо меньшим, чем это представлялось когда-то. Уместно вспомнить древнюю иудейскую молитву «Кол нидре», которую иудеи читают раз в год, в Судный день, — об освобождении от всех обетов, присяг и клятв, которые человек дает, но исполнить их не в состоянии.

Жизнь заканчивается. Умирает человек в одиночестве, не в коллективе.

Я точно не юный пионер, хотя клялась... Я не уверена, что в графе «вероисповедание» могла бы поставить без колебания слово «христианка». Определенно — не атеистка.

Но все-таки хотелось бы, чтобы мои друзья простились со мной так, как это принято у христиан. Хотя я и не совсем уверена, что состою в этой огромной армии. Про христианство я знаю, что оно может быть прекрасным. А может и не быть.

КОНЕЦ

Литературно-художественное издание

Улицкая Людмила Евгеньевна

СВЯЩЕННЫЙ МУСОР

Ответственный редактор *Е.Д.Шубина*

Выпускающий *А.С.Портнов*

Младший редактор *П.Л.Потехина*

Технический редактор *Т.П.Тимошина*

Корректоры *Н.П.Власенко, О.Л.Вьюнник*

Компьютерная верстка *Ю.Б.Анищенко*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. За

Издание осуществлено при техническом содействии

ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Людмила Улицкая

в с е к н и г и

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

ДЕВОЧКИ

СОНЕЧКА

МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ

КАЗУС КУКОЦКОГО

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ

Людмила Улицкая

в с е к н и г и

ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК


СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

ЛЮДИ НАШЕГО ЦАРЯ

ДАНИЭЛЬ ШТАЙН, ПЕРЕВОДЧИК

ЗЕЛЕНый ШАТЕР



Сильнейшая привязанность к вещам – к их биографии, географии, рождению и смерти – привела к тому, что в скороходовскую коробку из-под ботинок я складывала всё, с чем трудно было расстаться: треснувшую фарфоровую пиалу моего прадеда, в которой он хранил какие-то колесики и пружинки от часов, разбитый китайский набор для чаепития, бабушкины лайковые перчатки (бальные!), горделивый значок Калужской гимназии госпожи Саловой и кусок клеенки из роддома с именем моего двоюродного брата...

Во время одного из переездов, охваченная жадой освобождения, я выбросила все эти ничемные драгоценности на помойку. На минуту мне показалось, что я освободилась от своего прошлого и оно не держит меня за глотку. Ничего подобного! Оказалось, ничего выбросить невозможно...

Людмила Улицкая

ISBN 978-5-271-45555-1



9 785271 455551